

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Фридрих
Горенштейн

—
МЕСТО

«АЗБУКА»

Русская литература. Большие книги

Фридрих Горенштейн

Место

«Азбука-Аттикус»

1976

Горенштейн Ф.

Место / Ф. Горенштейн — «Азбука-Аттикус», 1976 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-03898-1

В настоящем издании представлен роман Фридриха Горенштейна «Место» – произведение, величайшее по масштабу и силе таланта, но долгое время незаслуженно остававшееся без читательского внимания, как, впрочем, и другие повести и романы Горенштейна. Писатель и киносценарист («Солярис», «Раба любви»), чье творчество без преувеличения можно назвать одним из вершинных явлений в прозе XX века, Горенштейн эмигрировал в 1980 году из СССР, будучи автором одной-единственной публикации – рассказа «Дом с башенкой». При этом его друзья, такие как Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Лазарь Лазарев, Борис Хазанов и Бенедикт Сарнов, были убеждены в гениальности писателя, о чем упоминал, в частности, Андрей Тарковский в своем дневнике. Современного искушенного читателя не удивишь волнующими поворотами сюжета и драматичностью описываемых событий (хотя и это в романе есть), но предлагаемый Горенштейном сплав быта, идеологии и психологии, советская история в ее социальном и метафизическом аспектах, сокровенные переживания героя в сочетании с ужасами народной стихии и мудрыми размышлениями о природе человека позволяют отнести «Место» к лучшим романам русской литературы. Герой Горенштейна, молодой человек пятидесятых годов Гоша Цвибышев, во многом близок героям Достоевского – «подпольному человеку», Аркадию Долгорукому из «Подростка», Раскольникову... Мечтающий о достойной жизни, но не имеющий даже койко-места в общежитии, Цвибышев пытается самоутвердиться и бунтовать – и, кажется, после XX съезда и реабилитации погибшего отца такая возможность для него открывается...

ISBN 978-5-389-03898-1

© Горенштейн Ф., 1976

© Азбука-Аттикус, 1976

Содержание

Предисловие автора[1]	6
Часть первая	8
Глава первая	8
Глава вторая	15
Глава третья	20
Глава четвертая	27
Глава пятая	35
Глава шестая	40
Глава седьмая	48
Глава восьмая	53
Глава девятая	59
Глава десятая	65
Глава одиннадцатая	68
Глава двенадцатая	75
Глава тринадцатая	85
Глава четырнадцатая	95
Глава пятнадцатая	102
Глава шестнадцатая	113
Глава семнадцатая	120
Глава восемнадцатая	131
Конец ознакомительного фрагмента.	137

Фридрих Горенштейн

Место

Предисловие автора¹

Роман «Место» писался давно. Он начат был в далеком ныне шестьдесят девятом, работа шла с перерывами – два-три месяца, затем перерыв для других дел, тогда более неотложных, потом – выкраивался месяц-другой вновь, и так до семьдесят второго года, когда мне показалось, что роман наконец окончен. Но в семьдесят шестом году были дописаны важные финальные главы, которые, может быть ничего решающего не прибавив к развитию сюжета, тем не менее прояснили, по крайней мере для меня как для автора, замысел произведения.

Роман имеет автобиографическую форму и написан от первого лица. Автобиографическая форма, притом что автобиография автора лишь отчасти совпадает с автобиографией персонажа и в значительной степени иная, – трудный жанр. Трудный, но многообещающий. Недавно Достоевский начал писать роман «Преступление и наказание» от первого лица. Отчего он отказался от этого в процессе работы? Может быть, от слишком опасной горючей смеси, содержащейся в материале произведения, в идее и поступках главного героя, что могло дать повод объединить автора с персонажем. Признаюсь, это вселяло сомнение и в меня, тем более что отдельные детали моей биографии и биографии Гоши Цвибышева, от имени которого ведется рассказ в романе «Место», совпадают. Но в том-то и дело, что в одних и тех же обстоятельствах, под воздействием одних и тех же мыслей и чувств люди могут действовать совершенно по-разному. Если бы автор позволил себе действовать так, как действует его персонаж Гоша Цвибышев, то он никогда не мог бы написать эту книгу, ибо он был бы не ее автором, а ее действующим лицом.

Из биографий больших мастеров, особенно живописцев и композиторов, мы знаем, как плодотворно повторение, использование уже найденных приемов и методов. Мне, к сожалению, пришлось идти на ощупь, полагаясь на собственный литературный инстинкт, в силу своей недостаточной образованности в те времена, в силу случайности моего книжного самообразования. Однако надо уметь превращать недостатки в достоинства. Как говорится, нужда заставит. Именно мое человеческое и литературное отщепенство, от которого я, кстати, всячески безуспешно старался избавиться, доставившее мне немало трудностей в Союзе (которое после эмиграции, особенно первые годы, не кончилось, а в чем-то даже возросло), – именно это отщепенство в силу обстоятельств и помимо моей воли помогло мне избавиться, защититься от дурного влияния, на мой взгляд, неплодотворного современного литературного процесса, единого для Союза и для литературной диаспоры.

Отщепенство как форма существования, материальная и духовная, пожалуй, главный автобиографический элемент этого романа, объединяющий автора с персонажем, от имени которого ведется повествование. Это, безусловно, роман об отщепенце. Но далее начинаются зыбкие неясности, переходы бытия в небытие, небытия в бытие. Здесь небытие определяет сознание в той же мере, что и бытие. Переход страдания в злобу, лирических мечтаний в себялюбие, разумных наблюдений в мнительность. Неуловимость правды и неправды изображена на фоне путаницы и неясностей российской жизни периода конца хрущевщины – начала брежневщины.

¹ Предисловие было написано Ф. Горенштейном к публикации отрывка из романа «Место» в журнале «Время и мы» (Нью-Йорк; Иерусалим; Париж. 1988. № 100).

Горбачевская гласность, если даже не брать ее в кавычки, – это та же электрическая лампочка из рассказа Зощенко о неосвещенной коммунальной квартире. Когда была наконец отремонтирована давно испорченная электропроводка и зажегся свет, стало ясно видно то, что прежде лежало по темным, захламленным углам. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. Роман четыре года хранился в ящике стола в Союзе и семь лет на «свободном Западе», но теперь он может быть особенно актуален, ибо теперь многие его персонажи, смутно мелькавшие в хрущевском полусвете и брежневской полутьме, стали ясно обозримы.

<...>

...Главный персонаж Гоша Цвибышев уже вполне ощутим. Чувствуются невыносимость для него его нравственного положения и нарастающее от того ожесточение, которое должно было повести его по жизни и повело путями извилистыми, неправедными, бесовскими.

Бесы любого направления, с которыми человек вступает во взаимоотношения, всегда требуют от него гарантий, требуют действий, делающих эти отношения необратимыми.

«Обругай образа», – говорит человеку бес в очерке Глеба Успенского «Тише воды, ниже травы». Бес знает, что воскреснуть от духовной смерти так же трудно, как и от смерти физиологической. Но все-таки такие чудеса возможны не только на страницах библейских книг.

Воскресение духовного мертвеца, воскресение человека, убитого разнообразными, разнокалиберными, разношерстными парнокопытными рогатыми личностями, – вот идея, вот замысел романа «Место». Разве это не жгущая сердце тема, разве это не актуально и для падшего гражданина, и для его страдающей Родины?

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

1988

Часть первая КОЙКО-МЕСТО

Посвящается отцу

*Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который
Господь, Бог твой, дает тебе.*

Второзаконие, 12: 9

*И сказал Господь: Симон! Симон! се сатана просил, чтобы сеять
вас как пшеницу.*

Евангелие от Луки, 22: 31

*Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын
Человеческий не имеет, где преклонить голову.*

Евангелие от Луки, 9: 58

Глава первая

Всякий раз, когда наступала весна, вот уже три года подряд, я испытывал душевную тревогу, ожидая повестки о выселении. Собственно говоря, меня пугала не столько опасность выселения, сколько хлопоты по оставлению за мной койко-места в общежитии треста «Жилстрой». Выселения быть не могло, в это я твердо верил, так как у меня были знакомства в руководстве треста, которому принадлежало общежитие. Покровитель мой, Михаил Данилович Михайлов, был единственный человек, оказавший мне помощь, так как родители мои давно мертвы, а я в этом городе совершенно одинок и не могу нигде рассчитывать на длительное пристанище. Тем не менее я Михаила Даниловича не любил и не знал, о чем с ним разговаривать, помимо просьб посодействовать и помочь. Впрочем, меня он действительно третировал и, помогая мне, относился ко мне небрежно и унижительно.

Это был близкий товарищ моего покойного отца, которого, судя по всему, очень любил, считал выдающейся личностью и безвременно погибшим талантом. Меня же считал, по сравнению с отцом, человеком мелким, ничтожным, чуть ли не туповатым. И дело даже дошло до того, что Михайлов как-то раз позволил себе в моем присутствии без стеснения сказать об этом одной из сотрудниц своего отдела, которая из жалости также начала принимать участие в моей судьбе.

– Отец его был редкий человек, удивительно талантливый человек, – сказал Михайлов, – а он... – И, странно усмехнувшись, Михайлов сделал эдакий пренебрежительный жест рукой.

Случилось это в прошлом году, когда в очередной раз стал вопрос о моем выселении и с помощью телефонных звонков и личных разговоров Михайлов улаживал дело. И если до того я его недолюбливал, то после этого унижения я его попросту возненавидел.

Поблагодарил я его тогда за хлопоты каким-то злобным тоном, и он это, кажется, заметил не без удивления. Помню, выйдя тогда от Михайлова с головной болью, сел на трамвай и уехал к самой отдаленной окраине, где не мог встретить ни одного знакомого лица. В тот день я пораньше отпросился с работы и рассчитывал, потратив на Михайлова с полчаса, остальное время просидеть в читальном зале библиотеки республиканской Академии наук либо в газетном архиве. Это лучшее мое времяпрепровождение. Работу свою, на которую меня также устроил Михайлов, я ненавидел и в то же время боялся ее потерять, так как не мог рассчитывать ни на что другое и не мыслил себе, как приду к Михайлову сообщать о своем увольнении

и просить его посодействовать об устройстве на новое место. Я знал, что, несмотря на все свое влияние, он устроил меня с трудом. Хотя теперь опасность увольнения меня меньше пугала. За три года, живя экономно, я накопил немного денег на сберкнижке, и с присланными мне дедом деньгами на пальто получалась довольно приличная сумма, на которую можно было прожить с полгода. Поэтому я решил не сопротивляться грозящему мне увольнению и приступить к подготовке для поступления на филологический факультет университета. Я понимал, что в случае неудачи мое положение станет отчаянным и безнадежным, которое неизвестно смогу ли как-то поправить ценой даже самых глубоких унижений перед Михайловым.

Дело в том, что, как ни тяжела моя нынешняя жизнь, она попросту блестяща по сравнению с тем, что довелось мне пережить в этом городе ранее, пока Михайлов не принял участия в моей судьбе. Но об этом скажу потом и подробнее... В ту прошлогоднюю весну, когда я испытал нескрываемые уже унижения от Михайлова, мне исполнилось двадцать восемь лет (теперь мне, следовательно, двадцать девять).

Как-то быстро и бесплодно пробежали эти восемь-девять лет, в течение которых юноши добывают себе положение в обществе, а также, утратив горячую мечтательность, достигают мужских взаимоотношений с женщиной. Я же превратился в «стареющего юношу», и то, что восемь лет назад было приятным и естественным, теперь становилось стыдным, а нужда в помощи и опеке, которой я обременял, в сущности, чужого и несимпатичного мне человека, становилась мучительной и озлобляла меня.

Этот перелом во мне и эти мысли появились как бы вдруг, в прошлом году, когда Михайлов меня публично унизил. До того я прожил два года довольно спокойно и тихо, почти не нервничал, и хоть уставал, но был доволен судьбой, считал, что все идет хорошо и по плану. Тогда, два года назад, живы и ярки еще были мои мытарства без жилья и работы, теперь же мое положение было более устойчивым, и к тому же мне удалось завести кое-какие знакомства, приобщившие меня к любимому поприщу, о котором я мечтал. Дело в том, что возмутило меня до головной боли, до слез, до покалывания сердца прошлогоднее поведение Михайлова потому, что я был о себе весьма высокого мнения. Случалось, оставшись один, я брал зеркало и смотрел на себя с таинственной улыбкой. Я мог сидеть долго, глядя себе в глаза. Скрытое тщеславие и внутренняя, постоянно живущая во мне самоуверенность о некоем временном моем «инкогнито», скрывающем нечто значительное, укрепляли мне душу, особенно когда я постарел, и не давали отчаянию овладеть мной.

Однажды, увлекшись собой перед зеркалом, я не заметил одного из жильцов комнаты, который спал на своей койке. Это был Саламов, азербайджанец, семнадцатилетний мальчишка, натура, по всей вероятности испытывающая одни лишь физиологические потребности. Очевидно, я что-то сказал вслух, и звук моего голоса разбудил его.

– Ты чего? – спросил он удивленно.

Я вздрогнул и испугался, точно меня поймали на непотребном и стыдном пороке. К счастью, Саламов был усталый после смены, он тут же вновь захрапел. А я сидел с колотящимся сердцем, с мокрым от испарины лбом и досадовал на себя за подобное неосторожное поведение. Будь вместо Саламова Петров или Береговой, я мог бы опозориться по-настоящему и даже стать предметом насмешки. Особенно в этом смысле опасен был Пашка Береговой, так как в нем имелись какие-то зачатки духовности, и он, пожалуй, мог бы если не понять, то хотя бы ощутить подлинную причину моего поведения, а это было бы особенно ужасно и позорно. С Береговым мы одно время часто беседовали, и было у нас нечто похожее на коммунальную комнатную дружбу. Теперь же он подружился с новым жильцом Петровым, а мне стал в комнате злейший враг.

Как ни случайны люди, которые сходятся вместе жить в общежитиях, все ж в каждой комнате складывается что-то вроде особого «семейного» быта и даже некоторой «семейной» иерархии. В нашей тридцать второй комнате было шесть коек, два платяных шкафа, три тум-

бочки и стол. Если смотреть со стороны двери, моя койка была в самом углу у стены справа. Ноги мои сквозь прутья упирались в платяной шкаф. С противоположной стороны шкафа, также у стены, было место Саламова. На расстоянии протянутой руки, отделенная лишь тумбочкой, стояла койка Берегового. Еще со времен наших хороших отношений тумбочка у нас была общая: верхняя полка моя, нижняя – его. Далее, у противоположной стены, обитал Юрка Петров, сибиряк, сменивший несколько общежитий в разных концах Союза, кстати при родителях и очень большой родне где-то под Омском, то есть бродяга не по нужде, а по натуре. Это был скуластый, с татарщиной в лице парень, но светловолосый. Сам по себе был он неплохой и, кажется, с совестью, может и не постоянно в нем присутствующей, во всяком случае с порывами совести, если позволено так выразиться. Но интересно, как только он появился в нашей комнате и как только Береговой с ним подружился, так сразу Береговой этот расторг дружбу со мной и начал совершенно неожиданно проявлять ко мне неприязнь, хотя со стороны самого Петрова я неприязни не замечал, разве что изредка поддержит усмешкой Берегового. Правда, я мог бы составить в комнате союз с Жуковым, жильцом, койка которого располагалась за вторым платяным шкафом слева у самой двери, но я Жукова недавно обидел глупо и нелепо.

Родом Жуков был из Грузии, из Кутаиси. Родился и вырос он в общежитии, в комнате, где жили четверо матерей-одиночек, то есть иного быта он в жизни и не знал. Вот Жуков этот был парень совестливый, уже без оговорок. Мы с ним, случалось, довольно интересно беседовали. Правда, совесть он понимал по-своему, я в этом как-то убедился. Работал Жуков монтажником, заработок имел небольшой, но каждый месяц аккуратно высылал часть денег матери. За три года моей жизни в этой комнате мать приезжала к нему два раза и жила у него по несколько месяцев, вместе спала на одной койке. Жуков на это время оставлял учебу в вечерней школе и работал в две смены, чтоб создать матери условия и снабдить ее деньжатами на обратную дорогу. Как-то после ее отъезда я заговорил с Жуковым. И вдруг, к моему удивлению, оказалось, что он недоволен тем, что приходится слать ей деньги и принимать у себя.

– Пьявка, – сказал он и вздохнул.

Я был так ошеломлен и обманут в своих приятных чувствах, которые я всегда испытываю, видя со стороны людей поступки честные и великодушные, что запомнил этот разговор даже в отдельных бытовых деталях.

Был вечер, я сидел у стола и ужинал сладким кипятком с теплым свежим хлебом. Жуков сидел на своей койке, говорил негромко, задумчиво поблескивая металлическими протезными зубами, из которых у него состояла вся верхняя челюсть, хоть было ему не более двадцати пяти лет.

– Пьявка, – говорил он. – Камень на шее.

– Как же так, – сказал я, – ведь она тебя родила, растила... Вот я один, у меня матери давно нет... Чего хорошего... – И тут я, не зная, как продолжить, и не желая более ничего говорить о своей матери, замолчал, не доверяя Жукову, боясь, что он каким-либо нелепым словом оскорбит память моей матери и тогда придется с ним драться, а он был сильнее меня и, как я предполагал, в гневе неразборчив в ударах, мог и покалечить.

Мы сидели некоторое время молча. Я доел последние куски теплого хлеба и запил кипятком.

– Все это верно, – сказал Жуков, прервав молчание, – но если разобраться, то мать мне камень на шее.

– Так что ж ты ей деньги посылаешь, раз ты так думаешь, – спросил я уже просто из любопытства, – и принимаешь мать у себя, вкалываешь по две смены?

И тут он меня вновь ошеломил ответом.

– А совесть, – сказал он, – как же иначе, иначе не по совести.

Причем сказал он не раздумывая и как-то удивленно посмотрел на меня. Я в этом разговоре не понял правоты подобных суждений, но ныне она кажется мне все более очевидной.

Он понимал совесть и добро не как личные сердечные чувства, к которым, возможно, не был способен, а как закон. Закон пусть временами и неприятный, но неоспоримый, раз данный, с рождения, вместе со способностью дышать, возвышающийся над чувствами, высокими ли, низменными ли. Лишь позднее я понял, как опасно иное понимание совести и добра по сердцу, добра и совести, эгоистически приятных, ставящих незыблемые ценности человека в зависимость от личных качеств, душевной зрелости и преходящих эмоций. К такой совести по сердцу способны лишь немногие...

Тогда же, после разговора, у меня остался на душе неприятный осадок, разочарование мое в Жукове вызвало к нему раздражение. Он же, будучи натурой грубой и простой, не замечал этого и по-прежнему обращался ко мне с вопросами или с просьбой о помощи в учебе. Я в свое время окончил строительный факультет металлургического техникума, и хотя кончил его по нужде, а не по любви, тем не менее математику я знал неплохо. Жуков же поставил себе задачу получить образование, и в математике я ему помогал. Усваивал он материал тяжело, но с какой-то вдохновенной, наивной радостью, как глухонемой, который вдруг слышит смутные, неясные шумы и из этих шумов у него начинают складываться его собственные членораздельные звуки речи. Эта чрезмерная наивная радость познания, к несчастью, направила его энергию по ложному пути. Жуков увлекся изобретательством, приняв элементарные познания в физике и механике за необычные озарения. Подобные искажения букварных познаний в литературе именуются графоманией. В технике оно, возможно, встречается реже, но тем не менее также довольно распространено. Это одно из опасных побочных явлений зачаточной духовной зрелости. Все свободное время Жуков чертил какие-то конструкции, трубы, зубчатые сцепления... Причем делал он это не совсем бескорыстно и по вдохновению, а интересовался и у меня, и у нашего «воспитателя» Юрия Корша, как оплачиваются изобретения.

Юрий Корш, выпускник пединститута, ведал в общежитии культмассовой работой. Ко мне он относился хорошо, старался по возможности помочь, но возможности его были незначительные. Вообще круглолицый молодой воспитатель мне казался человеком с добрыми намерениями, но красота (он был красив, хоть и начинал уже лысеть), красота и внимание женщин развратили его, и, по-моему, он воспринимал все вокруг подобно мистику, то есть как призрачный мираж по отношению к чему-то единственно подлинному, а подлинным в жизни для него были только взаимоотношения с женщинами. Его вдохновенные, полные эротических подробностей рассказы, признаюсь, я слушал с нездоровым интересом, но старался спрятать чисто юношеское удивление и зависть, порожденные ущербной жизнью, которая придавала чувственности стыдливость и форму горячечной мечты.

Как-то я зашел почитать газеты в Ленинский уголок, которым Корш заведовал. Он как раз крепил свежие номера к подшивкам.

– Гоша, – сказал он мне, улыбаясь, – тут Жуков из твоей комнаты передал мне какие-то чертежи. Раз я местный городской житель, значит, у меня должны быть знакомства с инженерами. Так он решил... Просит познакомить, но чтоб инженер этот был мне хорошо известен, иначе стащит изобретение... Ты посмотри...

На листе изображалось производство труб из металлических болванок. Я глянул мельком и сказал небрежно:

– Полная глупость... Вообще этот парень с приветом...

Я не заметил, что Жуков стоит в дверях и слушает. Мне стало ужасно неприятно, когда он вдруг явился из-за наших спин и разорвал чертежи.

– А я тебя человеком считал, – сказал он мне с горечью, и, кажется, даже слезы мелькнули у него на глазах.

С тех пор я полностью потерял в комнате авторитет и опору. Саламов был малоавторитетной личностью и не мог составить сильную партию, тем более что Жуков, который ранее недолюбливал Берегового, теперь объединился с ним на общей антипатии ко мне. Правда, суще-

ствовал еще и шестой жилец, Володька Федорчук, но большую часть времени он пропадал и даже иногда ночевал в женском общежитии у своей «девах», на которой собирался жениться, и потому влияния на комнатные взаимоотношения не оказывал. Володька этот, здоровенный парень с плоским рябым лицом и маленьким носиком, успел уже отслужить во флоте, как он рассказывал, на торпедных катерах, тем не менее краснел, как девушка, по любому поводу. Помню, залил он вином Береговому брюки и так покраснел, что тот, вместо того чтоб озлиться, расхохотался. Был еще случай. Каким-то образом попал в комнату кирпич. Кто его принес, неизвестно. Выясняли, выясняли, так и не выяснили.

– Да что там мозги ломать, – сказал Володька с некоторой, разумеется, шутливостью, – брось его, Пашка, в окно... Убей кого-нибудь... Какого-нибудь жиды убей...

А в это время как раз ко мне зашел Сашка Рахутин из соседней комнаты. Фамилия у него русская, но он был еврей и с еврейской внешностью. Петров как толкнет локтем Володьку и на Рахутина незаметно показывает. Володька покраснел, прямо пятна какие-то влажные на лбу выступили, и из комнаты вышел...

Но особенно смешно проявил себя Володька во время чисто, правда, анекдотического случая. Недели за три до событий, к описанию которых я намерен приступить, где-то в феврале, когда мы уже лежали в постелях и собирались погасить свет и запереть дверь, в комнату вошел какой-то неизвестный нам пьяный мужчина. Даже не осматриваясь и ничего не говоря, он пошел к койке Федорчука, которая, по обыкновению, пустовала, не снимая пальто, улегся на нее и тут же захрапел. Мы поняли, что Володька прислал какого-то своего знакомого проспаться на свое пустующее место. Саламов погасил свет и запер дверь. Мы уснули. Однако часа в два ночи раздался стук и явился сам Володька, которого в этот раз комендантша женского общежития погнала от его «девах».

– А это кто? – спросил он с искренним удивлением и даже растерянностью, указывая пальцем на мужчину.

– Мы думали, Володька, ты его прислал, – сказал я.

Володька подошел к своей койке, взял незваного гостя за плечо, и тут все мы почувствовали дух, не оставляющий сомнения в том, что произошло и как гость отблагодарил хозяина. Всякий, кто знает, что такое ночной воздух рабочего общежития, где спят шестеро наработавшихся за день парней, питающихся грубой, несвежей пищей, тот поймет, почему мы не обратили внимания первоначально на некоторое усиление духоты. Но теперь, когда Володька, весь красный от стыда, рвал упирающегося гостя с койки, даже мы, привычные к дурным запахам, вынуждены были, несмотря на мороз, распахнуть окно.

– Как же так, – плачущим голосом говорил Володька, – ты же опозорился, сволочь... Зачем же так жидко ты опозорился?..

Это прозвучало грубо, но наивно и искренне. Володька, хоть был он ни в чем не виноват, так как гость мог лечь на любую свободную койку, испытывал подлинные муки глубокого позора. Он вытащил гостя, довольно грузного мужчину, в коридор, разбил ему в кровь лицо, сволок вниз по лестнице и выбросил на мороз. Дежурная сменила матрац и постель, но Володька ночевать не стал и вскоре поменялся комнатами с Кулиничем, сорокапятилетним тихим, вежливым и глупым мужиком, в свободное от работы время либо готовящим себе пищу, либо наигрывающим на баяне «Перепелочку».

Так что расстановка сил в комнате получалась такая, что мне и самому надо было меняться, тем более что в двадцать шестой комнате у меня появились друзья: Саша Рахутин, о котором я уже говорил, и Витька Григоренко, крановщик с башенного крана. Познакомился я с этими ребятами как-то само собой, кажется «на телевизоре». (Все свободные обычно вечером спешили в Ленуголок занять места «на телевизор».) Чем-то эти ребята, Григоренко и Рахутин, были ближе к тому обществу, к которому я стремился. Мне понравилось, что они сами меня нашли, то есть выделили из других, и со мной заговорили, кажется, Витька, а Сашка

Рахутин его поддержал. Разумеется, я болезненно нервно скрывал свое «инкогнито» и никогда б его не раскрыл даже намеком перед людьми, имеющими хоть какое-то касательство к моей насущной жизни, то есть к работе и общежитию. Но тем не менее мне нравилось, когда меня «ощущали». Витька Григоренко, видя, какая хамская атмосфера складывается вокруг меня в тридцать второй, предложил мне перейти в двадцать шестую, где он жил. Эта комната была моей давней мечтой. Маленькая, уютная, где на ночь выключалось радио и рано гасился свет. Пока я пользовался авторитетом в тридцать второй, мне также удавалось добиться выключения радио в двенадцать часов ночи, так как оно работало до двух, а потом включалось в шесть, то есть у меня оставался промежуток для сна всего в четыре часа. Но потом Береговой, при поддержке общественности комнаты, решил, чтоб радио не выключать, мол, в противном случае он опаздывает на утреннюю смену. Я пытался приучить себя спать при звуках радио так же безмятежно, как и остальные жильцы, но то самое «инкогнито», самоуверенность и тщеславие, которые ранее в трудную минуту поддерживали мою душу, теперь также в трудную минуту терзали ее обидами, не давая покоя. Еще год назад, до случая с Михайловым, я умел терпеть обиды, и подобное изменение значило, что с возрастом организм начинает сдавать, а то, что самоуверенность и тщеславие мои начинают реагировать на бытовые обиды, говорило о том, что самоуверенность эта утрачивает идею, возвышающую ее над повседневностью, и организм мой, истощив жизненные плотские силы, садится в своей повседневной борьбе на неприкосновенный запас моих духовных сил. Это были опасные и неприятные для меня признаки близящегося предела. Для победы в жизни мне нужна была уже не просто удача, которая могла мне помочь еще год назад, а чудо. Об этом я думал по ночам, когда смолкало наконец ненавистное радио и тишину нарушал лишь храп и сонное бормотанье моих сожителей. Сашка Рахутин был парень начитанный и добрый, но легкомысленный, Витька же Григоренко был более чуткий, очевидно от природы, и я несколько раз ловил на себе его тревожные взгляды, что было мне даже неприятно, так как я, разумеется, при всем при том не хотел его пускать к себе далее отведенной черты и разрешать ему прикоснуться, не дай бог, к моему «инкогнито». Места в их двадцать шестой комнате не было, но Витька, человек вообще несколько авантюрного склада, предложил просто перетащить мою койку и, подвинув шкаф в самый угол, установить ее четвертой. С третьим же жильцом, тихим старичком, доживающим свой век в общежитии, он обещал либо договориться, либо его запугать. Конечно, подобный выход был бы великолепен, но я отнекивался по разным причинам, будучи не вправе объяснить, что я живу здесь незаконно, занимаю место по знакомству и всякое перетаскивание коек и нарушения привлекут ко мне дополнительное внимание, что было не в моих интересах, тем более перед ежегодным весенним выселением. Главное, я это знал по опыту, было продержаться до конца мая, когда все затихало, а зимой вообще нельзя было выселять по закону. Еще с конца февраля я начал обдумывать план борьбы. У меня было дерзкое желание обойтись в этот раз без Михайлова, ибо обращаться к нему после прошлогоднего унижения было попросту мучительно. Но с другой стороны, борясь самостоятельно, я рисковал остаться без места, а с этим местом я связывал все свои дальнейшие жизненные планы, поскольку, теряя это место, я терял город, который любил, и принужден был бы ехать неизвестно куда без средств и опоры где бы то ни было. В моем возрасте это означало бы превратиться в провинциального неудачника, а я жил в провинции и знаю, что это означает для человека с моими планами и надеждами. «Поэтому, – думал я, лежа в бессоннице, – мое место в углу за платяным шкафом, моя железная койка с панцирной сеткой в этой шестикоечной комнате, среди грубых сожителей, означает сейчас для меня слишком много... Койко-место – это то, что закрепляет мою жизнь в общем определенном порядке жизни страны. Потеряв койко-место, я потеряю все». Так мне думалось. Рушился мир, а умирать мне не хотелось. Я чувствовал себя полным неистраченных жизненных соков, хотелось жить, и в бессоннице я перебирал тех, кто угрожает моему существованию. Прежде всего это была комендантша Софья Ивановна, грузная женщина с боро-

давкой на щеке. Она добросовестно и настойчиво в течение трех лет вела со мной борьбу в период весеннего выселения, но, когда этот период проходил, она относилась ко мне довольно доброжелательно, даже с приязнью, поскольку я не пьянствовал, не производил никаких нарушений и платил аккуратно за койко-место. Начальника жилконторы Маргулиса я видел лишь издали, а он меня не знал в лицо вовсе. Бумажки о выселении приходили за его подписью, но, кажется, именно через него действовал Михайлов, договариваясь частным путем об оставлении койко-места за мной. Однако был у меня среди этих причастных к моему месту людей страшный враг, причем враг не столько по служебному положению, сколько по личному вдохновению. По сравнению с этим моим врагом не на жизнь, а на смерть мой комнатный враг Пашка Береговой просто шутник. Да если б был я человеком не гордым, поговорил бы с ним... Так, мол, и так, Пашка... С чего это ты?.. Вроде тебе я ничего плохого... Мы с тобой два года жили нормально, даже выпили раз вместе, когда отец твой приезжал... На стадион вместе ходили... А если есть какие обиды, скажи... Думаю, Петров меня бы поддержал. Он иногда, когда мы наедине оставались, пробовал заговаривать... Положение мое в комнате уладилось бы наверняка. Другое дело, что я этого не сделаю, мне отвратительно выяснять отношения, тем более подобным образом и по моей инициативе. Мне с моим тщеславием и «инкогнито» приходится унижаться, если наступает крайняя нужда, как, например, с Михайловым, но не менее... И то с Михайловым подобное происходило, пока здоровы были мои нервы. Теперь же мысль о том, что снова придется пожертвовать своим достоинством, попросту приводит меня в ужас, в тупик, сердечную тоску... Но перед административным этим своим врагом я б, может, и унизился, потому что тут не то что крайняя нужда, а попросту самое больное место в моей борьбе за крышу над головой, поскольку ведется эта борьба в обход закона, опираясь на знакомства, на бюрократическое исполнение своих обязанностей причастными к делу лицами, на их безразличное отношение ко мне как к личности. В таком шатком деле человеческая, а не административная страсть может оказаться для меня губительной, так как она может раскопать знакомства и нарушения и призвать на помощь закон.

Более всего я боялся, что кто-либо, находящийся вне сферы знакомств Михайлова, заинтересуется мной, а не вакантным койко-местом и примется выяснять, кто я, собственно, такой, откуда здесь взялся и на основании каких прав... И пойдет по цепочке, от незаконного занятия койко-места в общежитии организации, в которой я не работал, к первоначальному фиктивному оформлению меня на должность баяниста в пригородном санатории «Победа», где директором был приятель Михайлова, что дало мне право на пригородную прописку, и еще далее по цепочке – к длительному проживанию без прописки в городе, а оттуда уже рукой подать до некоторых фактов моей биографии, которые я тщательно скрывал. Лгать, кстати, я научился очень рано, чуть ли не в раннем детстве, шести-семи лет, причем лгать не по-ребячьи, путано и мило, а по-взрослому, твердо и хитро, и мать моя меня в этом поощряла, дабы скрыть факт об арестованном отце. Факт, который я утаивал первоначально в ребячьих играх, спорах и рассказах, а повзрослев, не упоминал ни в одном из служебных листков: военкомата ли, отделов кадров ли, ни в одной биографии – и не из одного страха, а также из-за стыда.

Глава вторая

Были, правда, случаи, когда на некоем душевном подъеме, например поступая в комсомол, я хотел выложить все честно и прямо. Уже тогда человек необычайной фантазии, я весьма ярко представил себе, как встаю и говорю всю правду, прямо глядя ребятам в глаза, и честностью покрываю душевную муку и стыд. Я даже вдохновлялся этим и представил, что это украсит торжественность момента и привлечет ко мне внимание и благодаря этому я выделюсь из общей среды поступающих. Но в то же время меня беспокоили несколько сомнения и даже легкий страх. Поскольку посоветоваться мне было не с кем, я посоветовался с теткой, личностью грубой и малограмотной. Она посмотрела на меня сердито и сказала:

– Молчи, дурак, – и постучала пальцем по лбу.

Я обругал ее в ответ, но тем не менее это «молчи, дурак» подействовало на меня нехорошо, и в последний момент я струсил. Но поскольку вдохновение мое не было истрачено в честном и смелом направлении, я утешил свое тщеславие чересчур громкой ложью, изобразив своего отца крупнейшим деятелем и героем Отечественной войны. Я был глуп тогда и молод и бездумно вступал на путь, чреватый, помимо неприятностей, стыдными разоблачениями, которых я страшился более, чем неприятностей. Но, даже постарев, я придерживался этой версии, я как бы сжился с ней. Самым близким друзьям моим я рассказывал именно эту версию, и постепенно в моем воображении она приобрела силу правды, я сам в нее поверил. Поэтому я не любил тех немногих, кто знал подлинную историю моего отца, и, даже еще не видя Михайлова, испытывал к нему неприязнь. Я обратился к нему три года назад, лишь когда положение мое стало безвыходным. Интересно, что эта детская ложь, выдуманная экспромтом, по-детски наивно и сложившаяся в случайную картину, росла вместе со мной, приобрела надо мной власть и даже создала некий дополнительный нравственный тупик в моей жизни. Я мог бы уйти от острого болезненного вопроса моего происхождения, распространив версию, что отец мой просто и обыденно умер. Тем более что это была бы не совсем ложь, а скорее полуправда, так как я не сомневался, что он давно мертв. Я же всем, кто знал меня, сообщал эту мою детскую версию героической гибели отца, несколько, правда, повзрослевшую и лишённую очевидных наивностей. Более того, я вдруг без всякой инициативы с их стороны сообщал людям, мнением которых обо мне я дорожил, что, например, получил письмо от фронтового друга отца и должен встретить его на вокзале... Или нечто подобное... В некоторых обществах я распространялся и о героической фронтовой жизни матери, которая между тем обыденно умерла от малярии. Но здесь я сумел, к счастью, обуздать себя и замять эту легенду где-то на задворках, среди случайных знакомств и людей, с которыми я либо встречался редко, либо вовсе перестал встречаться. Подобные легенды в детстве нередки, вполне объяснимы и даже обаятельны, пока молодая жизнь находится скорее в области игры, чем подлинности. Но с годами в этом появляется нечто патологическое, неприятное. Порок, за который приходится платить беспокойством и напряжением. Меня постоянно терзали нелепые страхи. Я боялся, что Михайлов вдруг окажется в обществе моих друзей, хоть это было исключено... Или приедет тетка и сболтнет то, что не надо... Вообще у меня не было ясности на душе, и я не любил, когда два человека, не знающие друг друга, но знающие меня, встречаются.

В последнее время пошли слухи, что некоторые аресты были произведены неправильно, подобно аресту врачей, о реабилитации которых публично сообщили в газетах и по радио... Я начал иногда задумываться в этом направлении, но, как это ни нелепо звучит, мне трудно было менять легенду моей жизни, которую я сам же придумал и под власть которой я попал. Вся эта разномастная ложь, незаконные махинации Михайлова, на которых держался мой быт, нелепые мои выдумки личного характера – весь этот сонм неправд, полуправд, закулисных деяний, наслаивающихся с годами, лежал так близко и был так плохо скрыт, что не разоблачен он был,

мне кажется, лишь благодаря моему ничтожному положению, не могущему вызвать зависть, а лишь жалость, насмешку или безразличие у людей, обладающих административной властью. Правда, у некоторых, например у администрации по месту моей работы, я вызывал неприязнь, но это была некая насмешливая, несерьезная неприязнь, неприязнь к слабому, и она, по-видимому, вызывала желание не уничтожить меня, а попросту отмахнуться и освободиться от меня. Враг же, о котором я говорил, испытывал ко мне самую настоящую, серьезную неприязнь – лишенную насмешки. Правда, он занимал чрезвычайно низкую административную ступеньку, но что с того? Он был причастен к порядку, к закону, и его интересовало не лишнее койко-место, а я, которого, без поддержки Михайлова, он давно бы уничтожил. Враг мой была женщина. Я ее помню ясно и вижу досконально. Была она невысокого роста, несколько сутуловата, лицо круглое, говоря объективно, не лишенное внешней привлекательности. О возрасте сказать затрудняюсь, возможно, тридцать с небольшим, а может, и все сорок. Фамилия ее была Шовкун, имя Татьяна. Но произносила она свое имя «Тэтяна», может, потому, что родом была из Белоруссии.

– Надя, – кричала она уборщице, – пойди принеси ведомость из прачечной, скажи, Тэтяна велела.

Работала она завкамерой хранения, где содержались вещи жильцов, а также раз в неделю производила обмен белья. Должность ее как будто чисто техническая, тем не менее она занимала третье место в административной иерархии, во время отпуска комендантши заменяла ее и активно вмешивалась в судьбу жильцов. Я не знаю, откуда берет начало глубокая полнокровная ненависть Тэтяны ко мне. Впрочем, комендантша Софья Ивановна, по-моему, ее тоже недолюбливала и немножко побаивалась.

Помимо Тэтяны, определенную роль в расстановке сил играли трое дежурных, посуточно сменявших друг друга, и даже две уборщицы. Две из дежурных были сестры. Меня они из общей массы не выделяли. Третья, Дарья Павловна, выделяла, даже в хорошую сторону, всегда мне улыбалась и вежливо здоровалась, так как я единственный из жильцов ласкал и кормил кошку, ее любимицу, живущую при общежитии. Однако из-за этой кошки отношения у нас испортились. Кошка постоянно была беременна, и уборщицы топили ее котят в помойном ведре. Была она маленькой, тощей, хоть уже старой и опытной, понимала с полуслова, когда ей должно перепасть съестное, а когда надо убегать. Спала она в кубовой, а при дежурстве Дарьи Павловны – рядом с ней на диванчике у входа. Я говорю так много о кошке, потому что и она, бессловесная тварь, оказалась втянутой в события и сыграла роль в моей судьбе. Однажды, когда я, по обыкновению, подошел и принялся ласкать ее, она вдруг подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних лап глубоко распорол ладонь. Дарья Павловна, при этом присутствовавшая, даже вскрикнула от испуга. Я тут же ушел, держа раненую руку на весу. В комнате я залил рану, из которой сочилась кровь, тройным одеколоном и обмотал ладонь носовым платком. Помимо боли, меня терзала обида. Конечно, глупо и смешно обижаться на животных; скажи я об этом, меня б в комнате засмеяли. Но это была опытная и старая кошка, и она знала, я в это верю, как надо вести себя, если без прав хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтоб она кого-нибудь укусила, хоть ее били, пинали, отнимали котят и таскали за хвост. «Значит, она ощутила мое бесправие», – думал я, лежа на койке... Как это ни смешно и глупо, но думал я именно так. У меня начала болеть голова (это случалось в последнее время все чаще) и к тому же сильно болела рука, не только ладонь, но и выше, до самого локтя. Я встал и пошел вниз. Кошка мирно и спокойно умывалась, сидя у ног улыбающейся и беседующей с ней Дарьи Павловны. Злоба стиснула мне грудь. Я подошел и изо всех сил ударил кошку здоровой рукой по спине, так что внутри у нее что-то екнуло. Она тут же забилась под диван, однако я, став на четвереньки, принялся ее оттуда выгонять.

– Разве же можно так зверя? – сказала Дарья Павловна тоном, который я от нее не слышал. – Зверь, ты ему хоть голову оторви, он тебе ничего не скажет...

На следующий день я слышал, как Дарья Павловна говорила обо мне с Тэтяной. У меня появился еще один серьезный враг, так как именно у дежурных были ключи от входной двери и они контролировали вход. Я понимал, что подобные отношения с Дарьей Павловной затруднят мне тактику, которую я довольно успешно применял в прошлые годы, в период весенних высе-лений. Я уходил в шесть утра, а после работы шел к кому-либо, если была возможность, но так как знакомых у меня было мало и ходить к ним часто было неудобно, то я разрабатывал график: в понедельник, например, к школьному товарищу, жившему ныне в этом городе, вторник – кино, потом просто побродить по городу, а если плохая погода, пойти на вокзал, среда – удач-ный день, к Бройдам, в приятное общество, в которое я стремился и где можно было хорошо пообедать, четверг – опять кино, гуляние, вокзал... Так всю неделю... Чаще всего именно гуляние и вокзал, куда я брал с собой книги. Была, правда, еще старушка Анна Борисовна, дальняя родственница, адрес которой дала мне тетка в надежде, что там по приезде я смогу остановиться. Остановиться у нее я не смог, но иногда заходил, вроде проведать, это Анну Борисовну даже радовало. Там можно было просидеть несколько часов, попить чаю, согреться, так как вечера ранней весны в нашем городе холодные, почти зимние.

Был еще дом, где три года назад меня приняли по-родственному хорошо и где я жил месяц. Но туда я ходил уж из крайней нужды, потому что, во-первых, в конце месяца меня все-таки почти что выгнали, так как я засиделся свыше обещанного и стеснял их, а сейчас там меня принимали за нищего и угощали не чаем с печеньем, а позавчерашним супом, кото-рый я ел с отвращением и из вежливости. Впрочем, это были даже не родственники, а какие-то знакомые тетки, которые чем-то ей были обязаны. Фамилия их была странная – Чертог. Туда я ходил, когда уж очень уставал от вокзального своего пристанища. К тому же у Чертогов допоздна оставаться нельзя было, так как они рано ложились спать, и все равно приходилось ехать на вокзал. Согласно тактике мне надо было возвращаться в общежитие не раньше ночи, поскольку комендантша иногда задерживалась в общежитии до десяти вечера, а Тэтяна и до половины двенадцатого. Тактика моя состояла в том, чтобы, получив повестку, исчезнуть и избегать словесных предупреждений и вообще контактов до тех пор, пока Михайлов не ула-живал дело. Теперь же, когда из-за проклятой кошки Дарья Павловна перешла в стан моих врагов, тактика моя, которая в прошлые годы давала хороший результат, ныне становилась под угрозой. Конечно, подобная тактика меня довольно сильно изматывала, но это продолжалось не более двух, от силы двух с половиной месяцев. Остальные же десять месяцев жизнь моя была более приятна и спокойна.

Вот так усложнилась обстановка в тот год, когда я решил отказаться от услуг моего покро-вителя Михайлова из-за того, что, помогая мне в предыдущий раз, он меня попросту откро-венно унизил... Помню, когда я уехал тогда от него, униженный и впервые по-настоящему ощутивший свои нервы, был прекрасный день, первый по-настоящему весенний день, двадцать третье апреля, я запомнил число. Я доехал до загородного лесопарка и сел на одной из дальних просек. Остро пахло молодой хвоей, возбуждая почему-то во мне чувство голода, хоть перед посещением Михайлова я успел пообедать в столовой. То тут, то там мелькали белки. Эти зверьки были здесь почти ручными и ласковыми. Два зверька оказались передо мной, ожидая орехов. Они сидели, доверчиво подняв мордочки. Я нашел у скамейки прошлогоднюю шишку и с силой запустил в них. Я целил в голову той, что покрупней, но промахнулся. Я погнался за ними, ища глазами какую-нибудь палку или камень. Что творилось у меня тогда в душе, понять трудно. Это была душа злодея, порожденная дикой обидой на жизнь. В те страшные мгновения стыда, отчаяния и злобы я мог бы убить ребенка... Я осыпал проклятиями моих покойных родителей... Лицо мое было залито слезами, а правый кулак расшиблен в кровь, – кажется, я ударил им о спинку скамьи либо о ствол дерева... Потом наступило новое состо-яние... Не могу сказать, что я чувствовал... Помню позор... Мне было стыдно перед собой за свою жизнь... Я закрыл глаза от стыда, мне захотелось исчезнуть, и вдруг стало легче, а

затем совсем легко... Кажется, я забыл тогда такие земные мучительные слова, как самоубийство, смерть, сырая могила... Поэтому я не отношу этот случай к тем двум-трем нелепым приступам, когда я хотел убить себя (позднее, значительно позднее, уже совсем в другой жизни, подобное состояние возникло опять). Передо мной явилась не смерть, которой оканчивается жизнь, а то, что бывает после смерти, – легкое «ничто», которое сродни жизни и из которого рождается жизнь... Возможность исчезнуть вселила в меня успокоение, и это успокоение вернуло меня в жизнь. Вскоре я занялся своими обычными земными мыслями. То есть обычными в том смысле, что я избавился от нахлынувшего на меня безумия. Но были они все-таки новы и связаны с моим недавним состоянием. В частности, я с неприязнью подумал о своем отце. Не с проклятием в порыве безумия, что относилось не столько к родителям, сколько к моей судьбе, рожденной ими. Я подумал о своем отце как о человеке, совершенно независимо от факта моего рождения. Я не помнил его, и он являлся для меня всего лишь отцом-идеей, вне меня и без меня не существующей. Но Михайлов был его другом детства, юности и молодости. В студенческие годы они вместе спали на одной койке, о чем рассказывала мне тетка, давая адрес Михайлова. «Таким образом, – рассуждал я, – это были люди, душевно близкие друг другу, наверное искренне любившие друг друга... Михайлов же человек глупый, я в этом убедился, любит, когда ему льстят сотрудники его отдела, к тому ж не без пошлячки... Например, застав меня раз в отделе разговаривающим с Вероникой Онисимовной Кошеровской, той самой сорокашестилетней сотрудницей, которая сочувствовала мне и приняла посильное участие в моей судьбе, он как-то неприятно засмеялся и выразился достаточно скользко, намекнув на странную ее привязанность ко мне, так что и мне, и Веронике Онисимовне стало неловко... И этого-то пошляка мой отец любил».

Подобное направление мыслей придало моему духу унылое, подавленное состояние, но это уже не опасно для жизни, так как это состояние случалось у меня всякий раз после неприятных разговоров в комнате, выговоров по работе или стычек с комендантшей. Я знал его и потому не пугался, так как оно всегда кончалось через несколько часов. Так что разочарование в моем отце, событие, казалось бы, серьезное, влилось в общий ряд бытовых неурядиц, думаю, благодаря именно тем предшествующим этому разочарованию минутам безумия, ненависти и желания потерять жизнь – минутам, отнявшим себе всю свежесть и остроту восприятий, так что разочарование в отце пришлось как бы уже на похмелье и было маловыразительным и необразным.

Постепенно все забылось, вернее, поблекло. Наступило лето. Я отдыхал в провинции, окреп, загорел... Потом зима... Тяжелые ночные смены на строительных объектах... Я отморозил ухо, так что оно время от времени распухало, становилось липким и чесалось... В свободное время сидел в библиотеке. Раз, иногда даже два раза в неделю бывал у Бройдов, в обществе мне приятном, где шла совсем иная, заманчивая жизнь... В конце февраля подули теплые весенние ветры, и у меня тоскливо сжалось сердце. Кончалась моя защитница-зима, начинался новый цикл моей борьбы за койко-место. С начала марта я начал с тревогой поглядывать на тумбочку у входа в общежитие, где оставляли почту. Я страшился повестки о выселении и в то же время ждал ее, чтобы исчезла последняя нелепая надежда на то, что меня, вопреки закону, в этом году выселять не будут... Подобная надежда вселяла смуту и неуверенность в мои планы... Как это ни глупо звучит, такая надежда, вопреки здравому смыслу, возникала у меня каждый год, и каждый год она не сбывалась, так как у меня не было на койко-место никаких прав. Мысль же о том, что придется вновь обращаться к Михайлову, лишала меня покоя, и с конца февраля именно мысль о новых унижениях перед Михайловым первой приходила мне всякий раз после пробуждения ото сна. Правда, мой друг Григоренко обещал разузнать насчет возможности «сунуть в лапу», то есть дать взятку кому-то в жилконторе. Это меня очень обрадовало. Денег, конечно, маловато, но, в конце-то концов, это лучший выход.

День, когда прибыла повестка, был совершенно зимний, падал снег, от беспокойных февральских оттепелей и намека не осталось. Может, поэтому, а может, оттого, что давно ждал эту повестку, особого волнения я не испытал. Просто взял и положил в боковой карман, не читая, так как знал содержание наизусть, оно повторялось из года в год.

Глава третья

В повестке значилось: «Гражданин Цвибышев Г. М. На основании параграфа... постановления Совета Министров о проживании в общежитиях и ведомственных домах государственных учреждений и организаций, предлагаю вам в двухнедельный срок, то есть до 21 марта 195... года, освободить занимаемое вами койко-место. В противном случае к вам будут приняты административные меры. Зав. ЖКК треста „Жилстрой“ Маргулис».

Моя фамилия Цвибышев какая-то неживая и явно придуманная. У деда моего другая фамилия, и он до сих пор относится к этой фамилии с возмущением. Но я-то здесь ни при чем, мне-то она досталась от отца. В обиходе зовут меня Гоша, хоть и это неточно. По паспорту я Григорий, а Гоша – видоизменение другого имени – Георгий. Так что не только в жизни, но и в обычном наименовании у меня путаница и отсутствие порядка.

В то утро, когда прибыла повестка, проснулся я позже обычного, забывшись внезапным крепким сном, что случалось со мной редко. Даже радио, включенное на полную громкость, не смогло меня разбудить в шесть часов. Первым делом я, разумеется, подумал о Михайлове, о том, что, если идея Григоренко со взяткой в жилконторе провалится, придется унижаться опять перед Михайловым. Но подумал без боли и стыда, то ли потому, что начал привыкать к мысли, то ли потому, что радость мешала этим дурным мыслям, так как сегодня был четверг, а я еще не использовал на этой неделе свою возможность посетить Бройдов, и это мне сегодня предстояло. Собственно, Бройды рады были мне всегда, и ограничивал свои посещения я сам, так как считал, что редкие мои посещения более ценны и не переводят наши взаимоотношения в быт; я видел, как эти люди радуются моему приходу, и частыми посещениями боялся эту радость потерять. Кроме того, редкие посещения поднимали мой престиж человека разностороннего и не одинокого, а такое впечатление я чрезвычайно боялся произвести на Бройдов, боялся дать им понять, что они мои единственные друзья.

Помимо всего прочего, меня сегодня должны были уволить с работы, мне о том уже намекали, а сегодня предстояла планерка, так что я должен был ехать не на объект, а прямо в управление, где, вероятно, мне и должны были все объявить официально. Откровенно говоря, по этому поводу я испытывал сложное чувство. Еще год назад мысль об увольнении вызывала во мне панику, как и потеря койко-места. Теперь же я был даже рад. Немного денег у меня есть, я начну интенсивно готовиться в университет, а там моя жизнь круто изменится: придет другое общество, интеллектуальная женщина, черный двубортный костюм. То есть я, может, и не так мелко думал, но в мечтах и это мелькало... Однако сам я бы никогда не собрался с духом пойти на такой опасный шаг, как увольнение, и сам бы не подал заявления, хотя работа эта отнимала у меня силы, не давала никаких перспектив, да и сам я чувствовал, что я – не на месте. Начальство же это чувствовало давно и давало мне о том понять в течение трех лет довольно грубо, но уволить меня не решалось, поскольку я устроился здесь также по знакомству, через приятеля Михайлова, занимавшего высокий пост. Причем относилось начальство ко мне одинаково грубо, не делая разницы, и когда два года подряд, боясь быть уволенным, я работал со рвением, и теперь, когда я действительно начал работать спустя рукава. Два года подряд я с утра до ночи, иногда по две смены не уходил с объектов, в дождь, в мороз, больным... Я так уставал, что, вернувшись в общежитие, я иногда по полчаса сидел в сушилке, не будучи в силах стащить грязные резиновые сапоги... Но поощрили меня всего раз небольшой денежной премией, когда вместе с экскаваторщиком я сутки без сна возился у провалившегося в котлован экскаватора. Правда, это быстро забылось. Кроме того, несмотря на усталость, генподрядчики на объектах, которые обслуживали наши механизмы, были мной недовольны, поскольку работы требовали не столько знаний, сколько «человеческих отношений». Так говорили мне те прорабы нашего управления, которые относились ко мне хорошо: Свечков, Шлафштейн и Сидерский. Но как

я ни старался, у меня эти отношения не получались, взаимоотношения на стройках требуют какого-то особого выражения лица, как мне казалось, умения понять друг друга и нарушить закон. Я этого не умел и боялся, поскольку, нарушив закон, я мог лишиться работы и вообще могла выясниться вся моя личная незаконная жизнь. Поэтому я хоть и уставал, но должность свою так и не освоил и работал плохо. Думаю, освой я работу, начальство переменялось бы ко мне в лучшую сторону, о чем свидетельствует отношение к Свечкову. Но мало того, что работать я не умел, рвение мое основывалось на страхе быть уволенным и больше ни на чем. В нынешний же год и рвение угасло благодаря небольшим денежным накоплениям. И мысль о том, что сегодня меня должны уволить, не вызвала страха, а, наоборот, как-то приятно соединялась с мыслью о посещении Бройдов. Увольнение, на которое сам бы я тем не менее не решился, было помощью извне и толкало меня на новый путь, к новой жизни, борьбу за которую, судя по возрасту, откладывать более нельзя было...

Итак, проснувшись позднее обычного, я потянулся и, просунув ступни меж прутьев койки, почесал пятки о шкаф. Ни Петрова, ни Жукова, ни Кулинича уже не было. На столе валялись неприбранные остатки завтрака: куски хлеба, кожа колбасы, вскрытые, вкусно пахнущие банки из-под каких-то томатных рыбных консервов. Все это мокло в луже остывшего кипятка, – очевидно, жестяной комнатный чайник снова распаялся. Из-за шкафа я слышал храп Саламова, а рядом, на одной койке, спали Береговой и его брат Николка, молодой парнишка, учащийся железнодорожного техникума. В отличие от Пашки, был он парень более добрый, но расхлябанный, ленивый, учиться не хотел, и отец, наезжавший из села, поручил его попечению Пашки. Уже некоторое время Николка оставался ночевать каждый раз в день выдачи стипендии. Стипендию Николка не получал, но в тот день в общежитии бывали гулянки, и он пропивал присланные отцом деньги. За это Пашка бил его сложенным втрое электрическим проводом, бил сильно и до крови. Между ними якобы даже существовал любовный договор на этот счет, составленный в присутствии отца, который тратил на младшего сына деньги, пытаясь вывести его в люди. И Николка согласился, что в случае нарушений добровольно будет принимать от Пашки наказания его...

Я встал осторожно, стараясь не разбудить братьев, так как не любил, когда кто-либо присутствует во время моего завтрака. Не то чтоб из жадности – жили мы все самостоятельно, а не коммуной и по молчаливому уговору едой не делились. В некоторых комнатах, особенно среди молодых, только прибывших, существовали коммуны и дележ в еде, но этого я не люблю. И даже ушел из такой комнаты жить в другую. Одно дело угостить, другое – если это норма...

У каждого свои вкусы, свои запасы, свое распределение средств. Я, например, научился вкусно и экономно питаться, так что, тратя деньги скупно, редко бывал голоден. Рыбные и мясные консервы, любимое блюдо молодежи, я давно не покупал. Дорого, а съедается в один присест. Не покупал я также дешевых вареных колбас: хоть они вкусны, спору нет, но быстро сохнут и съедаются в большом количестве. Сто граммов копченой сухой колбасы можно растянуть на четыре-пять завтраков или ужинов, двумя тонкими кружочками колбасы покрывается половина хлеба, смазанного маслом или животным жиром, на закуску чай с карамелью. Иногда к хлебу и колбасе что-нибудь остренькое. Сегодня к завтраку у меня, например, запечатанная еще банка томат-пасты: домохозяйки покупают ее как приправу к борщу. Но, намазанная тонким слоем поверх масла, она придает бутерброду особый аромат, такая банка, в зимних условиях поставленная на окно, может быть хороша всю неделю...

Отбросив одеяло, я начал торопливо, почти судорожно натягивать брюки, опасливо поглядывая на спящих братьев. Несмотря на мою долгую жизнь в общежитии, я стыдился стоять в белье, к тому ж давно не стиранным и лопнувшем в нескольких местах. Большинство холостяков отдавало стирать белье уборщицам, однако я почему-то этого стеснялся, да и средства требовались. Я предпочел бы стирать самостоятельно, как некоторые, в специально отведенной для этого комнатке, в подвале, рядом с душевой. Но роли прачки я стеснялся еще более,

разве что улучу момент, когда в прачечной никого, а такое случалось редко. Если и стирал, то с оглядкой: вдруг войдет Надя или из семейных кто-нибудь... Но особенно Надя... Так что занашивал я белье ужасно, пока оно не начинало рваться и лосниться.

Я почти уже застегнул брюки, когда неожиданно открылась дверь и вошел Кулинич с дымящейся кастрюлей в руках. Я даже вздрогнул, у меня екнуло сердце. Я думал, что Кулинич на работе, а он, оказывается, варил, и теперь мне нельзя будет позавтракать в одиночестве. Кулинич был высокого роста, голубоглазый, с большим, но вздернутым кверху носом, что придавало его лицу вид Иванушки-дурачка. Он был со всеми, даже с мальчишкой Саламовым и Николкой Береговым, на «вы».

– Что ж это вы заспали? – громко сказал он, улыбаясь, и я понял, что своим поведением он разбудит и Саламова, и братьев Береговых. Придется завтракать среди сонных потягиваний, зевков и прочих неприятных звуков и видов.

– Мне попозже надо сегодня, – сказал я и, взяв полотенце, вышел в коридор.

Здесь было довольно пусто, так как часы пик, приходящиеся на шесть – семь утра, уже прошли, и царил особый, привычный утренний запах – из кухни, где готовили еду жены семейных, и из двух туалетов в концах коридора. Я пошел к дальнему туалету, так как против него находилась двадцать шестая комната, где жили мои друзья, но двери были закрыты, значит, Григоренко и Рахутин на смене, а старик где-то гулял. Умывшись, я, как делал обычно, если рядом никого не было, осмотрел свое лицо и нашел его выспавшимся, а после умывания довольно свежим. Возвращаясь, я встретил Надю из тридцатой, молодую солдатку. Муж ее, газосварщик, бывший жилец общежития, служил в армии, а она жила в комнате для семейных. Вообще все жильцы общежития были уродливы, провинциальны и старомодны. Надя же была смазлива, одета по столичной моде, и раз я даже встретил ее с какой-то девушкой на главной улице, в районе главпочтамта, где обычно стояло много красивых женщин и молодых людей. Тогда она прошла, не заметив меня. Сейчас Надя покосилась на меня и, запахнув на груди халат, презрительно хмыкнула. Мне это было неприятно. Не то чтобы она мне нравилась или я о ней думал, как о некоторых моих фаворитках, но меня заботило впечатление, которое я произвожу на красивых женщин, которых я более или менее регулярно видел и которых, мысленно разумеется, выделил из общей массы, бросал на них взгляды, если они были недалеко, и думал о них в их отсутствие. Конечно, таких женщин не могло быть ни на работе, ни в общежитии. Некоторые из них встречались мне в библиотеке, одна, самая красивая, – в газетном архиве. Была также фаворитка, которую я иногда встречал на улице, где располагалось общежитие, очевидно из местных. Ни с одной, конечно, я никогда не говорил и не знал имен. Надя в фаворитках не числилась, была она слишком груба и ясна для меня и не могла составить предмет мечты в ночные часы. Но все же мне было неприятно ее презрительное ко мне отношение, так что у меня даже испортилось настроение, впрочем, я знал, ненадолго.

Войдя к себе в тридцать вторую, я застал Кулинича за едой. Он ел из глубокой эмалированной миски борщ, полнокровно-красный домашний борщ с большим куском мяса посредине. Красавец-борщ даже по внешнему виду не шел ни в какое сравнение с тощими столовскими борщами цвета линялой розовой краски. От него вместе с паром исходил густой, крепкий аромат. Пашка Береговой и Саламов, к счастью, по-прежнему спали, а Николка Береговой сидел у стола в майке и трусах, всклокоченный, и в состоянии сонной апатии смотрел мимо борща на свои руки, как-то лениво и небрежно лежащие на столе. Я достал из тумбочки хлеб, остатки колбасы, масло, кулек карамелек и банку томат-пасты. Тут же на тумбочке я открыл личной открывалкой банку и, отрезав кусочки колбасы, приготовил три аппетитных бутерброда из масла, колбасы и томат-пасты. Затем я перенес все это на стол, налил в одну из общих комнатных прибудных кружек кипятку.

Николка по-прежнему сидел не шевельнувшись, глядя теперь уже мимо не только борща Кулинича, но и мимо моих бутербродов.

– А вы все на масло нажимаете, – весело сказал мне Кулинич. Подобные обороты он употреблял постоянно, и я к ним привык. – А я, – продолжал он, зачерпывая борщ деревянной своей ложкой, – я, если сам не наварю, есть не могу... Воротит меня... Я только раз на стороне хороший борщ ел... Работали мы с партнером на даче у Хрущева... Столярная работа... И на кухне дали нам борща... Ну, борщ – вино!.. Ложку поставишь – стоит...

Я торопливо и неожиданно без аппетита ел свои бутерброды, украдкой поглядывая на молчаливого, неподвижного Николку, который, конечно же, был голоден, я это чувствовал. Береговым, в отличие от меня, которому никто не помогал, отец еженедельно привозил или присылал с односельчанами огромные плетеные корзины яиц, сала и вкусного копченого мяса. Раза два, когда я был с Пашкой в хороших отношениях, меня угощали этой ароматной простой крестьянской провизией, которую я очень любил, более, чем тонкие и нежные кушанья. Тем не менее братья Береговые ели по-крестьянски много и быстро, особенно Николка, не умеющий вовсе экономить и часто ходивший голодным. Был он голоден и сейчас, я это видел и потому ел свои бутерброды без аппетита и мучился, что не имею возможности угостить его, так как это лишило бы меня ужина. Да и, кроме того, угости я его, это стало бы нормой и повторялось бы всякий раз, когда он у нас бывал. Поэтому я ел без того удовольствия, на которое рассчитывал, и досадовал на Кулинича, своими глупыми, шумными разговорами разбудившего Николку.

– Едри ихнюю мать! – говорил Кулинич, кивая на радио, которое передавало обзор центральных газет, так что было довольно поздно и надо было торопиться. – Едрена мать, – повторил Кулинич, – только гавкают, а как пойдешь куда-нибудь, так ничего не добьешься... Пойдешь по этим начальникам, в горсовет, в райисполком, они сидят надутые... От так бы дал... – Он поднял огромный свой кулак. – Мне сорок пять лет... я инвалид второй группы... пойдешь насчет комнаты или насчет работы полегче... мне на стройке нельзя, у меня ревматизм спину ломает... в артель инвалидов какую-нибудь... там всюду евреи... они друг друга тянут, а нашему брату не пробиться. Насчет комнаты тоже, начальники от одного к другому гоняют... А я ж здоровье свое в плену потерял, – объяснял он обстоятельно, – бараки на сваях... доски на два пальца, а под низом вода... брить заставляют все места от вшей... бритва одна на тридцать человек, ржавая, аж по сердцу скребет... джем выдавали искусственный, из угля, говорят... ешь – вкусно, вкуснее настоящего, а после изжога, грудь печет...

Кулинич вынул из кармана солдатских галифе, которые носил постоянно, дешевый складной нож с железной рукояткой и принялся разрезать им борщевое мясо. Я наспех съел бутерброды, выпил остывший кипяток и, посасывая карамельку, принялся одеваться. Я надел теплую ковбойку, синий полушерстяной свитер, почти новый, но, к сожалению, растянутый у ворота, так что ворот приходилось незаметно зашлифовывать «секреткой». Брюк у меня было три пары, как будто бы много, но носил я главным образом одну пару из черного сукна, которая при такой частой носке начала уже протираться сзади. Были у меня еще брюки из прекрасного английского бостона коричневого цвета – единственное наследство, доставшееся от отца. Однако брюки эти существовали уже лет десять, с тех пор как к окончанию школы тетка сшила мне костюм. Ныне брюки пришли в ужасную ветхость и не поддавались больше ремонту. Пиджак же сохранился лучше, почти не стал мне узок, но я его не носил, рассчитывая продать. К тому ж для рабочей одежды он не годился, а как выходной он уже устарел. В качестве выходного у меня был чудесный импортный пиджак из синего вельвета, который очень хорошо смотрелся в сочетании с серыми выходными брюками. Брюки эти были скорее летние и для зимы тонкие, тем не менее я всякий раз надевал их, когда шел к Бройдам. Была у меня также хорошая байковая куртка, которую я надел сейчас. Пальто мое уже поношенное, но не потому, что давно куплено, а потому, что я трепал его по строительным объектам. За незначительную цену одна из уборщиц подкоротила мне его, и хоть накладные карманы оказались после этого чересчур низко, тем не менее пальто стало смотреться лучше, чем раньше, когда полы болтались намного ниже колен. А издали пальто вообще выглядело модным. Шапка у меня была

хорошая, финского фасона, который редко встречался пока даже в нашем городе, столице республики. Так что на нее обращали внимание некоторые модники и молодые женщины, что мне чрезвычайно нравилось. А между тем пошел я ее в провинции у старого шапочника, который подобный фасон называл керенка. Материалом же для шапки послужили остатки синего теткиного жакета.

В тот момент, когда я надевал свою финскую шапку, Николка словно очнулся от полусонного, нелепого своего сидения у стола и сказал:

– Гоша, продай мне свою клетчатую кепку.

Была у меня и клетчатая кепка, которую я купил во время моей учебной практики на Урале, на последнем курсе техникума. Купил я ее из-за необычной, броской, почти клоунской расцветки, и на меня в ней также обращали внимание, что мне нравилось. Однако раз какая-то девушка, курносенькая блондиночка, по которой я с интересом скользнул взглядом на улице, а следовательно, вступил во взаимоотношения и придал определенный вес ее мнению, так вот, эта девушка за спиной у меня сказала достаточно обидно своей подруге о моей кепке, и обе засмеялись. Я мгновенно переменял свое мнение об этой девушке, обозвал ее сельской кугуткой и дурой с трудоднями, причем даже вслух и с горечью, но не особенно громко. В нашем общежитии, обитатели которого состояли главным образом из бывших колхозников или их детей, жителей окрестных сел, подобные ругательства употреблялись часто и были весьма обидны, так что, обругав этаким манером блондинку, я несколько успокоился. Но кепку с тех пор носить перестал.

– Сколько дашь? – спросил я Николку.

– Трояк, – сказал Николка.

Он тут же делово полез в свои висящие на спинке стула брюки, достал трояк, протянул мне, потом обошел вокруг стула, открыл шкаф, сам взял кепку, напялил ее на свою всклокоченную голову и вновь, теперь уже в майке, трусах и кепке, уселся у стола. Проснулся Пашка.

– Пойдем в столовую, – сказал ему Николка, – жрать хочу, желудок под грудь давит.

Мне неприятен был Пашка, которого я считал не только врагом, но и предателем. Я вышел и спустился по лестнице на первый этаж. Тут-то на тумбочке, у входа, я и обнаружил среди почтовых конвертов повестку. Кроме меня, в наш корпус прибыло еще три повестки о выселении. Наде-солдатке, которую обычно брал под защиту военкомат, старичку-пенсионеру из двадцать шестой комнаты, которого защищал собес, и Саламову, который в этом году перешел работать из «Жилстроя» на завод кирпичных блоков.

За столом дежурной сидела Оля, одна из сестер, не обращавших на меня внимания, а не Дарья Павловна. Камера хранения была закрыта, – видно, Тэтяна в прачечной или в соседнем корпусе.

«Хорошее начало», – подумал я.

Правда, во дворе я едва не наткнулся на Софью Ивановну, комендантшу. Но, быстро сориентировавшись, я прямо по запорошенной снегом клумбе пересек палисадник, зашел за угол и переждал, пока Софья Ивановна в своем длинном зеленом пальто с лисьим воротником (один внешний вид этого пальто вызывал во мне чувство опасности), пока Софья Ивановна, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, с хозяйственной сумкой в руках, не проследует в сторону жилконторы.

«Хорошее начало», – вновь подумал я; время, в которое я сегодня вышел, было чрезвычайно опасным – девять утра, тем не менее мне удалось уклониться от встречи с моими врагами и избежать словесных предупреждений... А вечером я у Бройдов, вернусь в безопасное время... В двенадцать, а то и позже... Вот завтра... Надо бы составить график... Завтра можно и на вокзал... Чувствую я себя хорошо, здоров... Пока не налажу другие места, где буду проводить вечера, можно даже несколько раз подряд на вокзал...

Хорошо бы в этом году обойтись без Чертогов... Ужасная, мерзкая семья... Моей тетке они чрезвычайно обязаны... Кажется, до войны жили у нее в течение года... Правда, в отличие от старушечки Анны Борисовны, они меня приняли, и я жил у них месяц и даже питался... Но в конце они меня почти выгнали, очевидно забеспокоившись, что я останусь у них на очень долгий срок, чтоб сполна отплатить за проживание Чертогов у тетки. Так что ныне у меня со старушечкой Анной Борисовной более приятные отношения, хоть по приезду она меня не приняла... Правда, не прими меня и Чертоги, положение мое стало б аховое... Живя у них, я осмотрелся, несколько обжился в городе, разыскал Михайлова... Если б Чертоги потерпели мое присутствие еще с недельку, мы б расстались с ними хорошо и я, может, всю жизнь был бы им благодарен. Но последняя неделя, когда они вдруг начали обращаться со мной грубо и чуть ли не показывали на дверь, все перечеркнула. А ведь я люблю быть благодарным за содеянное мне добро. Жаль, что Чертоги и Михайлов делали мне добро не из любви или хотя бы сострадания лично ко мне, а из неких нравственных норм и обязательств, со мной связанных не прямо, а косвенно. Словно ставили Богу свечку.

После того как мы расстались, я не был у Чертогов года полтора и появился лишь из крайней нужды в вечерних пристанищах, без которых моя тактика обречена на провал. Конечно, в этом году известную путаницу в мою тактику вносила Дарья Павловна, повздорившая со мной из-за проклятой кошки... Дарья Павловна дежурила раз в три дня и, следовательно, будет делать мне два словесных предупреждения в неделю. Я принужден буду чем-то отвечать: либо грубить, либо давать обещания. Сигналы о том будут поступать в контору. Фамилия моя окажется все время на виду. Если же со мной непосредственно не встречаются, то в текучке дел обо мне могут на некоторое время и забыть. Это главное, в чем я ныне нуждался, в том, чтоб обо мне хоть ненадолго забыли. Я отлично изучил местные нравы жилконторы. Даже Тэтяна говорила обо мне пакости и писала на меня докладные, и даже в ней я вызывал особую ненависть лишь после того, как мы встречались, видели друг друга. Это уж точно. После каждой почти встречи с Тэтяной у меня были неприятности. Когда же мне удавалось избегать с ней встреч, меня как бы на время забывали.

Приходила Тэтяна не ранее семи, и об утренних встречах я не беспокоился, но вечером пристанища, где я бы мог пересидеть, чрезвычайно важны в моей тактике. Несколько путала, как я уже сказал, план Дарья Павловна. Впрочем, после двенадцати Дарья Павловна частенько уходила от входа спать вместе с кошкой на диванчик возле кубовой. Улучив момент, можно было и прошмыгнуть незаметно, однако в таких случаях она накладывала дверной крючок и надо было звонить... Крючок, пожалуй, не откроешь... Если его и удастся поддеть с улицы перочинным ножом, он упадет с грохотом, разбудит, переполошит.

Так думал я, торопливо и легко шагая. Я любил и часто ходил пешком: во-первых, экономия на транспорте, а во-вторых, просто получал удовольствие от ходьбы и возможности побыть в одиночестве и в полном равноправии с остальными прохожими. Дорогой я всегда думал о чем-либо приятном ли, серьезном ли, а если мысли были неприятные, то в пути они рассеивались или смягчались.

Обычно я шел двумя путями: было время – более дальним, по широким асфальтированным улицам с магазинами, которые я любил посещать просто так, для интереса. Если же времени было мало, то я шел мимо стадиона, мимо кладбища, напрямик к крутой улице, по которой ходили трамваи. Сейчас, задумавшись, я механически пошел именно коротким путем и оказался на небольшой площади, где было трамвайное кольцо, конечная остановка. Площадь эта мне привычна, за три года я знал все здесь наизусть. С одной стороны она упиралась в шоссе, за которым высилось старинное здание военного училища с башнями наподобие шахматных тур. С другой стороны – пустырь перед кладбищем, а против пустыря огромное современное здание с колоннами – Школа милиции.

На конечной остановке народу было немного, это меня обрадовало, терпеть не могу трамвайной толпы. Снег шел густо, но мягко, белой пеленой закрывая окрестные виды, так что Школа милиции, расположенная совсем рядом, едва проглядывала. В некоторых окнах горело электричество. Я запрокинул голову, принимая снежные хлопья на лицо. Дышалось легко, глубоко, красота снегопада, бесконечной снежной пучины, в которой тонул мой взор, заморозила меня, белое однотонное небо проглядывало, словно дно, сквозь белые толщи снежных волн, все это обострило мои чувства, сделало более ясной голову, и тут меня осенило... Наше общежитие – двухэтажный дом барачного типа, сложенный из шлакоблоков. С обоих торцевых концов дома располагались во всю длину торца балконы-террасы, к которым вели пожарные лестницы. Если незаметно отклеить газетные полосы, которыми заклеены дверные щели, и приподнять шпингалеты, то можно легко через эти балконы проникнуть прямо в коридор второго этажа, минуя дежурную. Разумеется, делать это лишь по необходимости, когда дежурит Дарья Павловна. Таким образом, выход вполне найден и тактика, принесшая успех в прошлые годы, может быть применена и ныне...

Скрипя на закруглении, подошел трамвай. Успокоенный, я, как бы случайно, в чем даже сам себя уверил, уселся позади красивой девушки в меховом капоре и начал безразлично поглядывать мимо нее в окно. Я никогда не сажусь в общественном транспорте рядом с красивыми девушками. То есть ранее, будучи менее опытным, я садился, но всегда после этого оставался нехороший осадок, так как я невольно начинал принимать безразличные позы, напрягался, вел себя беспокойно и тревожно. Устроившись же сзади, я мог ее беспрепятственно рассматривать, но делал это, как бы хитря сам с собой: поглядывал лишь изредка, остальное же время был погружен в меланхолическую задумчивость, что делало меня в моих глазах недоступным для этой девушки, особенно если я в таких случаях молчаливо призывал свое «инкогнито», и тогда таинственная, тронутая легким цинизмом улыбка появлялась на моих губах.

Глава четвертая

Управление наше располагалось далеко, на так называемом железнодорожном пересечении, в часе езды двумя трамваями. За три года моей работы это было уже третье место, куда выселяли управление, и ходили слухи, что должны были выселить в четвертый раз на отведенное ему стационарное место, почти за город, где начинался новый жилмассив. Это меня не пугало, я был уверен, что сегодня меня уволят, и слухи о переезде управления за город, наоборот, были доводом в пользу моего спокойствия по поводу увольнения. Когда Михайлов устроил меня сюда на работу, управление располагалось в центре города, где ныне находился огромный Дворец спорта.

Поначалу ко мне относились хоть и настороженно, но терпимо и начальство, и прорабы-выдвиженцы, не понявшие еще, какой я человек. Лишь спустя дней десять ко мне начали относиться грубо, что меня здорово испугало, так как я думал, что меня немедленно уволят. Но, может, из-за заступничества Михайлова, который действовал через своего приятеля, меня не увольняли в течение трех лет, хоть грубость эта порой приобретала весьма насмешливый и унижительный характер. Впрочем, начальник управления Брацлавский, седой выдвиженец из бывших кузнецов, лет двадцать уже работавший на ответственных постах невысокого ранга: до управления строймеханизации он был директором маленького авторемонтного завода, так вот, этот Брацлавский невзлюбил не столько лично меня, сколько работника, не годного для выполнения плана. План же, при особой специфике нашего управления, был штукой весьма хитрой и своеобразной, во имя дела требующей нарушения законов и приказов самого Брацлавского, то есть того, что у прорабов именуется личной инициативой. Так, например, при дефиците бульдозеров, которые безбожно ломались, кому-либо из влиятельных генподрядчиков требовалось незаконно выделить бульдозер, который не работал, а лишь использовался в качестве трактора для вытаскивания застрявших в грязи самосвалов с грунтом и стройматериалами. Я знал, что некоторые прорабы не брезгают и левыми работами за наличные, которыми они делились с бульдозеристами и экскаваторщиками. Должен сказать, что при отсутствии ритмичности, когда простой сменялись авралами, при отсутствии запчастей, при путанице техдокументации, сложных погодных условиях и десятках других всевозможных обстоятельств и отклонений, неизбежных на стройках, подобные нарушения, в общем, шли на пользу производству. Я же боялся и не умел нарушать закон и, хоть работал много и тяжело, особенно первые два года, все ж считался плохим работником, что и было, очевидно, в действительности. Ибо хороший работник в России испокон веков тот, кто умеет нарушить закон для пользы дела.

Мои неуспехи радовали некоторых прорабов из выдвиженцев, особенно Лойко, огромного лысеющего парня с тонким, бабьим голоском, бывшего экскаваторщика, который относился ко мне даже со злобой. Завпроизводством Юницкий злобы на меня не имел, для этого я был в его глазах, наверно, слишком ничтожен, но он любил надо мной подтрунивать.

– Да, – говорил он, показывая свои прокуренные редкие зубы, – на работу его устроил дядя, кормит и одевает мама, техникум помог окончить папа... Учись, Лойко, жить...

А Лойко злобно поглядывал на меня и ругался. Правда, однажды заведующий отделом кадров Назаров, бывший районный прокурор, уволенный за пьянство, человек рябой и одноглазый, относящийся ко мне вполне терпимо, может благодаря контактам с приятелем Михайлова, сказал Юницкому:

– Родителей у него вроде бы нет, по крайней мере согласно анкете.

– Ничего, – сказал, улыбаясь, Юницкий, – это такой народ... Они из того света ухитрятся... Верно, Цвибышев?

Я натянуто улыбнулся в ответ, презирая себя в душе за эту жалкую улыбку, но извиняло меня перед собой то, что я тогда очень боялся потерять работу. Однако иногда, не на людях, этот Юницкий говорил со мной другим тоном.

– Умей постоять за себя, – говорил он мне, – что ты такой беззубый, ей-богу, прямо смотреть на тебя противно.

Я боялся таких разговоров еще больше, чем насмешек. Мне казалось, что подобными разговорами он может нащупать подлинную причину моего страха и выяснить мое незаконное существование. Впрочем, иногда я огрызался, но в адрес людей, которых мог не опасаться, которые относились ко мне хорошо и с сочувствием: Свечкова или Шлафштейна. Раз, когда Шлафштейн сделал мне какое-то замечание, я крикнул ему нервно:

– Ясное дело!.. Ведь я не выпиваю с генподрядчиками, как ты... поэтому мне тяжело работать...

– Глупый ты парень, – негромко сказал Шлафштейн и отошел.

Дело происходило в конторе, в присутствии других прорабов и довольно большого числа рабочих. Шлафштейн, конечно, шел на определенные нарушения, так же как и Лойко, как сам Юницкий, как многие из присутствующих здесь экскаваторщиков, слесарей, бульдозеристов. Все это знали, но по неписанным нормам производственной морали об этом не следовало говорить вслух, так как, выраженное вслух, это приобретало форму сигнала о нарушении, то есть доноса. Каким-то образом крик мой хоть и привлек внимание, но последствий не имел. Я мучился несколько дней, пока Шлафштейн сам не подошел ко мне и не заговорил так, вроде ничего и не случилось.

Двор, где ныне располагалось управление, я ненавидел и боялся, поскольку здесь все трудности моей нелюбимой работы дошли до предела. Едва завидев его издали, я уже ждал новых бед и гадал, какие новые неприятности он мне преподнесет... Двор этот, обнесенный дощатым забором, был довольно обширен и покрыт потрескавшимся асфальтом, в который въелись пятна солянки и мазута. Ранее здесь располагался один из гаражей Главстроя, и еще с тех времен сохранился дощатый прокопченный барак – мастерские, барак почище, оштукатуренный – контора, несколько каменных строений, смотровые ямы... Сейчас во дворе то тут, то там стояли экскаваторы, скрепера, бульдозеры, разутые, то есть без гусениц, со снятыми ковшами, облепленные снегом. У мастерских переоборудовали большой экскаватор, цепляли ему ковш на тросах, превращая в драглайн. Вокруг ходили слесаря с черными лицами, в лоснящихся спецовках. Покуривали, посмеивались. Трещала электросварка. Экскаваторщик Чумак кричал главному механику, указывая на стоящего здесь же Ивана Ивановича, бывшего фронтовика, однорукого начальника снабжения:

– Что это за снабженец!.. Едри его в пупа мать!.. Он же ничего организовать не способен... Я три дня без подшипников простоял... Начальником снабжения, если на то пошло, должен быть какой-нибудь хороший еврей, деляга, а не эта рязанщина.

– Ты горло не дери, – горячился в общем-то тихий Иван Иванович, – куркуль какой... Бендера... Нация ему не нравится моя... Мы вас защищали...

– А ты меня не защищай, – говорил Чумак, – ты мне подшипники достань.

– А почему у тебя подшипники поплавились? Вот акт составим, – говорил главный механик.

– Ну, едри его в пупа! – кричал Чумак. – Теперь ты меня уж не заставишь без техосмотра работать.

Я прошел мимо всех этих криков и суеты и вошел в контору.

Планерка еще не начиналась. Из бухгалтерии слышен был стук арифмометров, в расположенном напротив производственном отделе что-то громко рассказывал Юницкий. Я открыл дверь. За столами сидели инженер производственного отдела Коновалова и начальник второго участка Литвинов. Как ни тяжела для меня работа на объектах, на линиях, тем

не менее там я себя чувствовал свободнее. В конторе же я попросту ощущал себя дворовой собакой, которую каждый может пнуть. Интересно, что даже своего тщеславия, даже своего «инкогнито» я здесь не ощущал, словно его и не было, того тщеславия, тайного конечно, которое я ощущал в библиотеке, или даже явного, которое я ощущал у Бройдов. За три года я ужасно себя скомпрометировал и унизил, так что сама мысль о протесте, который может привести к потере единственного источника моего существования, получаемой здесь зарплаты, сама мысль о протесте казалась мне дикой. Впрочем, и в конторе некоторые относились ко мне с сочувствием, пусть и не постоянно, временами. Так, секретарша директора Ирина Николаевна и Коновалова по-бабьи вздыхали, говорили со мной, пытались за меня заступиться. Правда, как я понял, не всегда и в известных пределах, когда это не грозило их личному благополучию. Коновалова пыталась действовать в мою пользу на Юницкого, а Ирина Николаевна на и. о. главного инженера Мукало. Этот Мукало соответствовал своей фамилии: был толст и похож на рыхлую бабу.

Когда Михайлов устроил меня в управление, Мукало взял меня к себе на участок. Недавно Мукало удалось занять должность главного инженера, к которой, как узнал я от Ирины Николаевны, он давно стремился. Но его до сих пор не утвердили, так как этому якобы препятствует наш начальник Брацлавский. Я погрузился в сеть внутренних конторских взаимоотношений, когда прошлый месяц проработал в конторе, куда меня по протекции Ирины Николаевны устроил Мукало. Сделано было это из желания помочь мне, так как я был слаб здоровьем, замерзал и уставал на линиях, а также не мог сработаться с производственниками. Тут в конторе, в тепле, думали они, мне будет лучше. Но именно этот месяц в конторе и ускорил мое увольнение. На линиях, среди матерщины и грубости, все, однако, было посвободней и не все из случившегося доходило до конторы, многое исправлялось незаметно. В конторе же я постоянно находился перед начальством, и любой мой промах, самый незначительный, сразу служил поводом разноса. Именно в конторе я получил три выговора подряд. Должность мне Мукало выдумал на первый взгляд вполне простую – диспетчер. И как будто бы легкую, даже до обидного легкую. Состояла она главным образом в том, что я должен был по телефону обзванивать автопарки и заказывать автосамосвалы под наши экскаваторы на разных объектах. Однако, проработав день-другой, я понял, что должность эта не такая уж легкая, а даже, наоборот, весьма опасная для человека, которого хотят уволить, и вполне пригодная как последнее испытание... Я даже начал подумывать, что Ирина Николаевна, наверно, за меня хлопотала искренне, но Мукало, который и сам убедился в моей непригодности, махнул на меня рукой, а должность эту придумал по согласованию с Брацлавским. Невзирая на свои разногласия, по вопросу обо мне они, очевидно, сошлись наконец в общем мнении. Что и подтвердилось впоследствии. Оказалось, что автопарки принимают заявки почему-то лишь во второй половине дня. Таким образом, первую половину дня я слонялся без дела, что угнетало меня и делало в своих глазах и в глазах окружающих бездельником. Иногда, впрочем, меня использовали в качестве курьера, и это усиливало унижение. Во второй же половине дня я садился на телефон, который работал дурно, с перебоями, и начинал дозваниваться в десятки автопарков. Однако, помимо меня, туда дозванивалось множество других организаций. Случалось, мне везло, но чаще всего я тратил много времени, чтоб прорваться к диспетчеру автопарка. Потом оказывалось, что самосвалы нужных нам типов уже розданы... Я просил, нервничал, ругался, доказывал, что нельзя под небольшие экскаваторы БТ посылать огромные МАЗы... После трех-четырех автопарков я изнемогал, нервы сдавали, на лбу выступала испарина, болела голова, болело горло, горели уши от телефонной трубки, ныли руки. Это может показаться смешно, но я уставал от телефонной трубки, она словно наливалась свинцом. Длинные номера телефонов путались у меня перед глазами, были случаи, когда я дозванивался с полчаса в какой-нибудь автопарк, а потом выяснялось, что я уже туда звонил ранее и все заказал. Были случаи, когда я путал и заказывал не то и не туда... В общем, через месяц

меня с этой должности убрали... За три года мне не раз приходилось стоять на холодном ветру, на морозе, в плохих сапогах и дурно, неумело намотанных портянках из холодного холостяцкого тряпья, приходилось тонуть в грязи, выбиваться из сил, мокнуть под дождем, но никогда мне не было так тяжело и никогда я так плохо не справлялся со своими обязанностями, как на должности телефонного диспетчера. Так что Мукало придумал мне последнее испытание довольно умело, как хороший законный повод окончательно утопить.

Впрочем, перед тем как убрать с должности диспетчера, он вызвал меня к себе в кабинет, наверно опять под воздействием Ирины Николаевны, долго смотрел на меня, по-бабьи вздыхая, и сказал наконец:

– О-хо-хо... Уволить бы тебя надо по закону... Да куда ж ты денешься, кому ты нужен... Кто тебя на работу возьмет...

Вместо Мукало на участке теперь работал Коновалов, брат Коноваловой из производственного и зять Брацлавского. Мукало вызвал Коновалова и направил меня вновь на участок, попросил подключить временно к Сидерскому.

Сидерский – умелый прораб, и ко мне он относился неплохо. Коновалов согласился. Он был как будто бы начитанный парень и иногда разговаривал со мной о литературе и книгах, хотя я никогда не выказывал свое «инкогнито», свою тайну, и подобные разговоры Коновалова меня даже удивляли. Однако Брацлавский, натура прямая, несентиментальная, чисто производственная натура, решил, видно, раз и навсегда избавиться от меня, и Коновалову, как я узнал, влетело за то, что он принял меня на участок обратно. Не прими, я висел бы в воздухе без должности, находясь в распоряжении непосредственно конторы, причем с тремя выговорами за развал работы диспетчерской, что облегчало мое увольнение.

Я узнал о всех этих делах после того, как Коновалов неожиданно перестал разговаривать со мной о литературе, а наоборот, начал ко мне придирааться и искать повод, чтобы отчислить с участка. Дела мои стали совсем плохи, даже Ирина Николаевна перестала мне покровительствовать, и я окончательно понял, что меня должны уволить со дня на день, возможно на сегодняшней планерке... Открыв дверь производственного отдела, я поздоровался и спросил, когда планерка. Юницкий ответил мне достаточно мягко и без враждебности. Коновалова приветливо кивнула, а Литвинов спокойно, делово поздоровался. Литвинов был начальник чужого участка, и у нас с ним было шапочное знакомство, вражды ко мне он никогда не чувствовал. Успокоенный и даже обрадованный такой встречей, я пошел далее по коридору. Опасность могла исходить из двух мест: из производственного отдела и из приемной начальника. Первую опасность я уже миновал благополучно, в секретарскую же входить не решался, желая продлить подольше спокойствие.

Я остановился в коридоре у свежей стенгазеты «Механизатор», выпущенной к женскому празднику 8 Марта. В центре был цветной снимок первого искусственного спутника Земли, а под ним стихотворение Ирины Николаевны. Я прочел: «Ленин. Смотрю, портрет Ильича, улыбка, взгляд прямой. Он мог все то замечать, что не умел другой. Он верил в Россию и в нас, живущих на светлой земле. Победы космических трасс он видел еще в Октябре».

Безграмотные стихи эти меня еще более успокоили и настроили на комический лад, как всегда успокаивало и вселяло бодрость, когда я видел чью-то глупость или нелепость, неопасную мне.

Далее в стенгазете был целый раздел: «Что кому снится».

Я не стал читать, мимо прошли Свечков и Лойко в теплых прорабских тулупах и в валенках, с прорабскими папками. Я пристроился к ним, чтоб войти в секретарскую не в одиночку, а производственной группой. Я как-то мгновенно сообразил, что, войдя к начальнику группой, особенно с опытными и уважаемыми Свечковым и Лойко, я словно придам себе вес и уменьшу неизвестные еще мне неприятности, которые я, однако, предчувствовал, надеясь, впрочем, что

предчувствие мое ложное. Свечков приветливо положил мне руку на плечо, а Лойко отвернулся и не поздоровался.

– Где ты такой тулуп достал? – спросил я Свечкова, с которым был на «ты».

– Раньше выдавали, – сказал он, – лет пять назад, в счет зарплаты... И валенки... А в грязь надо яловые сапоги с двойной байковой портянкой... Разве в твоём пальтишке и туфельках устоишь на объекте? Я б дуба дал...

– Да он там и не бывает, – сказал Лойко, не глядя на меня, – он в конторе отирается...

– Ну почему? Ты, Коля, не прав, – миролюбиво сказал Свечков. – Помнишь, Гоша, как мы с тобой в грязи тонули на Кловском спуске?.. Когда девятиэтажный закладывали...

Мы вошли в секретарскую. Ирина Николаевна глянула на меня мельком, холоднее обычного.

«Плохой признак, – с тревогой подумал я, – впрочем, у нее много работы, она занята».

Ирина Николаевна печатала, быстро, механически ударяя по клавишам. В углу у телефона примостился Райков, новый человек, которого взяли вместо меня на должность диспетчера. Райков был из отставных военных, и прислал его сюда на работу райком партии. На Райкове аккуратно сидел военный китель с черными техническими кантами. Райков должность диспетчера из должности «мальчика на побегушках» в короткий срок поставил на солидную основу. Через партком он добился в свое распоряжение мотоцикла с коляской и объехал все автопарки, лично познакомившись с диспетчерами и с секретарями парторганизаций автопарков. Правда, постоянно оставить мотоцикл в своем распоряжении ему не удалось – мотоцикл был занят на участках, возил Мукало, а когда выходил из строя управленческий трофейный «опель» – и самого Брацлавского. Но в экстренных случаях Райков мотоцикл получал. Такое мне даже в голову прийти не могло, да меня и слушать бы не стали. В первой половине дня, когда я не знал, куда деть себя, и посему использовался не по назначению, курьером, Райков занялся по собственной инициативе черчением графиков и схем. Твердым, аккуратным почерком бывшего саперного офицера он подписывал эти схемы и графики и развешивал их в производственном отделе, кабинете главного инженера и в парткоме, куда его сразу выбрали замсекретаря и прочили в секретари, поскольку нынешний секретарь и завотделом кадров Назаров пил.

Схемы и графики эти на производство существенного влияния не оказали, но внутри конторы они придавали работе управления известную наглядность и серьезность, хоть и не соответствовали подлинному положению дел, которые при своеобразии и специфике работ чужды были преднамеренного планирования, а даже наоборот, давали хорошие результаты именно при личной инициативе и даже известном самотеке. Однако, несмотря на это, а может, и благодаря этому, графики были полезным нововведением, так как работе управления, разбросанной среди сотен котлованов, а подчас и вовсе не закрепленной на местности, как, например, уборка и вывоз грунта, – такой работе придавался осязаемый характер, пусть даже не вполне соответствующий действительности. Таким образом, Райков за две недели завоевал авторитет, какой мне не снилось завоевать и за три года.

Впрочем, Свечков называл эти графики цветными картинками и глупыми декорациями. Я первоначально не понимал, почему он так возмущается и невзлюбил Райкова почти так же, как Лойко ненавидит меня. Тем более что Райков – человек более защищенный, чем я, с хорошей биографией, партийный, бывший майор. Зла он никому не желает, со мной, например, вежлив, на «вы». Однако, если Свечков его слишком допечет, он может ему и отплатить по-настоящему, как отплатил бы любой человек своему обидчику, как отплатил бы и я Лойко, если б имел возможность. Позднее я начал понимать, что Свечков, в отличие от меня, любил свою работу, болел за нее душой, невзирая ни на что, и считал меня человеком более полезным, чем Райков, которого даже вслух раз обозвал умелым бездельником...

Из секретарской вели две двери: справа, обитая кожей, – к Брацлавскому, слева, более простая, крашенная масляной краской, – к Мукало.

– Цвибышев, – поздоровавшись, сказал мне Райков и, кажется, устало опустил телефонную трубку на рычаг. (Я воспринял эту его усталость с некоторой эгоистической удовлетворенностью. Значит, не такой уж я никуда не годный, и при всем своем умении и инициативе Райков тоже устает и мучается с этими телефонными заказами.) – Цвибышев, – сказал он, – вас Коновалов ищет, зайдите, он у Мукало.

У меня тревожно екнуло в груди. Предчувствия сбывались. С тех пор как Коновалов поплатился за свою снисходительность ко мне, он мог разыскивать меня лишь с единственной, неприятной для меня, целью, пока еще мне не ясной. С колотящимся сердцем вошел я в кабинет, стараясь предугадать причины неприятности, чтоб хоть как-то организовать свою защиту, и поэтому мысленно перебирая в памяти свое поведение и свои поступки, которые могли стать известными. В частности, одним из последних проступков был мой отъезд с дальнего объекта, мало посещаемого начальством, на три часа ранее срока. Тот день был удивительно удачным, и я с радостью провел его в библиотеке за чтением. Но, на беду, Коновалов мог именно в тот день проконтролировать меня...

Войдя в кабинет, я поздоровался. Мукало сидел за столом, смотрел исподлобья. На жирном лице его была даже некоторая обида и раздражение. На приветствие мое не ответил. Коновалов, нескладный, с висящими тонкими усиками, в потертом кожаном пальто не по росту, смотрел на меня, в отличие от Мукало, взгляд которого был вял и медлителен, с какой-то бойкой, подвижной неприязнью, поворачивая то ко мне, то к Мукало свое сухое, калмыцкого типа маленькое лицо.

– Ты был у Юницкого? – быстро спросил он меня.

У меня тут же сложилось в голове мое оправдание: почувствовал себя дурно, даже потерял сознание. Поэтому вынужден был уехать с объекта раньше срока. Должен заметить, что подобные казусы случались со мной чрезвычайно редко, однако и впрямь с головокружением и потерей сознания ненадолго, буквально на полминуты. Раз даже на планерке Ирине Николаевне пришлось растирать мне виски. Тогда мне было стыдно, ныне же это происшествие могло пригодиться для придания моему обману правдивого вида.

– Я к Юницкому заходил, – ответил я предварительной нейтральной фразой.

– И он тебе ничего не сказал? – спросил Коновалов.

– Нет, – ответил я, все более тревожась, раздумывая, не уволили ли меня заочно.

– Странно, – снова быстро повернулся Коновалов к неподвижному Мукало. – Пойдем, – сказал он мне.

Мы вышли в секретарскую, а оттуда в коридор. Планерка, видимо, должна была начаться еще не скоро, так как в конторе по-прежнему царил тишина, слышались лишь отдельные звуки из бухгалтерии и производственного отдела. Основная масса прорабов, да и сам Брацлавский, пожалуй, еще не приехали с объектов.

– Что случилось, Петя? – интимно понизив голос, спросил я Коновалова, когда мы остались с ним наедине в коридоре.

Это был дерзкий и в то же время унижительный ход с моей стороны, на который я, отчаявшись, решился. Ранее, беседуя со мной о книгах, он называл меня по имени, называл его пару раз тогда по имени и я. Ныне, когда отношения наши приобрели форму преследователя и преследуемого, он называл меня только по фамилии, а наедине со мной вовсе не разговаривал. Переходя на доверительно-интимный тон, я делал попытку если не перетянуть его в союзники, то во всяком случае доказать, будто верю, что главная опасность для меня исходит не от него, а от неких внешних факторов, и намекал также на свою осведомленность в тех неприятностях, которые он, Коновалов, из-за меня испытал. Но Коновалов либо сделал вид, что не понял моего

шага к нему навстречу, либо открыто не принял такой шаг – я не разобрался в оттенках его действий.

– Сейчас, Цвибышев, ты все поймешь, – громко и с плохо скрытой угрозой сказал он мне, открывая двери производственного отдела.

– Вот он, герой, – сказал Коновалов Юницкому, кивая на меня.

– Знаешь что, Коновалов, – сказал Юницкий, – разбирайся-ка ты в этом деле сам... А то еще его дядя меня по загривку, – добавил он, глядя на меня улыбающимися глазами и показывая прокуренные зубы.

Улыбнулись и Коновалова, и Литвинов. Слегка улыбнулся и сам Коновалов. И вдруг я почувствовал, что улыбаюсь тоже жалкой улыбкой в ответ на унижающую меня шутку. Помимо моей воли сработал инстинкт самосохранения. Я почувствовал, что перевод ситуации в шутивную плоскость, пусть даже за счет моего достоинства, является выходом из положения, и, может быть, даже Юницкий умышленно это сделал, чтоб прийти мне на помощь.

– А что случилось, Петя? – спросил у Коновалова Литвинов, почти той же фразой, какую задал Коновалову я.

– Да вот, у этого деятеля в Конча-Заспе на объекте работал БТ «Белоруссик»... Вчера его сняли, перебросили на другой объект, а диспетчера он не предупредил... Туда шесть самосвалов заказаны на вторую смену. Они придут, а экскаватора нет... простой за наш счет...

Не знаю, что со мной произошло, я вдруг сам услышал свое учащенное дыхание. Я привык к несправедливостям, но это была наглая, бесстыдная ложь от начала и до конца, которая возмутила меня до того, что я даже забыл о том, что подлинный мой проступок и обман – преждевременный отъезд с дальнего объекта остался нераскрытым. Во мне произошел странный перелом, и я чуть ли не на глазах у всех преобразился.

– Это неправда, – крикнул я (я хотел крикнуть: «Ты врешь, Коновалов», но в последнее мгновение все ж сдержался), – это неправда, – повторил я, – во-первых, это не мой объект, а Сидерского... Я был там всего раз, помогая Сидерскому... Во-вторых, слышишь ты, во-вторых (тут я не смог сдержаться), это наглая ложь... То, что я не предупредил... Наоборот, меня не предупредили, сняли экскаватор... Я слышу об этом впервые. Это обязанности Райкова – предупреждать и меня, и автопарки... Я, когда работал диспетчером... – Говорил я несколько бессвязно, и все смотрели на меня с тревожным любопытством. Кроме Коновалова, который потемнел лицом, так как этот неожиданный бунт самого бесправного в управлении ставил под сомнение его авторитет.

– А ну, немедленно отправляйся в Конча-Заспу и не возвращайся, пока не переправишь самосвалы на другие объекты, – сказал он мне.

– Не поеду, – твердо и решительно сказал я.

Тут уж складывалась своеобразная ситуация. Воля на волю. Чья крепче. Как говорится, «на характер» шло дело. Юницкий, Коновалова и Литвинов смотрели на нас, особенно на меня, с некоторым даже оттенком спортивного интереса.

– Немедленно отправляйся, – не очень громко, но глядя на меня в упор калмыцкими своими глазами, сказал Коновалов, вкладывая в этот напор всего себя, поставив на карту свой авторитет, так что я вдруг понял, что для этого человека в данную секунду важнее и серьезнее в жизни ничего нет, чем заставить меня поехать в Конча-Заспу.

Не заставь он меня ехать, он, начальник участка, зять Брацлавского, меня, на которого позволяет себе повышать голос даже уборщица управления, тетя Горпына, не заставь он меня поехать, завтра же об этом будут рассказывать как об анекдоте, так что авторитету Коновалова будет нанесен серьезный удар... А ведь этот Коновалов когда-то мне делал добро... И от этих мыслей что-то во мне сломалось, что-то обмякло во мне... Я повернулся и пошел к дверям, ничего не сказал, но, очевидно, по ссутулившейся моей спине все поняли, что я сдался и воля Коновалова одержала верх. Юницкий и Литвинов захохотали так громко, что я обернулся, хотя

мне не хотелось показывать мое лицо в тот момент. Я понял, что оно удивительно ничтожно, по сочувствующему взгляду, который бросила на меня Коновалова. На брата же она посмотрела с негодованием.

– Доволен, – сказала она ему, – клоун, петрушка...

Почему она назвала его клоуном, не знаю, может, у Коновалова была такая кличка в семье, но сестра, видно, настолько была возмущена, что не постеснялась назвать брата так при всех. Я б на его месте вспылал, он же не обратил внимания и сказал мне даже с некоторой мягкостью, впрочем едва уловимой:

– Три самосвала перебросишь на улицу Ветрова, деревообделочный завод... А три – Саперное Поле, десять.

На улице Саперное Поле жила семья Чертог, где я останавливался, приехав в этот город. Правда, жила она в противоположном конце, в трехсотых номерах... Это была длинная улица в старой части города, сплошь застроенная небольшими домиками. Конча-Заспа, куда мне сейчас предстояло ехать, находилась в другой стороне. Это был совершенно необжитый район, где предстояло строить новый современный жилой массив со стадионом, крытым бассейном и широкоэкранным кинотеатром. Однако пока это сплошная песчаная пустошь с редкими соснами, и лишь проходящая вдали железная дорога несколько оживляет пейзаж. Между тем мороз набирал силу и достигал, пожалуй, градусов десяти. Дело еще усугублялось тем, что оделся я не на объект, а на планерку, то есть не надел под свитер байковой фуфайки и не надел сапог, хоть и прохудившихся, но при намотанной портянке дававших гораздо более тепла, чем туфли, даже надетые на двойной носок. Правда, выйдя из управления и направившись к трамвайной остановке, я несколько утешился тем, что избежал планерки, где всегда чувствовал себя крайне неловко, и смогу теперь провести время не под взглядами начальства, а принадлежа самому себе. Ветер к тому же утих, и мороз я ощутил на улице гораздо менее сильно, чем предполагал в помещении. Тут же, очень кстати, выплыла совершенно забытая мной от мытарств радостная мысль о предстоящем вечере у Бройдов, в семье, где меня любили. Так что настроение мое вовсе улучшилось, и я даже подумал о поручении Коновалова как о невольной своей удаче, которую лишь ныне, после всех треволнений, сумел оценить.

Трамвай подошел очень быстро. Я сел и поехал. Ехать мне предстояло с тремя пересадками: два трамвая и пригородный автобус, а от автобуса еще пешком метров восемьсот...

Глава пятая

Настоящий холод я почувствовал, именно когда пересел на пригородный автобус. В трамваях, набитых битком, меня даже в жар бросало и начала одолевать какая-то вялость. Однако едва я вышел на трамвайном закруглении, как под свитером у меня сразу стало сухо и холодно. Здесь у конечной остановки высились последние дома-новостройки, а далее начиналась нетронутая дачная местность. Дачи и дома отдыха стояли среди запорошенных снегом сосен, изредка мелькала какая-либо заснеженная скульптура. Коновалову я соврал. Был я здесь не раз, а три раза. С Сидерским я приезжал на самосвале и два раза на пригородном автобусе, за свой счет. Поскольку объекты наши разбросаны были по всему городу, прорабам управление выдало проездные билеты. Однако поездки на загородные объекты не оплачивались. Правда, людей поселенцев – Мукало, Юницкого, Коновалова – возил управленческий мотоцикл; у Литвинова и Шлафштейна вообще имелись собственные мотоциклы, и они получали за проездной билет компенсацию. Такие же опытные прорабы, как Сидерский, Свечков, Лойко, договаривались с шоферами, и за две-три приписанные фальшивые ездки те возили их на объект и с объекта.

Я как-то тоже попробовал пуститься на подобные нарушения. Я договорился с шофером, тот привез меня на объект, сделал один оборот с грунтом и исчез до конца смены, когда приехал подписывать у меня путевку за полный рабочий день. Я подписал, поскольку опасался скандалов и разглашения моего проступка. Но после этого вступать в незаконные контакты с шоферами прекратил, предпочитая ездить на общественном транспорте. У меня была примета нужной мне остановки: скульптура оленя и, чуть в глубине от шоссе, круглая зеленая беседка. Я спрашивал у кондукторши, но, боясь, как бы она не перепутала или сказала невпопад, контролировал ее ответ приметам. Вообще на малознакомых маршрутах я бываю крайне недоверчив и беспокоен, и окружающая местность внушает мне тревогу. Такое было и с маршрутом к общежитию первое время, пока я не привык к нему за три года настолько, что ныне он кажется мне домашним и родным. Я знаю там каждую мелочь, и когда, имея время, хожу пешком к центру, то узнаю даже отдельные булыжники на мостовой. Впрочем, привыкаю я сравнительно быстро и, например глядя ныне из подмерзшего окна автобуса, уже вижу не сплошь чужое, а узнаю знакомый поворот с плакатом о защите леса, железные ворота пионерлагеря, лыжную базу... Тем не менее некоторая тревога не покидает меня, так как все это еще, наряду со знакомыми, мелькают чужие, незнакомые куски пейзажа. Особенно я встревожился, когда мимо пронеслась скульптура оленя, даже вскочил. К счастью, оказалось, что это не тот олень. Наконец я благополучно выхожу на Конча-Заспе. Название странное, я все не соберусь у кого-либо спросить. Может, искаженное татарское, оставшееся со времен монгольского ига. Под городом есть несколько таких местностей с татарским названием, например Кагарлык, что переводится – место, проклятое для татар...

Смотрю на часы. Успел я вовремя. Самосвалы второй смены приходят не раньше трех, придется, пожалуй, даже с полчаса подождать...

За городом ветер и метель. Мои олень и беседка густо облеплены снегом. Я сгорбился, поднял воротник и пожалел, что на мне вместо финской шапки нет сейчас какой-либо плохонькой ушаночки. У финской же моей шапки хоть и опускаются наушники, однако сделаны они изнутри по-кустарному, крайне неряшливо, и портят вид. Так что я предпочитаю терпеть, тем более что первоначально приходится идти мимо какого-то дома отдыха и я часто встречаю в лесу раскрасневшихся от мороза женщин. Вторая беда: огибаю дом отдыха, я почувствовал сильные запахи с преобладанием жареного лука.

Жареный лук я не бог весть как люблю, разве что приправой к картошке. Однако для голодного человека запах его чрезвычайно губителен, поскольку обладает способностью терзать голодный желудок, способностью, несравнимой с запахами даже самых вкусных блюд.

Разве что жареный гусь может сравниться по запаху с жареным луком. Без запаха лука я совершенно не ощущал голода, теперь же голод усиливал мороз, а мороз усиливал голод. Так что я не выдержал и опустил свои неумело скроенные суконные наушники. Первоначально колючее сукно, к тому ж в нескольких местах пересеченное грубыми рубцами, неприятно терло уши и шею, но постепенно уши набухли, зачесались, стало теплей, и желудок тоже успокоился. Я ускорил шаг, чтоб не дать одеревенеть ступням ног, и поскольку дом отдыха давно остался позади и я был в лесу один, то несколько раз переходил на бег, отдавая себе отчет, что зрелище это далеко не спортивное, а скорей нелепое, так как бежал я сгорбившись, на негнущихся ногах, с замерзающими на ресницах слезами от мороза. Наконец впереди послышался гудок и шум проходящего поезда, обрадовавший меня, поскольку подтверждалось, что я иду правильно. Вскоре лес кончился, и передо мной открылось поле, за которым и находилась железная дорога. Поле это предназначалось под застройку новым современным жилмассивом. Конча-Заспа, однако, в настоящее время представляла зрелище весьма странное и неприятное живому человеку. У меня была нелепая привычка: лежа на койке, в тепле, после приятного ужина, наевшись вдоволь хлеба с колбасой и напившись чая, перед сном иногда вспоминать подобные мертвые местности, виденные мной недавно или в прежние, даже отдаленные годы, и при этом вздрагивать, ощущая опасность. Здесь было именно мертво, иначе не скажешь. Снег лежал неглубоко, не знаю почему, может, из-за песчаного грунта он быстро стаял во время февральской оттепели. Сейчас снег располагался клочками на оледеневшем песке, производившем весьма холодное, до дрожи, впечатление, гораздо более холодное, чем вид снега. Наверно, по контрасту, так как для меня, например, песок еще с детских времен связан был с летом и теплом. Именно из-за ледяного песка, я понял это, местность казалась мне мертвой. Смерзшаяся глина или камни, которые припорошены снегом, производят весьма естественное зимнее впечатление. Мысли эти представились мне интересными, и я решил их пока запомнить, а позднее записать и прочесть у Бройдов. Таким образом, я придумал своим мрачным, тяжелым для души впечатлениям весьма приятную концовку. Эта способность выручала меня в жизни и, может, спасала от гибели, так как я заметил, что стоило мне записать происшествия и обстоятельства не то что неприятные, но даже безвыходные, как становилось легче, и подчас мне даже удавалось как-то извлечь себя из-под ударов судьбы и спасти, как я уже говорил. Но, зная это, я почему-то прибегал к подобному методу не всякий раз и даже не часто, скорей как-то внезапно и по обстоятельствам, мне непонятным, при весьма определенном состоянии души, зависящей от десятков или тысяч неуловимых и, может, весьма случайных явлений. Дневника же я не вел никогда, да и вряд ли календарные записи его были способны бороться с моими бедами...

Поборов таким образом на этот раз душевный страх и смятение, я не мог тем не менее преодолеть и избавиться от телесных страданий, которые становились весьма ощутимы и, мне кажется, в какой-то степени также способствовали исчезновению душевных мук. Очень скоро я превратился в весьма простой и цельный организм, не имеющий возможности растрчивать силы на душевные терзания, а полностью всей своей жизнью направленный лишь на одно: на изыскание способов согреться... У противоположного края поля «Белоруссик» успел прокопать начало траншеи под водопровод, во многих местах, впрочем, уже полуобвалившейся.

Я прыгнул туда, надеясь укрыться от ветра, но траншея сковывала мои движения, не защищая меня от мороза, и к тому ж я мог прозевать самосвалы. С трудом выкарабкался я снова наружу, ушибив обо что-то ладонь, но главное, разодрав перчатку (перчатки были на мне хорошие, двойной вязки). Вылез я из траншеи очень вовремя, поскольку вдали показались самосвалы. Обрадованный концом своих мучений, я хотел побежать им навстречу, однако сумел удержать себя и солидно, по-прорабски, ждал их, широко расставив ноги. Я мог бы выйти к шоссе, и тогда шоферам не пришлось бы буксовать по оледеневшему песку, но ждал здесь, поскольку шоферы находились в моем распоряжении. Со мной случались такие минуты наслаждения властью. Поэтому я любил работу на линии, где молодые неопытные шоферы и

экскаваторщики не замечали неуверенности и бесправия, постоянно присутствующих на моем лице и ощущаемых в моих жестах.

– А где остальные? – спросил я переднего шофера, подавляя возникшее беспокойство, так как из шести пришло только два самосвала.

– Задержались на заправке, – сказал шофер, – что-то я экскаватора не вижу.

– Поедете на Ветрова, – жестко скомандовал я, не обращая внимания на его вопрос, – деревообделочный завод...

Подъехал второй самосвал. На меня пахнуло теплом и вкусным запахом кабины: клеенки и бензина, в котором тем не менее ощущалось что-то съестное.

– В чем дело? – спросил второй шофер в кубанке.

– На Ветрова нам ехать, – ответил первый шофер.

– Да, – то ли спросил, то ли подтвердил шофер и перевел на меня веселый взгляд, скользнув по туфлям и финской шапке, – а ты что-то, прораб, замерз.

Я сразу понял, что этот человек распознал меня. Этот в кубанке ничего более не сказал и вроде даже подчинился моему распоряжению, но неприятный осадок остался после его взгляда и его слов. Точно я хотел выдать себя за другого человека, который замерзает здесь по своей воле, болея душой за порученное дело, а он распознал, что нахожусь я здесь по принуждению. И от этой, казалось, мелочи, мной же выдуманной, едва самосвалы ушли, у меня начался приступ злобы, аналогичный тому, какой испытал я в прошлом году, после унижения от Михайлова. Я схватил валяющийся у траншеи обрывок шланга, подбежал к одинокой сосне и ударил им о ствол...

Это было глупо и ничтожно и, кроме того, неестественно. Оно лишь внешне было аналогично прошлогоднему приступу. Тогда было живое отчаяние, теперь же досада от обычной потери хитрости...

После отъезда двух самосвалов прошел час с лишним, но четыре остальных так и не появились... Помню белесое небо и светлое пятно, где за облаками пряталось солнце... Не знаю почему и, в какой момент, не запомнил, но я вдруг побежал в направлении дома отдыха. Позднее, в тепле, я понял, что совершил ошибку и в своих страданиях во многом виноват был сам. Конечно, Коновалов поступил со мной несправедливо, даже подло, но он вовсе не желал, чтоб я оказался в подобном положении, на грани замерзания, поскольку рассчитывал на мою собственную инициативу или на мою хитрость, в которой был уверен.

Один из самосвалов я мог оставить себе, так поступил бы любой прораб и ждал бы остальные самосвалы в теплой кабине. Но я побоялся пойти на подобные производственные нарушения. Теперь же, не дождавшись остальных четырех самосвалов, доведя себя до изнеможения и не выполнив задания, я бежал в направлении дома отдыха. Я вбежал в калитку, не обращая внимания на собаку (она гналась за мной), толкнул двери кухни, которую узнал по запотевшим окнам, и увидел испуганную женщину в клеенчатом переднике. Я тогда не сообразил, что испугана она именно мной. К счастью, женщина не закричала, хоть была близка к этому, а спросила шепотом:

– Тебе чего?

– Мне попить, – ответил я и уселся на табурет.

И тут меня начало по-настоящему ломать и корезить. Я совершал какие-то резкие движения, выбрасывал ноги, двигал локтями, подергивал головой, финская шапка свалилась с меня и ударилась о цементный пол с каменным звуком. Я дергался, совершенно потеряв чувство стыда, хоть на меня смотрели какие-то молодые женщины. Лишь одна пожилая кухарка или посудомойка не побоялась приблизиться ко мне и дать мне чашку горячего чая. Но я не мог взять, поскольку пальцы мои не гнулись. Поняв это, кухарка сама принялась поить меня сладким и крепким чаем, который совершил чудо, ибо, допив кружку всего до половины, я

уже понял стыд и позор своего поведения. Я понял, что если замерзший внушал хорошеньким женским личикам страх, то, отогревшись, начну внушать смех.

Я, который привык, особенно когда бываю одет не то чтоб богато, но с вызовом, в вельветовый пиджак, галстук-бабочку, к тому, что на улице женщины меня замечали, не мог спокойно с пренебрежением относиться к женскому смеху надо мной и, зная эту свою слабость, понял – надо немедленно исчезнуть. Но тут иная мысль сверкнула – самосвалы!

Производственный страх подбросил меня, и я выбежал из теплой кухни гораздо раньше, чем выбежал бы мучимый лишь стыдом перед женщинами. Я бежал так быстро, точно за мной гнались (за мной действительно гналась собака, но я понял это не ранее, чем добежал до траншеи, когда, обернувшись, увидел эту собаку, убегающую прочь, к дому отдыха).

Самосвалов не было...

– Бог, милый Бог, – сказал я, подняв голову к верхушке одинокой, на отшибе, сосны (я не верил в Бога, но иногда, в минуты отчаяния, вдруг начинал выпрашивать у Него помощи), – милый Бог, сделай так, чтоб самосвалы еще не приходили... И чтоб они пришли сейчас... Через две минуты, через десять минут... Я подожду...

– Беги на шоссе, – сказал чей-то голос у меня за спиной, – они там... Беги быстрее, они могут уехать...

Я вздрогнул и обернулся... Никого... Мела поземка... Начинало смеркаться... Не раздумывая и не анализируя, я побежал изо всех сил. Оледеневшее шоссе было пустынно, но вдали действительно мигал красный сигнальный огонек. Самосвал только лишь тронулся и осторожно буксовал, выбираясь на проезжую часть, так что у меня еще оставалась надежда его догнать.

– Стой! – закричал я каким-то чужим, бабьим голосом и, размахивая руками, понесся к сигнальному огоньку, балансируя и страшась упасть на оледеневший асфальт, так как тогда уж точно упустил самосвал. – Стой! – кричал я, к счастью, одно лишь слово, поскольку длинные выкрики, которые могли прийти мне в голову, забили б дыхание и затруднили бег.

Сигнальный огонек выбрался на середину проезжей части, однако я сделал отчаянный бросок и ухватился за холодный железный кузов, рванувшийся из-под моей ладони с равнодушной, нечеловеческой силой.

– Стой! – испуганно выкрикнул я и тут же захлебнулся криком.

Однако мне повезло: шофер услышал, выглянул из кабины, приоткрыв дверцу.

– Тебе чего? – спросил он.

– Прораб, прораб, – повторял я, тяжело дыша, вскакивая на подножку, цепко ухватившись за дверцу и тесня шофера грудью внутрь кабины.

– Что – прораб? – удивленно спросил шофер.

– Я прораб, – ответил я, – где другие самосвалы?..

– Ах, прораб, – повторил шофер, – что ж это такое получается, товарищ прораб... Мы уж уезжать собирались... Вон ребята впереди тянутся, сейчас их догоним, они с вами по душам потолкуют...

– Все будет нормально, – сказал я, радостно и успокоенно усаживаясь на сиденье и грея ноги у мотора, – за мной не пропадет...

Шофер поднажал и догнал три других самосвала на повороте.

– Ваня, – улыбнувшись, крикнул он, выглянув из кабины, – прораб нашелся... В дороге подобрал...

Самосвалы остановились.

– Что ж это такое получается, – подходя, той же фразой начал Ваня и сунул в кабину голову в теплом танковом шлеме, – мы с трех часов на объекте торчим... Экскаватора нет, прораба нет... Полсмены прошло... Кто нам платить будет? Мы вон хотели сейчас по пути в автопарк к вашему Брацлавскому заехать... Пусть путевки подписывает...

Он нагло врал насчет полсмены, но я просидел на теплой кухне дома отдыха его приезд (с опозданием на три часа), и теперь не он был в моей власти, а я был в его власти, и он действительно мог поехать к Брацлавскому, наверно, даже ехал, поскольку, по всему видно, был опытный производственник и не привык упускать удачные обстоятельства, чтоб сорвать дополнительный куш и покрыть к тому ж халтуру, которой они все эти три часа, безусловно, занимались.

Один из кузовов самосвалов был вымазан свежей краской, что-то они такое перевозили. Но за три года я также приобрел некоторый опыт, потому не стал уличать его в наглой лжи. Я сам был виноват, что эти «леваки» стали опасны для меня.

– Ребята, – сказал я каким-то даже просительным голосом, – все бывает... Работа, сами знаете... Задержался на другом объекте... Извините, ребята...

– А нам-то что? – жестоко сказал Ваня. – Нам твое «извините» к путевому листу не подколоть...

– Короче, пусть десять ездов лишних подписывает, – подал голос шофер, кузов которого измазан был «левой» краской.

– Какой там десять, – злобно метнул на него взгляд Ваня, – полностью пусть подписывает... Мы здесь с трех часов торчим... Иначе к Брацлавскому поедем...

– Но, ребята, – просительно, словно разговариваю с начальством, сказал я, – ведь здесь вообще экскаватора нет... Как же я подпишу...

– Да путевки эти через месяц оплачиваться будут... Они, ты думаешь, контролируют, где, в какой день был экскаватор, а где не был... – сказал Ваня.

– Если б они каждую путевку контролировали, – сказал молчавший до этого шофер моего самосвала, – то не могли бы в своих кабинетах в шахматы играть и на футбол срывать...

– У тебя дети есть, прораб? – спросил уже помягче Ваня.

– Есть, – соврал я, чтоб придать разговору плавность и устранить лишние вопросы и закорючки.

– Ну вот видишь, – сказал Ваня, – и у меня есть... твои жрать просят, и мои жрать просят... Правильно я говорю, хлопцы?..

– Время идет, – сказал я, – на Саперное Поле, десять, надо ехать, ребята. Там экскаватор простаивает...

– Мы тебе путевки в кабину дадим, – сказал Ваня, – дорогой оформишь... А Филя тебя прямо к вашему управлению доставит, а потом нас догонит... Ладно, ребята, двинули...

Он, видно, был у них за старшего, вроде бригадира, и, в конце концов, поступил не так уж беспредельно плохо по отношению ко мне. Сволочь похуже, имея в своих руках такой козырь – отсутствие экскаватора и прораба, уехала б немедленно, раздула б эту историю и устроила б скандал в управлении, а они все-таки ждали меня, разумеется не три часа, а минут десять, пятнадцать... Тем более что в моей несостоявшейся версии я собирался изобразить этих шоферов перед начальством в их истинном, дурном свете, что меня, впрочем, не оградило бы от наказания.

Таким образом, подобный оборот дела, то есть моя зависимость от этих шоферов, спас меня от необходимости писать на них рапорт, который всегда, даже при правдивом изложении, папахивал доносом, что было мне неприятно (какой парадокс. О доносах позднее, значительно позднее). Тем не менее, сложись дело по-иному, я был бы вынужден это сделать, чтоб спасти себя, особенно учитывая мое неустойчивое, почти трагическое положение. Сейчас же этот недобрый путь к спасению был закрыт, и, несмотря на то что передо мной стояла фантастически трудная задача – изыскать нечто иное, отсутствие необходимости писать рапорт-донос меня радовало...

Глава шестая

Я приехал в управление к концу планерки и долго колебался, входить ли мне в кабинет Брацлавского. В том, что я, не нарушая ритма многочасовой планерки и ее направления, тихо уйду, есть свои серьезные преимущества, но и свои минусы. Мое появление привлечет ко мне всеобщее внимание, досада от нарушения моим появлением слаженного ритма может повлиять, безусловно, на уставших в многочасовой духоте людей, и их досада на необходимость заниматься еще одной, моей, проблемой, чего доброго, перерастет в желание нервной разрядки, особенно у Брацлавского, человека немолодого, так что я пострадаю на этом весьма серьезно, даже непоправимо, при дополнительных, непредвиденных факторах, которыми всегда полны подобные обстоятельства... Но с другой стороны, мой уход без предупреждения даст козырь Коновалову; сегодня я понял твердо, что главная опасность для меня исходит именно от Коновалова, поскольку ему надо оправдаться перед своим тестем Брацлавским за доброе дело, которое он совершил, взяв меня к себе на участок. Ни сам Брацлавский, ни Юницкий, ни Мукало не вспомнят сегодня обо мне: у них достаточно дел и неприятностей посерьезней, а для Коновалова лично я серьезная неприятность, поэтому он вспомнит.

Если я, в трудных условиях выполнив задание, войду в кабинет Брацлавского замерзший, уставший, только что вернувшийся с дальнего, загородного объекта, то кто его знает, может, самому Брацлавскому это даже понравится: он работяга, из простых, ценит старательность и любовь к работе и, возможно, так именно это и воспримет. Меня поддержат Свечков, Сидерский, Шлафштейн... Вдруг доброе слово скажет и Юницкий, он человек неожиданный, и это было б здорово... Возможен даже положительный поворот в моей производственной судьбе, какой в свое время произошел со Свечковым... Какой вариант применить: первый (тихий уход домой... Опасность со стороны Коновалова, но не сегодня – завтра, когда многое может измениться) или второй (резкий, прямой приход мой с дальнего участка, после выполненного задания... Риск... Идти навстречу опасности, зато вдруг все разом разрешится и станет хорошо). Ах, если б знать обстановку в управлении и на планерке... Ирина Николаевна знает, но молчит, держится официально... Наверно, ей тоже влетело за покровительство мне...

Открылись обитые кожей двери Брацлавского, и вышел Райков.

– Спасибо вам большое, – сказал он мне, – я недавно звонил в автопарк: самосвалы работают на нужных объектах... Знаете, дозвониться днем не мог, а экскаватор-то срочно снял сам Брацлавский и по самому высокому распоряжению... Его во двор Президиума Верховного Совета перебросили... Там у нас сейчас три «Белоруссика» работают...

Райков разоткровенничался, во-первых, по неопытности, а во-вторых, как я понял, потому, что я его здорово выручил и он ощущал благодарность по отношению ко мне. Не послушайся я приказа Коновалова, кстати незаконного, и откажись от поездки в Конча-Заспу, это пришлось бы сделать самому Райкову, хоть он и бывший майор, и прислан на работу райкомом.

– Еще раз вам большое спасибо, – сказал мне Райков, и это меня ободрило так, что я решился на второй вариант, то есть идти в кабинет.

Когда Райков, взяв какую-то диаграмму, пошел назад, я вошел с ним. Но, едва войдя, я понял, что совершил ошибку, приняв личную благодарность Райкова за всеобщее отношение. В кабинете, как я и предполагал по первому своему варианту, был тяжелый, спертый, прокуренный воздух и все сидели с уставшими лицами, производившими впечатление невыспавшихся. Мой же внешний вид человека, явившегося со свежего воздуха, уж только этим вызвал у всех невольную зависть и неприязнь. Так что самый первый внешний фактор моего плана сработал как раз в обратную сторону, то есть я не произвел впечатления человека уставшего, производственного, явившегося в кабинет к заседающим в тепле, а наоборот, человека бодрого

и удачно проведенного день, явившегося к людям измученным и продолжавшим мучить друг друга. Почему так получилось, не знаю, но, несмотря на все недавние волнения и мороз, сейчас, отогревшись в кабине, физически я чувствовал себя хорошо. Войдя, я огляделся, ища свободное место, чтоб сесть незаметно, на ходу меняя план и рассчитывая, что Райков своими графиками возьмет все внимание начальства на себя...

Брацлавский сидел во главе стола, крепкоголовый, с седым курчавым волосом. По правую руку от него сидел Мукало, по левую – Юницкий. Далее у стола сидели по обе стороны Коновалов и Литвинов. Протокол вела Коновалова.

– Вот, пожалуйста, Иван Тимофеевич, – сказал Коновалов Брацлавскому, едва заметив меня. (В первое мгновение он меня не заметил, разговаривая шепотом с Литвиновым и не обратив внимания на скрипнувшую дверь, думая, что вошел один Райков. Но Литвинов, улынувшись и сначала подмигнув мне, толкнул Коновалова и показал на меня.) – Вот, Иван Тимофеевич, явился герой, – как-то даже оживленно, словно имея возможность отвлечься от многочасовых утомительных дебатов, сказал Коновалов, – взял я его на свою голову и теперь не знаю, кому подарить...

Юницкий, Мукало, Литвинов и Лойко засмеялись.

– А знаешь, Цвибышев, – сказал вдруг Лойко, – тебя сегодня искали...

И тут я совершил еще одну ошибку. Я знал, что Лойко мне враг. Да он и подтвердил это секунду назад своим смехом. Но положение мое стало сейчас беспредельно тяжелым, а утопающий, как говорится, хватается за соломинку.

Свечков, Шлафштейн и Сидерский, то есть люди, на заступничество которых я рассчитывал, сидели, не глядя ни на меня, ни друг на друга. И вдруг пришла мне в голову дикая мысль найти поддержку у Лойко. Плохого я ему никогда ничего не делал. Может, и он, замученный совестью из-за своего недоброго ко мне отношения, решил помочь мне в трудную минуту и бытовым обращением ко мне (а все знали, и Брацлавский тоже, что Лойко меня не любит), так вот, бытовым обращением ко мне, может, Лойко захотел сломать стену отчужденности между мной и планеркой.

– Кто меня искал? – посмотрев на Лойко, с доверием спросил я.

– Двое с тачкой, третий с лопатой, – с искренне радостным блеском в глазах, какой бывает после удачной охоты, выкрикнул Лойко.

Грохнул такой смех, что даже секретарша Ирина Николаевна приоткрыла дверь и заглянула.

Смеялись все. Не только мои недруги, но и Коновалова, и Райков. Даже Сидерский и Шлафштейн, правда не так громко, как, например, сам Лойко, который весь покраснел и держал у глаз платок. Один Свечков сидел насупившись, но молчал. Брацлавский тоже не смеялся, однако едва заметно улыбнулся. Ирина Николаевна, которая непосредственно при шутке не присутствовала, и Коновалова рассказала ей все на ухо, засмеялась позже всех, что снова вызвало некоторое оживление. Я был убит. Я опасался, что мне грозит опасность разноса, жестоких мер, вплоть до увольнения, а меня уничтожили весело, легко, как бы походя и без борьбы, без поддержки, в полном одиночестве.

– Ну, хватит, – сказал наконец Брацлавский, – смешного тут мало... Мы должны освободиться от людей, которые не любят работу и позорят управление.

– Экскаватор с его объекта ведь сняли, – сказал Коновалов, – а машины на свой объект он не отменил... Представляете, шесть самосвалов впустую...

– Напишите мне, – обернувшись к Коновалову, сказал Брацлавский, – ваши слова я к приказу об увольнении приложить не могу...

Коновалов сказал все хитро и неопределенно. Так что неясно было, а вернее, нет, наоборот, даже ясно было, и складывалось впечатление, что самосвалы простояли впустую. И Райков молчал. Мне неудобно было самому себя выгораживать, а Райков мог сообщить о том,

как я помог ему перебросить самосвалы на другие объекты. Сказать то, что сказал он мне в секретарской... Или хотя бы половину того... Но Райков улавливал общее настроение руководства уволить меня и потому молчал.

– Напишите мне, – снова сказал Брацлавский Коновалову.

И вдруг тот замялся. Надежда на спасение мне начала светить неожиданно с иного конца, не от моих приятелей и покровителей, а от общей бумажно-бюрократической системы, которой все невольны были подчинены.

Коновалов очень хотел избавиться от меня и писал на меня немало рапортов, но этот рапорт, который должен был лечь в основу моего увольнения, остаться как документ, зарегистрированный в отделе кадров, пройти по инстанциям, он писать не решался. Не знаю почему, может, его смущали слухи о моем дяде-покровителе... Может быть, но все же не это главное. Его смущал какой-то всеобщий ведомственно-бюрократический инстинкт, требующий избегать личной инициативы в делах, предельно неприятных, а таким предельно неприятным делом было в ведомственной системе насильственное увольнение. На такое мог решиться, причем не задумываясь, разве что Лойко, ненавидящий меня не в силу обстоятельств, а телесно... Но Лойко был совсем с другого участка и вообще не обладал никакой юридической властью. Коновалов же, невзирая на свой темперамент, ненавидел меня до определенного предела, не желая отдавать этой ненависти слишком много сил. Коллективный рапорт на меня он бы подписал с радостью.

– Я его пробовал использовать диспетчером, – сказал Мукало, – так он всю работу развалил... Вон Райков еле распутывает...

– Напишите, – обернулся к нему Брацлавский, – напишите мне все это на бумаге... Если у вас бумаги нет, то я вам дам, – добавил он несколько резковато.

Я вспомнил о слышанных мной от Ирины Николаевны противоречиях между Мукало и Брацлавским. Противоречиях, на которых мне не удалось сыграть, хотя я думал в этом направлении.

– Та что ж я буду писать, – ответил Мукало, задетый тоном Брацлавского и переходя на речь с сильным украинским акцентом, – та что ж я буду писать, як, будучи диспетчером, он формально находился в распоряжении производственного отдела, у Юницкого.

– Вот наша полная обезличка, – сказал Брацлавский, закуривая, – поэтому мы и работаем плохо, не болеем за дело... За что ни возьмись, даже за ерунду, даже за то, чтоб уволить негодного и ненужного нам работника, и то концов не найдешь...

– Ну, это, Иван Тимофеевич, вы преувеличиваете, – встал Юницкий.

Он умел говорить «по правде-матке» и не боялся вступать в прямые споры даже с Брацлавским. Надежда моя загорелась еще более. Я повернулся в его сторону, однако он сказал:

– Я давно считаю, что Цвибышева надо уволить. – (И сердце мое упало. После этого внутренне я уже прекратил борьбу, надеясь лишь на обстоятельства.) – Я давно считаю, что он нам не подходит как работник, и тут, Иван Тимофеевич, никакой проблемы нет, – продолжал Юницкий, – но Цвибышев работает в управлении три года, а в распоряжении производственного отдела он был всего месяц, и то формально, как правильно сказал товарищ Мукало... Мы его на должность диспетчера не принимали, а устроил его, будем прямо и честно говорить, товарищ Мукало... С товарищем Мукало он на этой должности общался... Товарищ Мукало его и отчислил опять на участок. Как писал Тарас Бульба, чем тебя породил, тем тебя и убью... – Юницкий улыбнулся.

Лойко и Райков засмеялись, а Коновалова покраснела.

– А то, что у Цвибышева дядя в Главке, – дополнил Юницкий, уже сидя, – так это нас не должно смущать...

– Да при чем тут дядя, – раздраженно сказал Брацлавский, – плевать мы хотели на дядю... Пусть они из Главка придут и повернутся вместо нас...

Я слышал сплетню, работая диспетчером, о том, что Брацлавского Главк уже несколько раз хотел снять, как не имеющего диплома, но у него есть поддержка в среднем звене, в тресте. И эта невольно прорвавшаяся неприязнь к Главку подтверждала правильность подобных слухов.

– Так что же решим по этому вопросу? – спросил Мукало.

– Коновалов должен писать рапорт для увольнения Цвибышева, – сказал Юницкий, – тут двух мнений быть не может...

– Если на то пошло, – встал и Коновалов, – то у меня он работал тоже не больше трех месяцев, поскольку на участке я недавно... А принял его на участок Мукало, который тогда был начальником... А подписал приказ о зачислении в должность прораба Юницкий, вот так... Я смотрел в отделе кадров... Юницкий исполнял тогда обязанности главного инженера, а Иван Тимофеевич был в отъезде...

– Иван Тимофеевич мне этот приказ, кстати, завизировал, – бросил с места Юницкий, – так что не в этом дело... Ты по существу говори, Коновалов, а не ссылайся на позапрошлый снег. Вопрос стоит прямо... Кто должен писать начальнику рапорт о необходимости увольнения Цвибышева...

Последнюю фразу он произнес, как бы отбивая каждое слово ребром ладони по столу... И тут на меня нахлынуло... Я уже сказал, что внутренне прекратил борьбу еще после первого выступления Юницкого, когда угасла надежда окончательно. Если б меня просто и ясно уволили, я б не нашел в себе смелость даже заикаться в свою защиту. Но то, что эти люди торговались, именно торговались друг с другом о моей судьбе, не обращая более на меня самого внимания, точно я был какой-то портящей вид кучей мусора, возмутило меня, а возмущение придало мне силы. Никто из этих лиц, имеющих административную власть, не хотел брать на себя столь грязную работу, а Лойко, который жаждал ее выполнить, я видел это по его глазам, не имел на то юридических прав... И я заговорил, заговорил впервые на планерке, звонким, чужим голосом в глубокой тишине, наступившей от неожиданности. И недруги мои, и сочувствовавшие мне, и те, кто был ко мне безразличен, например Литвинов, в первые мгновения испытали общее чувство – удивление... Думаю, если б вбежал и заговорил вдруг пудель Ирины Николаевны, которого иногда приводила в управление ее дочь, то удивление было бы не больше.

– Три года, – говорил я, – сколько раз по две смены... В мороз да в холод, а дождь... А когда тонул экскаватор на кирпичном заводе, кто рядом сутки... Я даже денежную премию тогда получил (это было неумно, поскольку не соответствовало моей задаче показать постоянное ко мне бездушие). А на Кловском спуске, во время аврала... Вот спросите у Свечкова (это было неблагоприятно. Я втягивал Свечкова в общую компанию с собой, в то время как дела мои стали плохи). И диспетчером меня посадили специально, чтобы я сгорел... Думаете, я не понимаю... К Райкову совсем другое отношение, потому что он бывший майор и партийный (это было самое нелепое заявление в моей нелепой речи. Шлафштейн здесь посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. К тому ж отныне Райков превращался из человека, по обстоятельствам не плохо ко мне относящегося, в моего врага). И вообще, за что вы издеваетесь надо мной, за что вы невзлюбили меня (это был единственный искренний, идущий от души, какой-то евангельский кусок моей речи, который мог бы возыметь действие на колеблющихся и возбудить к активности сочувствующих мне, если б я не дополнил этот искренний кусок угрозами и намеками). Это вам так не пройдет, – сказал я, – найдется на вас управа... Ваши махинации... Запомните, я не слепой... Подождите... Придет время. – К счастью, спазма перехватила мне горло, и я замолчал. Кажется, это заметили, потому что Коновалова заморгала ресницами и вздохнула.

В подобной концовке было, правда, и положительное зерно. Угрозы, исходящие от меня, человека в их глазах ничтожного, выглядели не только смешно, но, как это ни странно, могли

внести известное беспокойство в тех, кому они были адресованы, хотя бы потому, что эти люди менее всего ожидали подобного от меня. Ошибка же была здесь в конкретности моих угроз, в намеке на разоблачение неких махинаций, который как бы спланировал против меня недругов и сочувствовавших мне. Я ведь знал, что известные нарушения совершают не только Коновалов, Юницкий или Лойко, но также и Шлафштейн, Сидерский, даже Свечков...

– Садись, Цвибышев, – сказал мне Брацлавский, еще раз доказав свою производственную закалку, – можешь писать куда хочешь, а пока не мешай нам проводить планерку... Действительно, ерунда получается. У нас десятки сложных производственных вопросов, а занимаемся Цвибышевым...

Я прошел в угол, где оказался свободный табурет, и уселся подальше от моих бывших друзей: Свечкова, Сидерского и Шлафштейна. Я старался не смотреть на них, да и они не смотрели в мою сторону, занятые своими производственными делами, обсуждение которых, прерванное моим приходом, продолжалось. Едва усевшись, я сразу понял, что вел себя глупо и мне некого обвинять, кроме себя. У меня странная привычка. Как говорят французы, я становлюсь тотчас же умным «на лестнице», то есть через мгновение после совершенной глупости. Сидя в углу, я разобрал мою речь, тезис за тезисом, и сделал самые убийственные выводы, которые привел выше. Проанализировав все, я нашел, таким образом, что мои друзья не виноваты, как раз наоборот, перед Свечковым, например, виноват был я... Никто не имеет права во имя собственного спасения рисковать судьбой приятеля, не получив на то его согласия... Свечков любит свою работу, работает хорошо, начальство его уважает, ежемесячно получает премиальные, иногда даже два оклада... А ведь вначале отношение к нему было такое же, как и ко мне... О том рассказывала мне Ирина Николаевна... Даже стоял вопрос о его увольнении. Но парень сумел доказать свою пригодность и соответствие должности... Недавно он женился, родился ребенок... Какое же право я, человек одинокий, имею требовать от Свечкова каких-то действий в мою поддержку?.. Если он молчит сегодня, значит, понимает обстановку, сложившуюся на планерке, может, знает нечто, чего не знаю я... Может, выжидает... (все это подтвердилось. Не только Свечков, но и Шлафштейн, и Сидерский, и даже Коновалова, сестра моего главного гонителя, на следующий день ходили к Брацлавскому просить за меня. Я об этом узнал от Ирины Николаевны.)

Планерка между тем кончилась. Я сидел в дальнем углу и, поскольку не мог выйти первым, переждал, пока вышли все, не желая ни с кем встречаться, даже с друзьями, невзирая на анализ в их пользу. Вопрос обо мне повис, может, благодаря моей нелепой речи, которая какое-то воздействие тем не менее возымела. Все приняло неопределенный характер. Являться ли мне завтра на объект (что было мучительно) или получать расчет (что было страшно)? Я вышел в секретарскую.

– Цвибышев, – вежливо и мягко сказала мне Ирина Николаевна, – вас Мукало просил зайти.

Терять мне было нечего, я вошел.

– Присаживайся, – сказал мне Мукало. Он обошел кругом стола и сел напротив меня в кресло, так что обстановка сразу создалась полуофициальная. – Видишь, что творится, – сказал Мукало доверительным, домашним тоном, – они, если захотят съесть человека, – съедят... Это между нами... Я тебе старался помочь как мог... Евсей Евсеевич (очевидно, приятель Михайлова, я же услышал это имя впервые), Евсей Евсеевич именно мне звонил три года назад насчет тебя... Это еще хорошо, что Брацлавский тогда в отъезде был, а Юницкого я уговорил... Я б на твоём месте пошел к Евсею Евсеевичу и сказал... Такое и такое, мол, дело... Три года мне Мукало помогал... Теперь нет возможности... Он тебя в другое место устроит... Ого... При его положении... Вон, новое управление, Гидрострой организуется... А лучше всего, если он тебя в проектный институт... Там ты будешь на месте... А тут ты, извини меня, вроде между ног у всех болтаешься... Подай заявление, я тебе обещаю чистую трудовую

книжку... Ни одного выговора не запишем... Я сам с Назаровым поговорю... Иначе Брацлавский тебе такое напишет... Уволен за развал работы и все... Тебе и так трудно устроиться на работу, а тут вовсе как...

– Когда писать заявление? – спросил я.

– А ты сейчас напиши, – тихо сказал Мукало все так же доверительно, глядя мне в глаза.

Я старался отвечать ему тем же, радуясь, что неопределенность позади и выход найден. Надо было торопиться. Меня действительно могли уволить с самой нелестной характеристикой, и это могло повредить даже моим тайным планам поступления в университет. Непонятно было только, как я ранее не понимал и потратил столько сил, в сущности, на ненужную уже и бесполезную свою защиту. Впрочем, то, что я поехал сегодня в Конча-Заспу, – хорошо, иначе неприятности, завершающие мое пребывание на этой работе, приняли бы еще более острый характер. Даже Мукало тогда, пожалуй, не помог бы... Я взял бумагу со стола и написал: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Это была глупая формулировка. Надо было написать: «Прошу уволить меня по личным обстоятельствам». Однако Мукало сразу же взял мое заявление, посмотрел и сказал:

– Вот и добре... Завтра же получите расчет. – Он впервые за три года сказал мне «вы». Я это отметил. «Вы» мне говорили, лишь только я устроился, как им казалось, по высокой протекции. – Возьмите у Ирины Николаевны бегунок.

Я вышел.

– Ну что? – спросила Ирина Николаевна.

– Дайте мне обходной лист, – сказал я.

Она как-то горестно вздохнула, доставая из ящика обходной.

– У вас с собой профсоюзный билет? – спросила она.

– Нет, но у меня все уплачено, – ответил я.

– Я вам верю, – снова вздохнув, сказала Ирина Николаевна и расписалась в графе – председатель месткома. Потом она расписалась пониже, в графе библиотека, которой заведовала по совместительству, но которой никто не пользовался.

Теперь, когда здешняя судьба моя решилась, Ирина Николаевна утратила свой холодный, официальный тон по отношению ко мне и снова смотрела на меня с участием, как некогда ранее, когда она мне покровительствовала.

Я вышел из конторы во двор, освещенный фонарями и вспышками электросварки... У ремонтировавшегося экскаватора высокий слесарь в распахнутой, несмотря на мороз, телогрейке бил молотом-балдой по металлической шайбе. От открытой груди его шел пар. Каждый удар он сопровождал резким выдохом-криком. Гулкий металлический звук лишь чуть ослабевал в воздухе, как слесарь вновь ударом доводил его до полной громкости, не давая угаснуть... По грязному, мазутному снегу, покрывающему комками асфальт двора, я пробрался, лавируя среди бочек, досок и обрезков металла, к воротам. Я шел быстро, чтоб как можно скорее оставить все это позади. Но едва я миновал ворота, как следом выехал грузовик, в кузове которого стояли Юницкий и Литвинов, держась руками за верх кабины.

– Цвибышев, – крикнул мне Юницкий, улыбаясь, – давай подвезем... Если тебе к центру...

Мне надо было к центру, и на грузовике я сэкономил не менее получаса, поскольку от центра шел к нашему общежитию прямой маршрут троллейбуса № 8 без пересадок. Мне предстояло еще переодеться и хоть что-либо перехватить, чтоб не прийти к Бройдам совсем уж голодным и не есть вкусный обед, которым меня угостят, с жадностью. Я полез в кузов и сразу же, едва очутился там, понял, что не следовало этого делать, хоть я и опаздывал. Предстояло еще минут пятнадцать находиться в обществе этих людей, которые стали мне особенно неприятны сейчас, после того, как я написал заявление и избавился от них. Даже Свечков был бы мне сейчас неприятен, поскольку и он связывал мое воображение со всем этим враждебным мне

комплексом. Тем более Юницкий, от робости и неуверенности перед которым я по-прежнему не мог избавиться, очевидно поняв разумом, но не ощутив еще сердцем мое новое, независимое положение. И, откровенно говоря, питая некоторую надежду... Не буду кривить душой, из-за этой надежды, а не только из желания сэкономить полчаса, я и полез в кузов... Ибо едва написал заявление, как испытал приступ страха... Ведь вместе с моим унижительным, тяжелым положением я потерял твердый кусок хлеба...

– Ну что, – улыбаясь, спросил Юницкий, – будешь жаловаться на нас дяде...

– Нет у меня никакого дяди, – тихо сказал я, мучительно обдумывая, как бы перевести разговор в доверительное русло.

Может, и хорошо, что я полез в кузов вопреки моему первому впечатлению, подумал я. У Юницкого достаточно власти, и то, что после его выступления против меня, такого резкого, он захотел меня подвезти... Может, именно здесь все и образуется... Утрясется... И я буду потом рассказывать: решил уже, что все кончено, написал заявление... Выхожу, вдруг меня догоняет грузовик...

– Коновалов завтра собирается к тебе на объект, – сказал Литвинов.

Значит, ни Литвинов, ни Юницкий не знают еще, что подал заявление, подумал я, пытаюсь определить, хороший ли это признак или плохой.

– Я подал заявление, – сказал я.

– Да ну, – искренне удивился Юницкий, – сам подал?

– Уволен по собственному желанию начальника, – сказал Литвинов и рассмеялся...

– По этому случаю надо выпить, – сказал Юницкий, улыбаясь (глядя на меня, он постоянно улыбается), – ты все-таки начинаешь новую жизнь...

Он постучал по верху кабины. Грузовик остановился у обочины. Мы сошли и направились к киоску.

– В разлив у нее нету, – сказал Юницкий, заглядывая внутрь, – придется целую бутылку покупать...

Я ощупью нашел в кармане две бумажки (сегодня я обедаю у Бройдов. Завтра можно обойтись без карамели к чаю, и, кроме того, Витька Григоренко получает зарплату и поведет ужинать в честь дня своего рождения. Сэкономленную сумму можно смело вычесть из сейчас потраченной, и, таким образом, окажется, что я потерял не очень много, ну два обеда, не более... Их можно вполне компенсировать, несколько урезав траты... Не брать, например, в обед компот... Правда, теперь я вечерами не смогу ужинать в общежитии, поскольку вынужден приходить поздно... А ужин на ходу, в общественном месте, всегда обходится дороже).

Погруженный в лихорадочное составление финансового баланса ввиду неожиданности и непредусмотренности серьезных затрат, я на какое-то время даже потерял Юницкого и Литвинова из виду.

А между тем Юницкий пил вино прямо из горлышка бутылки, облизывая языком губы.

– Хочешь? – спросил он Литвинова.

– Нет-нет, – сказал Литвинов, – ты меня в это дело не втягивай, я в этом деле не участвую... Чего я вообще в свидетели затесался?

И он пошел назад к грузовику. Юницкий допил вино и отдал мне пустую бутылку.

– Поставь куда-нибудь, – сказал он и тоже пошел к грузовику. – Тебе дальше, может? – спросил он, обернувшись.

– Нет, – ответил я.

Едва грузовик уехал, как я огляделся, подошел к мусорному ящику и бросил туда бутылку. Я стоял недалеко от одного из любимых моих бульваров. Если пойти по нему вверх и свернуть направо, можно очень скоро дойти до библиотеки. И вдруг словно я очнулся от кошмара и, как бывает в таких случаях, когда после ночного кошмара мы просыпаемся, обрадовался, что наяву все по-иному, даже негромко засмеялся всем своим глупостям и страхам.

В течение дня я вел себя как неумолимый. Я ведь давно уже решил уволиться, это была часть моего плана, и на сегодняшнюю планерку шел с таким расчетом. Конечно, такой шаг не прост, кто ж противоречит, и, может, то бытовое и мелкое, что сидит во мне, что выпирает наружу, что враждебно моей тайне, моему «инкогнито», моей идее, то бытовое, и мелкое, и жалкое, что сидит во мне, цеплялось за устойчивость и вселяло в меня страх перед решениями, губящими эту устойчивость. Тут-то и приходят на помощь нам случайные обстоятельства, совпадения, неудачи и опасности, против которых мы боремся из последних житейских сил, но если нам повезет, то боремся безуспешно, боремся неудачно, и все это вместе заставляет нас идти той дорогой, о которой мы могли лишь мечтать, если б выиграли борьбу с житейскими неудачами и добились бы устойчивости...

Я понял, что сегодня сделал серьезный шаг навстречу своей идее... Идея моя была пока неопределенна, что-то мелькало изредка и более конкретно, но в разных, часто противоположных ракурсах, и я вел себя по отношению к ней как скупец, не позволяя до поры до времени, даже в минуты душевного надлома, заглянуть внутрь и воспользоваться хоть крохой из моей идеи. Я не покривлю душой, если скажу, что для меня самого пока она была почти такой же тайной, как и для окружающих. Говоря образно, идея моя была чем-то вроде живого нежного существа, не приспособленного пока жить в окружающей меня суровой действительности, и я обогревал ее у себя на груди, не позволяя себе даже взглянуть на нее, а лишь ощущая... Впрочем, ощущения эти я иногда в последнее время позволял себе использовать в бытовой борьбе, о чем уже говорил выше... Это был опасный признак истощения жизненных сил... Но использовал я в быту лишь ощущение идеи, а не саму идею, которую, может, потому, сам инстинктивно не хотел до поры до времени увидеть и понять... Идея – это было единственное, где я был математически точен и не совершил ни одного опрометчивого шага... Это я-то, с моим неустойчивым характером. Ощущение идеи мне было ясно: рано или поздно мир завертится вокруг меня, как вокруг своей оси. Но как, и в какой плоскости, и под каким углом, я не знал и не позволял себе знать, не доверяя своей твердости и умению соблюдать тайну. Одно я знал точно: выпусти я эту идею из своей души раньше времени, и она погибнет... Вот чего следовало опасаться...

Глава седьмая

Высадившись из троллейбуса, я остановился, обдумывая маршрут к общежитию. Время было достаточно опасное, то есть семь часов вечера, когда открыта камера хранения Тэтяны, да и комендант Софья Ивановна в такое время частенько ходила по жилым корпусам. Кроме того, была опасность наткнуться на Софью Ивановну на небольшом отрезке улицы, ведущей от троллейбуса к жилконторе и далее к общежитиям. Следовало обойти вокруг, по параллельной улице, и двором пройти прямо к входу, но у меня было мало времени, и я рискнул. Слегка пригнув голову и прижимаясь к стене, я быстро пошел, исподволь бросая по сторонам взгляды и особенно ускоряя шаг в промежутках меж подворотнями... Должен сказать, что влияние непосредственных встреч и контактов на мое положение я, может, несколько и преувеличивал. Независимо от этого, я фигурировал в списках тех, кому послана повестка, и мое койко-место числилось уже потенциально свободным от меня и пригодным для приема рабочей силы, в которой трест, кстати, испытывал затруднения. Но, безусловно, такие встречи в период весеннего выселения, нервный и неустойчивый, оказывали на мое душевное состояние пагубное воздействие, а отсюда уж рукой подать до скандалов и столкновений моих с Софьей Ивановной, не говоря уж о Тэтяне. При нынешнем положении дел отношения мои с этими людьми могут быть либо скандальными, либо унижительными с моей стороны. Но унижение мое они, особенно Тэтяна, и сами бы не приняли, и оно придало б их ожесточению против меня лишь большую уверенность. И вообще, не знаю, нашел бы я сейчас для такого унижения силы в себе, хоть койко-место для меня вопрос жизни и будущее моей идеи. Это только в семнадцать лет можно смело повиснуть в воздухе и даже с веселостью принимать положение бродяги, веря при этом, что человек пропасть не может... Может пропасть, это я знаю твердо, тем более в двадцать девять лет...

Говорят, в Риме бездомные ночуют под мостами. У нас под мостами ночевать нельзя, особенно с двумя чемоданами... В первую ночь, допустим, на вокзале, а далее... К Бройдам я просить о ночлеге никогда не пойду, это значит осквернить и опоганить то единственное, что связывает меня с жизнью, о которой мечтаю и в которой должна развернуться и расцвести моя идея... Кроме того, вдруг они мне откажут... Нет, даже думать об этом не хочу, лучше уж к Чертогам... Ну день, ну два... Дальше-то что?.. В жизни наступает хаос, посещение библиотеки прекращается, в местах общественного питания быстро уходят сбережения... Ехать некуда... При моих-то нервах, плохом здоровье, к людям чужим, с которыми я не умею ладить... А здесь уже как будто все на мази, выстроен определенный порядок, нащупаны связи, построена концепция дальнейших действий и выработан план, который начал осуществляться сегодня первым важным и трудным шагом в направлении избранного пути... Только б из-под этой мечты, начавшей воплощаться в реальность, не выдернули опору, койко-место, эту железную односпальную кровать с панцирной сеткой, служащей основанием моей великой идее, как это ни парадоксально звучит. Нет, это не смешной парадокс, это реальность... Вот почему у меня мелькали даже мысли об унижении перед теми, кто грозит лишить меня ночлега и крыши... Меня оправдывает моя идея... Но, как я сказал выше, в сложившейся ситуации унижение пойдет лишь во вред... Остаются скандалы... В первый год моей жизни в общежитии, будучи неопытным и злоупотребляя авторитетом и служебным положением Михайлова, я постоянно в своих отношениях с комендантом, как говорится, лез в бутылку, кричал на нее и даже грозил увольнением... (Как я был глуп и молод всего три года назад.) Не имея никогда опоры и вдруг обретя покровителя с серьезным положением, я решил, что настал мой черед и найдена возможность обрести уверенность в себе. Отсюда вспышки грубости и угрозы об увольнении комендантши руками Михайлова за ее попытки выселить меня как жильца, не работающего в их ведомстве. Очень скоро это оболыщение прошло (чему способствовало несерьезное и

насмешливое отношение самого Михайлова ко мне, начавшее постепенно проявляться), оболщание прошло, и я понял, что поддержка Михайлова не утверждает меня в жизни, а просто позволяет мне хоть как-то незаконно существовать в обстоятельствах, при которых отсутствие поддержки вовсе лишило бы меня возможности даже неустойчивого существования. Учитывая вышеизложенное и опыт прошлых лет, я положил в основу своей тактики отсутствие контактов с должностными лицами, вроде меня не существовало на период весеннего выселения. Эту тактику я успешно применял в прошлом году, пока Михайлов не договорился и дело не утрясли.

Сейчас, пробираясь вдоль стены к общежитию, я приступил к осуществлению этой тактики. Правда, я начал с нарушения, позволив себе в столь опасный промежуток времени пойти дорогой, где вероятность встречи с комендантшей либо с Тэтяной была достаточно высока. (Встречи с Маргулисом я не боялся, так как он не знал меня в лицо.) Оправдывало меня то, что я чересчур торопился. Я миновал благополучно улицу, однако неприятный сюрприз ожидал меня у самого входа в общежитие. И комендантша Софья Ивановна, и Тэтяна в белом служебном халате, натянутом поверх телогрейки, и дворник, и уборщица, и дежурная – все стояли у входа, преграждая мне дорогу. Не буду скрывать, я испугался и растерялся чрезвычайно, метнувшись за угол соседнего корпуса. Но, приглядевшись, понял, что относится это сборище не ко мне, а заметив, куда они смотрят, и уловив обрывки разговоров, понял и происшествие...

В нашем корпусе, кажется в двадцать седьмой комнате, жил каменщик Адам. Имя его я узнал лишь недавно, хоть в течение трех лет мы встречались то в коридоре, то в кубовой, то в туалете, но, пожалуй, даже и не здоровались, как, впрочем, и с многими жильцами, которых знаешь лишь в лицо. Но однажды, сравнительно недавно, я встретил этого Адама в комнате у Витьки Григоренко, и Адам вдруг со мной заговорил. Слова его меня удивили и даже испугали, во-первых, от неожиданности и несоответствия его облику, а во-вторых – почему он заговорил о том именно со мной, не нащупал ли он мое «инкогнито».

– В мире, – говорил Адам, – есть родственные души. Каждой душе соответствует другая родственная душа, одна определенная, душа-близнец, ее половина, отделившаяся еще при сотворении жизни. Но судьбы человеческие, может, и движутся в определенном государственном порядке, однако в ином смысле движения их хаотичны, и потому встречи родственных душ, соединение обеих половин в единое целое редки... Чаще всего, если человеку повезет, он встречает душу, наиболее по качеству приближающуюся к своей половине, и живет с ней счастливо и хорошо именно потому, что не знает о том ангельском блаженстве, ожидавшем его, встретиться он с той, единственной, фактически своей собственной... Однако, помимо родственных душ, существуют души-антиподы, души-враги. Каждой из душ соответствует душа-антипод, душа-враг, то есть души, которые при сотворении жизни наиболее удалены были друг от друга... Обе они могут быть ангельски чистыми, но при встрече друг с другом в них просыпается дьявол... К счастью, такие встречи редки... Чаще мы встречаемся с теми, кто не очень от нас близок, но и не очень далек... Потому и души наши тронуты гнилью и застоєм...

Я передаю его речь в более стройном виде, поскольку говорил он ломаными, неправильно построенными фразами и при этом сильно мигал обоими глазами, точно они были больны. Говорил он гораздо больше, но многого я не понял. Слушал я его в некоторой даже растерянности. Лишь когда Адам ушел и Витька рассмеялся, я опомнился и спросил: – Кто это?

– Что, Адама не знаешь? – удивился Витька.

Оказывается, Адам был давно и всем известный в общежитии тихий дурачок.

Каменщик он неплохой, зарабатывал прилично, но большую часть своих денег тратил на рисованные портреты, которые заказывал в изомастерской. Эти портреты он дарил потом школам, яслям и детским садам.

– Пойдем, посмотришь, – сказал мне Витька.

Мы пошли. Я, впрочем, без особого энтузиазма. В моем положении любое отклонение от нормы может как-то совершенно неожиданно ударить по мне.

– Адам, – сказал Витька, – покажи Гоше портреты.

Адам охотно достал из чемодана большую аккуратную папку.

– Это монгольский маршал Чойбалсан, – объяснял он, – это Чехов... Это Мао Цзэдун... Это великий путешественник Нансен... Это Хрущев... Это Мичурин...

Было у него и два портрета Сталина, но после разоблачения культа личности он их заказывать перестал, доказав тем самым известную логичность в своей деятельности. Все портреты были выполнены одинаково, в карандаше на плотной ватманской бумаге.

– Витька, – сказал Адам, – ты у столяров ваших поспрашивай... Дерево бы такое достать, которое под полировку годно... Я б сам рамок наделал. Разве в мастерской рамочки делают? Барахло...

Мне этот Адам был неприятен, и я хотел побыстрее уйти, Витька же получал удовольствие. Позднее я начал замечать, что с Адамом многие жильцы разговаривают охотно. Я же людей психически больных не люблю: они вызывают у меня брезгливость и одновременно чувство какого-то внутреннего страха. Поэтому Адама я старался избегать. Сейчас, прячась за углом соседнего корпуса, я довольно ясно различал событие у нашего корпуса, ибо событие это освещено было светом двух уличных фонарей, а также светом из окон.

Оказывается, Адам повесил на фронте общежития три портрета в рамках. В центре он повесил большой поясной портрет своей матери. Этот портрет, очевидно, срисован был с фотоснимка, и деревенская женщина в платочке напряженно и растерянно тарасила глаза, хоть художник с помощью ретуши пытался ей придать более величественное выражение, желая угодить заказчику. По бокам портрета матери висели два портрета поменьше. Слева – фельдмаршал Суворов, справа – академик Павлов. Великий физиолог особенно испугал комендантшу. Суворова она узнала, а этого старика в шляпе приняла бог знает за кого.

– Я выхожу, – громко говорила уборщица Люба любопытным, – гляжу – висят... Я гляжу, что такое, может, праздник какой-нибудь... Гляжу – Адам мать свою повесил...

– Ты зачем это сделал? – спрашивала у стоящего тут же Адама Тэтяна, но спрашивала весело.

Она несла лишь материальную ответственность, а налицо было идейно-воспитательное нарушение, за которое должны расплачиваться комендантша Софья Ивановна и воспитатель Юрий Корш.

Очевидно, дело принимало неприятный оборот, поскольку Корш, несмотря на присущий ему юмор, появился весьма встревоженный со стороны жилконторы.

– Зачем ты мать свою на общежитие повесил? – допытывалась у Адама Софья Ивановна. – Ну повесил бы у себя в комнате.

– Да еще рядом с известными людьми, – добавила Тэтяна.

– Тэтяна Ивановна, – сказала ей Софья Ивановна несколько раздраженно, – вы б давно распорядились лестницу принести!

Я знал, что между ними противоречия, и надеялся на этих противоречиях сыграть.

– Люба, – продолжала Софья Ивановна, – немедленно достать лестницу! Не могли давно снять? Надо было ждать, пока участковый придет?

– Я сначала не поняла, – оправдывалась Люба, – думала, может, так надо...

Люба была толстая, флегматичная девушка. Ко мне она относилась хорошо, в отличие от второй уборщицы, Нади, измученной женщины лет тридцати, матери-одиночки, которая ко мне относилась плохо.

В смеющейся толпе были Николка Береговой, Жуков и Петров. В комнате, наверное, никого. Какая удача. Можно спокойно поесть, спокойно переодеться. Я решаюсь... Выждав, пока комендантша и Тэтяна отойдут в противоположный конец толпы, навстречу начальнику

жэка Маргулису, прибывшему лично на место происшествия, покидаю свое убежище. Расстояние до входа невелико, но я иду медленно, поскольку слишком резким движением могу привлечь внимание. Благополучно прячась за спинами, минуя опасный участок. Встречаюсь глазами с Жуковым. Тот с неприязнью отводит взгляд. Обиду помнит, но меня не выдаст, хотя бы потому, что не знает моей тактики. О ней никто не знает, кроме меня. И вдруг у самой почти двери меня замечает Адам. До того он стоял в толпе, словно происходящее его не касалось, не отвечая на вопросы, задумавшись, сильно моргая, по обыкновению, обоими глазами и с недовольным видом. Но, заметив меня, вдруг заволновался, что-то закричал громко, показывая пальцами на портреты. Вместо того чтоб осторожно проскользнуть внутрь, мягко приоткрыв дверь (за два года моей тактики я научился это делать хорошо), я вынужден рывком кинуться внутрь, так что дверь оглушительно хлопает за спиной. Безусловно, комендантша и Тэтяна обратили внимание и на крик Адама, и на сильно хлопнувшую дверь. Однако заметили они меня или не заметили? Вот почему я не люблю людей психически ненормальных. Психически больной не понимает бытовых подробностей окружающей жизни.

Делать нечего. Быстро бегу по лестнице на второй этаж. Так и есть, двери заперты. Нахожу ключ в условном месте, под половицей. Зажигаю свет и, запыхавшись, некоторое время сижу на своей койке. Неожиданно ощутив усталость, сижу более, чем следовало бы, поэтому, вскочив, начинаю чрезвычайно торопиться. Цвета Бройда просила меня не опаздывать, и это вселяло надежду на нечто интересное. Может, я даже окажусь в обществе, куда Цвета вхожа и, пожалуй, составляет часть его. Поэтому не успеваю ужинать, колбаса и томат-паста останутся на завтра, и, значит, еще более уменьшается сумма, истраченная сегодня на вино Юницкому. Вместо ужина применяю испытанное средство – конфеты. Четыре-пять карамелей, которые можно сосать на ходу, запивая водой из графина, на полчаса или даже на час снимают ощущение голода...

У меня две белые рубашки. Но одна сильно грязная, вторая же вполне терпимая, если мокрой ваткой протереть воротник. Жаль, кончился тройной одеколон: он снимает грязные полосы вообще идеально. Рубашка мятая на рукавах и спине, но спереди выглядит хорошо, тем более надеваю я ее на байковое белье, которое она плотно облегает. Серые свои выходные брюки я заблаговременно, еще со вчерашнего вечера, аккуратно положил под простыню поверх матраса. Способ этот не лишен недостатков: можно так повернуться во сне, что смять брюки комком. Но если сложить их умело и заставить себя не ворочаться, спать эту ночь только на спине, то тяжестью тела брюки разглаживаются лучше, чем в любой мастерской бытового обслуживания. Наскоро побрившись холодной водой, я помыл лицо, заклеил порезы обрывками вощеной бумажки, в которую было завернуто лезвие, и заглянул в зеркало. Пока я поправился себе не очень, но знал, что когда сниму бумажки, причешусь и надену главную часть своего туалета, то вид совершенно преобразится. Я почистил сапожной щеткой туфли (воспользовавшись тем, что в комнате никого: во-первых, щетка Берегового, а во-вторых, чистить обувь полагалось на лестничной площадке, значит подвергая себя опасности столкнуться с комендантшей), итак, я почистил туфли, вымыл руки, подошел к шкафу и извлек свой тяжелый, плотный вельветовый пиджак, в котором сразу же исчезла и приобрела иной облик моя мятая рубашка, а за брюки я не опасался: они отлично держали стрелки. Из бокового кармана пиджака я достал зеленый галстук-бабочку, прицепил его, пригладил волосы, снял с лица высохшие бумажки и глянул в зеркало. Как я и предполагал, вид мой совершенно преобразился. На меня смотрел довольно импозантный молодой человек заграничной внешности, одетый с вызовом и даже с известной роскошью. Я достал из-за шкафа трость и глянул на себя снова. Трость вовсе сделала меня необычным и непохожим на остальных. Это была хорошая полированная трость с серебряным орнаментом и надписью: «Привет из Евпатории». Подарила мне ее Ирина Бройда, старшая сестра Цветы Бройды, после того как, обнаружив эту трость однажды у них в доме, я не расставался с ней весь вечер, опираясь на нее, жестикули-

руя ею и незаметно принимая всевозможные позы. Трость эта принадлежала отцу сестер Бройдов, Петру Яковлевичу, неотвратимо слепнувшему уже несколько лет и ныне почти совсем уж ослепшему. Тем не менее, невзирая на столь тяжелую болезнь, был Петр Яковлевич человек веселый, ко мне относился хорошо и мне нравился...

Пройдясь в столь роскошном наряде по комнате, я не выдержал и, нарушая все правила конспирации, вышел в коридор. Я шел наугад, но Витька был дома и играл с Рахутиным в шахматы. В углу сидел их третий жилец, старичок, и что-то выпиливал лобзиком. Царили здесь уют и приятная обстановка, о которой можно было мечтать...

Григоренко и Рахутин встретили меня криками восторга.

– Сила! – сказал Витька, разглядывая мой наряд.

– Ты куда? – спросил Рахутин.

– По делам, – сказал я коротко. – Слышь, Витька?.. Ты насчет того помнишь?.. О чем мы говорили...

– Насчет того, чтоб подмазать в жилконторе? – спросил Витька. – Сунуть в лапу?..

– Ну, ей-богу, – сказал я, – странный ты парень, – и кивнул на старичка.

– Да он глухой, – махнул рукой Витька, – все будет нормально... Тот человек сейчас уехал на два дня... Приедет, оформим.

Успокоенный окончательно, я вышел в коридор и столкнулся с воспитателем Коршем.

– Здорово, – крикнул он мне, – извини, тороплюсь... Вот Адам – сволочь... Сейчас бегай, доставай справку, что он шизофреник... Определенные органы требуют... Знаешь, что он сделал?.. Бегай тут из-за него... Психопомешанного... А у меня ведь сегодня свидание... Девочка – такой я еще не встречал... Говорит со мной по телефону, и от ее голоса я дрожать начинаю...

Хоть мы оба торопились, минут десять все же простояли в коридоре в весьма предосудительной беседе. Так что когда я вернулся в комнату, там уже были Жуков и Петров. Петров мне едва заметно кивнул, Жуков отвернулся. Я наскоро оделся, спрятал трость под пальто и вышел. Лишь на остановке троллейбуса я понял, какую совершил оплошность, кинувшись вниз без подготовки и предварительного наблюдения. Я вполне мог наткнуться на Софью Ивановну или Тэтяну, что, к счастью, не случилось. Но происшествие это заставило меня дать самому себе клятву отныне строго и твердо выполнять все правила выработанной мной тактики.

Глава восьмая

Город наш расположен частично на возвышенности, частично в низине. Если смотреть сверху, со склонов городского парка либо небольшого живописного и старого бульвара, открывается знаменитый вид на реку и прилегающую к ней низовую часть – вид, который спешит увидеть каждый приезжий. Особенно красив этот вид вечером. Тысячи подвижных и неподвижных огней, огни мигают, огни мягко плывут, и по ним угадывается река... Я люблю здесь бывать в теплые вечера, и у меня всегда при этом невольно появляется на лице какая-то улыбка превосходства и чувство гордости собой. Глядя на эту красоту, я ощущаю собственную значительность и необычность, и иногда, когда я стою в одиночестве особенно долго, а вечер не воскресный, по-настоящему тих и по-настоящему тепел, меня вдруг охватывает бесконечно сладкое чувство приобщения к своей «тайне», к своему «инкогнито», к своей идее, которая кажется мне чем-то родственна этой красоте, эти тысячи огоньков кажутся мне небесными звездами, над которыми я возвышаюсь, а подлинные небесные звезды, если вечер безоблачный, теряют свою недоступность при подобной картине... Какой там Михайлов, какой Юницкий, какой говорящий сальности Корш... Все, что меня волнует, пугает, интересуется, все, что даже я люблю, уважаю и чего хочу там, внизу, здесь кажется мне смешным... никто не может стать ровень со мной, и ничего я сюда с собой не беру оттуда... Мелькают иногда какие-то дорогие воспоминания, покойная мать, да и то в конце, когда я переваливаю через высший взлет своего чувства... Отец посещает меня здесь и того реже... Причем не тот подлинный отец, который связан был дружбой с пошляком Михайловым, не тот отец, который родил меня, а тот, которого родил я в своем воображении... Повторяю, даже подобные воспоминания приходят редко и в конце, а на взлете – я со своей идеей, и мир вращается вокруг меня (это называется солипсизм – считать себя центром вселенной). Я узнал научное определение своего состояния, узнал в тот вечер, к описанию которого намерен приступить. Подобное открытие обрушилось на меня тяжелым ударом. То, что моя тайна, мое «инкогнито» оказалось явлением распространенным настолько, что даже имело научное определение, подобно ишиасу или подагре, повергло меня в душевное смятение и едва не погубило идею, а значит, и смысл моей жизни. К счастью, я растерялся ненадолго, нашел противоядие и даже укрепился в своей надежде. Хоть я к своей идее никого не допускаю: ни врагов, ни друзей, – однако есть определенная закономерность в том, что Бройды, семья, где меня любят, живут именно в той части города, где идея моя, хотя бы пока в виде неопределенного символа, является мне. Я не могу себе представить, чтоб здесь располагалось наше общежитие или строительное управление механизации... Общежитий, конечно, здесь немало и управлений разного рода, но это не мое и меня не касается... Вообще низовая часть города считалась, а может, и ныне считается худшей по сравнению с верхней частью. Раньше ее заливали наводнения. Теперь, после современных технических новшеств, наводнения стали реже, но снег по-прежнему не тает здесь дольше, а дождевая вода, несмотря на водостоки, скапливается подчас в довольно больших количествах. Однако мне здесь все нравится, и, имея я выбор, перебрался бы жить сюда. Низовая часть менее разрушена войной и потому более самобытна, лишена стандартов современного скоростного строительства.

Дома здесь старые, либо одноэтажные, с железным крыльцом, либо в несколько этажей, с витыми пузатыми балконами. Улицы не залиты асфальтом, а вымощены стертým булыжником, тротуары вымощены тоже стертой плиткой. Даже крышки канализационных колодцев здесь со старинными надписями через «ять». Здесь много башенок, портиков, арок, приземистых складских помещений, затянутых тяжелыми гофрированными жалюзи, много вывесок частных портных, зубных техников и сапожников. И все это тонет в зелени: сирень и акации во дворах, каштаны вдоль улиц. Низовая часть, в свою очередь, делится на более аристократи-

ческую, бывшую купеческую, расположенную ближе к центру, и менее аристократическую, в прошлом главным образом одноэтажную, вид которой во многом изменен современным строительством. Год назад у меня там был объект на Заводе бытовых автоматов по продаже газ-воды. В путевых листах шоферов в качестве свалки по вывозу грунта указывался всемирно известный овраг, расположенный напротив Завода бытовых автоматов, чуть повыше, по шоссе. В овраге этом лежит почти все довоенное еврейское население города. В грунте часто попадаются человеческие кости. Я сам видел, как окрестные подростки, раздобыв из оврага человеческий череп, пугали им девочек, убегающих со смехом и визгом. Рядом, еще чуть повыше, у кирпичных заводов до революции произошла всемирно известная история – убийство подростка, который найден был в одной из местных глинистых пещер со следами ритуального убийства, приписанного евреям... Местность эта, получившая столь всемирное звучание, хоть и в садах, но всегда какая-то ветреная, пыльная, неудобная, с большим числом строительных объектов, со столовыми, откуда несло даже не борщом, а щами. Заводы здесь были мелкие, но дымные, едкие... Правда, недалеко от оврага, полного костей, располагалась пекарня и фирменная ее булочная, где всегда продавали мягкие булочки, бойко раскупавшиеся. Но я брезговал их покупать... Эта часть города испокон веков служила сосредоточением жителей среднего и ниже среднего достатка, выбившихся из бедности, из окрестных деревень, либо опустившихся сверху, из нагорной части, вследствие разорения, и потому дома здесь были полугородские-полусельские, но всегда лишенные покоя. Жили здесь большей частью люди деятельные и недовольные. Отсюда накатывались вверх до революции и в революцию бунты и погромы...

В основном здесь виды пыльные и скучные. Но есть и замечательно красивые места, особенно когда цветет вишня... Бройды, как я уже говорил, жили в приятном и любимом мной месте, на тихой, мощенной булыжником улице, в сером пятиэтажном доме, на первом этаже... Войдя в подъезд, я вынул из-под пальто трость, оперся на нее и позвонил. Открыла мне мать Бройдов Надежда Григорьевна. На лице ее сразу же появилась радостная улыбка. Я поднял в знак приветствия обе руки вверх, хоть мне и мешала трость (этот жест радости я почерпнул на футболе. Он мне понравился, и я его в определенной приятной обстановке применял, так же как и футбольную разминку – легкое подпрыгивание с ноги на ногу, – придающую мне в моих глазах и в глазах этих далеких от лихостей улицы и спорта людей спортивный и физически крепкий вид). Пройдя коридор, я хотел пройти в комнату, однако навстречу мне выбежала Ира Бройда.

– Я по дверному звонку уже вас чувствую, – сказала она, блестя глазами (мы с ней были на «вы»).

– Ира, почему он сдается, когда приходит? – спросила Надежда Григорьевна.

– Каждый делает то, что ему нравится, – сказала Ира. – Почему вас так давно не было? – спросила она меня, не скрывая радости от моего прихода.

– Дела, – коротко, даже сухо ответил я ей. (Напоминаю, у меня был график, по которому я не позволял себе посещать Бройдов чаще раза в неделю, чтобы не обить отношения.)

В комнате Цвета Бройда, уже одетая в пальто, стояла перед зеркальным шкафом. Муж ее, Вава, тоже одетый, сидел на диване. Петр Яковлевич ел у стола винегрет, по-слепому тыча в тарелку вилкой и подсыпая то перчика, то соли. От вида винегрета у меня свело желудок, и, к стыду своему, я не мог побороть чувство тревоги и досады. Цвета уже в пальто, значит, надо уходить без обеда, на который я рассчитывал чрезвычайно. Этот обед нужен был мне, кстати, и с точки зрения своего генерального жизненного плана, к осуществлению которого я приступал.

Впервые Цвета вела меня в общество, куда я давно стремлюсь. Я умею терпеть голод, но при этом знаю, что становлюсь вял, малоинтересен, ненаходчив в мыслях и даже глуп. Предстать со всеми этими качествами перед людьми, в обществе которых я надеюсь найти себя, – значит лишиться свое «я» серьезных возможностей и преимуществ (в которые я верил. Разуме-

ется, сам я не собирался выказывать свое «инкогнито», свою тайну, но был убежден, что в том обществе это ощущается самопроизвольно).

– Знаешь, Гошенька, – сказала мне Цвета, – еще немного, и мы ушли бы без тебя... Разве можно так опаздывать?.. Приехал Арский (она назвала фамилию очень крупной столичной знаменитости). Приехал Арский, хочет меня видеть.

– Арский? – с невольным удивлением переспросил я.

– А что такое Арский? – саркастически сказал Вава (единственный, кто меня не любит в этой семье, – это Вава. Кажется, он ревнует ко мне Цвету. Смешно. Цвета сутула и худа. Несмотря на свою ущемленность в отношениях с женщинами, а может, и благодаря своей ущемленности, я могу влюбиться только в по-настоящему красивую женщину. Поэтому и влюбленность Иры, не похожей на Цвету, но некрасивой по-своему, позволяет мне лишь обращаться с ней сурово, а не отвечать взаимностью).

– Знаешь что, – повернулась к Ваве Цвета, – какой бы Генка ни был в быту, это личность и назаурядный талант. (Она назвала Геннадия Арского «Генка», и я отметил это про себя с приятностью и восторгом, но не позволил себе этот восторг приобщения к необычному выказать. Да, через знаменитость, названную при мне «Генкой», я начал приобщение к чему-то, во что всегда верил, – к жизни, не похожей на ту, где я ныне прозябал так, как будто пребывала эта жизнь на иной планете.)

– Арский – дутая величина, – с некоторой даже злобой сказал Вава, – недавно ты сама говорила... А сейчас изменила мнение, потому что он тебя обласкал...

– Ты просто завидуешь Генке, – крикнула супругу Цвета, – а что касается «обласкал» – то когда Генка видит меня, бежит сразу навстречу... Если даже видит на другой стороне улицы... Всегда... (Кажется, Вава нащупал какое-то больное место своей жены. Более он уже ничего ей не говорил, а, удовлетворенный, попавший в цель колкостью, улыбался, показывая лошадиные зубы.)

Однако тут в дело вмешался добрейший Петр Яковлевич, который буквально преобразился, слушая своего зятя.

– Вы когда-нибудь клопов давили? – резко спросил он, подняв свою слепую голову. (Вопрос этот мне непонятен. Очевидно, между ними уже был разговор, содержание которого я не знаю. Вопрос этот связан, вероятно, с тем разговором.)

Вава сразу перестал улыбаться и крикнул, вскочив:

– Если бы вы не были слепы...

– Это единственный плюс в моей беде, – сказал Петр Яковлевич, – то, что я вас не вижу...

Вдруг Цвета, совершив в своих чувствах полный поворот, вызванный излишней откровенной резкостью отца, вступилась за мужа.

– Не ходи к ним, – сказала она Ваве, – зачем они тебе нужны?.. (Цвета и Вава жили отдельно от родителей.)

– Не надо вмешиваться, Бройда, – сказала Надежда Григорьевна (она своего мужа звала по фамилии), – ты ведь видишь, к чему это приводит. – Очевидно, в волнении она высказалась неточно, сказав слепому «видишь». При желании это могло быть истолковано в обидном смысле, и Вава немедленно воспользовался подобной оплошностью, громко засмеявшись.

– Возьми своего мужа и уходи, – всплыв, сказала сестре Ира.

Это не входило в мои планы и напугало и обозлило меня (на Иру я мог злиться, чувствовал такое право), но тут же на помощь мне пришла Надежда Григорьевна:

– Ира, ты тоже перестань вести себя как злая соседка, а не как сестра... (Надежда Григорьевна в младшей своей дочери Цвете души на чаяла, гордилась ею и собирала все вырезки, где упоминались ее сочинения, не говоря уж о самих сочинениях.)

– Пойдем, Гоша, – сказала мне Цвета.

– Гоша должен поест, – сказала Ира.

– Мы опаздываем, – сказала Цвета.

Теперь прежде всего я должен сказать о своем состоянии во время семейного скандала, который я наблюдал здесь впервые (бывали они, как я понял, и раньше, но не в моем присутствии). Странно, но он был мне приятен. Не тем, конечно, приятен, что эти люди, которых я привык видеть улыбающимися и любящими, вдруг рассорились и предстали в ином качестве. Скандал этот, носивший домашний, бытовой характер, но разгоревшийся вокруг бытовых взаимоотношений с всесоюзной, а может, и всемирной знаменитостью, причем в моем присутствии, поднимал меня в моих собственных глазах на новую ступень общественной лестницы, и я становился участником событий, которые к моей прежней ничтожной жизни доходили лишь в виде обрывков анекдотов и сплетен.

– Идите, Гоша, мыть руки, – сказала мне Ира, и я подчинился с неприличной поспешностью, интуитивно чувствуя, что без обеда мне уходить никак нельзя, поскольку уже сейчас переставал от голода логически мыслить.

Я разделся, помыл руки и в ожидании обеда прошелся по комнате, опираясь на трость. Скандал как-то быстро утих, и каждый занялся собой. Вава углубился в газету, Петр Яковлевич, наверно от пережитого волнения, неточно попадал вилок в винегрет, иногда скользя по краю тарелки. Цвета сняла пальто и сказала:

– Ну, лопай, Гошенька... Они ведь тебя любят больше, чем родную дочь... И сестру... Особенно эта старая дева...

У меня испуганно екнуло сердце после «старой девы» в ожидании нового скандала. Ире уже тридцать шесть, но она не замужем. Однако на «старую деву» она не оскорбилась, а, наоборот, улыбнулась.

Странные у них отношения.

– Только трость оставишь здесь, – сказала мне Цвета, – там общество не аристократическое...

С Цветой меня познакомил мой земляк, ночевавший в позапрошлом году у меня на койке, в общежитии. Он учился с Цветой в столице, и там у нее была какая-то скандальная история, папахивающая чуть ли не политикой. Через Цвету я и попал в семью Бройдов, где позволял вести себя как баловень, несколько лениво, чуть развязно, и позволял себе подтрунивать над Ирой, получая и от этого странное удовольствие, а иногда даже над Надеждой Григорьевной, тут, разумеется, в определенных рамках. Интересно, что я был доволен, когда не заставлял Цвету (не говоря уже о Ваве, который просто портил мне настроение, при Ваве я считал свое посещение несостоявшимся). Однако Цвета, которая считалась моей главной знакомой и с которой нас связывали общие духовные интересы, лишала меня своим присутствием подлинной радости в этом единственном месте, где я позволял себе даже капризы. В этом доме я занимал странное положение полугостя-полуприемыша, причем приемьша своего нравного и любимого, которому позволено лишнее. Присутствие же Цветы, любимой дочери, не менее меня здесь капризной и своенравной, как бы отнимало у меня значительную часть внимания Надежды Григорьевны и Петра Яковлевича (особенно Надежды Григорьевны), и я начинал ловить себя на том, что испытываю что-то вроде смешной и глупой ревности: я чувствую, как ревную родителей Бройдов к их родной дочери... С другой стороны, отсутствие Иры также ухудшало мои возможности: что-то пропадало в моих взаимоотношениях со стариками Бройдами (им обоим было лет под шестьдесят), исчезала какая-то обязательность моего присутствия и вдруг появлялись какие-то отзвуки моего пребывания в семье Чертогов – отзвуки приживала, разумеется самые отдаленные, может быть, внушенные мне самим собой, которые совершенно искренне никто, кроме меня, не чувствовал.

Но за годы моей «висячей» жизни у меня на этот счет выработалось удивительное чутье, как у канарейки к угару. Я это чувствовал по таким ничтожно меркантильным деталям, даже деталечкам, как плохо подогретый вчерашний суп, или по тому, например, если они, когда я,

желая проверить их ко мне отношение, брал книгу и, насупившись, садился в угол, очень скоро обо мне забывали, занимаясь своими делами. А уж о том, чтоб покапризничать или подразнить Надежду Григорьевну, то у меня на этот счет все мысли пропадали. Совершенно по-иному ухудшалось мое пребывание, когда я заставлял Иру одну, без родителей. Я, правда, даже усиливал капризы и передразнивания, однако рано или поздно наступали некие паузы весьма щекотливого характера, которые я с нервной торопливостью пытался замять новыми капризами и передразниваниями, звучащими, однако, неестественно. Так что лучше всего было, когда присутствовали родители и старшая их дочь Ира (так оно чаще всего, кстати, и случалось), тогда я чувствовал себя особенно раскованно, свободно, лениво и ел прекрасные ароматные обеды (в моем бюджете они, эти обеды, занимали серьезное место, и, распределяя деньги на месяц, я попросту на них рассчитывал, пусть это и звучит грубо и выставляет меня ловким дельцом и человеком голого расчета даже в отношении моих друзей).

Во время угрызений совести и так называемого духовного самотиранства (такое случается со мной, иногда даже без повода или от настолько ничтожного повода, что и приводить нелепо), во время подобных приступов пессимизма я думаю и о моей искренности в отношении с Бройдами. Окончательно я себя не оправдываю, но нахожу смягчающие обстоятельства. Во-первых, я действительно искренне рад их видеть и, не существуя моего графика, рад бы видеть их ежедневно. Что касается обедов, то зарплата моя невелика, премию я получил раз за три года, к тому же, будучи человеком твердого характера и экономным, каждую лишнюю копейку старался придержать, что особенно важно ввиду моего неустойчивого положения и зависимости от разнообразных покровителей...

Сейчас, съев полную тарелку великолепного овощного супа с клецками, я приступил ко второму, незаметно ощупывая вилкой под грудой дымящегося картофеля мясо, чтоб знать, в каких пропорциях, то есть кусках, его распределить с картофелем. Даже если б беловато-желтый выступ был костью, то и тогда мяса оказалось бы столько, сколько в трех по крайней мере столовых порциях. Но, прощупав вилкой, я убедился, что и этот выступ был не костью, а мягким, клейким хрящом с прожилками жира. Три столовых порции почти покрывали мои издержки на вино Юницкому. Я как бы перебрасывал часть моих расходов на Бройдов. Но все-таки и этим прибыль моя не кончилась. На третье Ира принесла тарелку, вернее, крупное блюдо, полное варениками с капустой. Я люблю их более традиционных вареников с творогом...

Когда меня угощают вкусным обедом, особенно на голодный желудок, в душе появляется чувство глубокого умиления и жгучего желания сделать для этих людей что-либо по-настоящему хорошее, желание благодарности, которое превзошло бы все ожидания. Никогда ни по какому другому поводу я не испытываю подобной признательности и благодарности, а между тем жизнь научила меня ценить любой поступок, идущий мне на пользу, поскольку в этом городе ни один из подобных поступков не был сделан по необходимости, но исключительно по доброй воле людей, ничем мне не обязанных. Обеды Чертогов, например, я воспринимал с большей благодарностью, чем их ночлег, что было нелогично, поскольку пообедать я мог бы, в конце концов, и в столовой, несколько потратившись, ночлег же мне было найти негде. Очевидно, благодарность за обед возникала под воздействием момента и физиологического состояния организма, в благодарности за ночлег уже участвовал разум, а следовательно, и скептицизм. Сила этой физиологической благодарности организма (назовем ее так) иногда доходила до того, что в высший момент наслаждения, когда голод еще боролся с сытостью и не наступало чувство удовлетворения, я ловил себя на желании поцеловать руку, дающую еду, желании диком, собачьем каком-то желании, причем бесправных дворовых собак.

После удовлетворения голода и появления тяжести в животе разум мой, до того ведущий расчеты, которых я стыдился, пытался помочь уязвленному самолюбию, также пробуждающемуся от сытости, однако все это лениво и несмело, так что подобные борения приводили

к нескольким мрачным минутам над пустыми тарелками... Чувство («физиологической благодарности») шло на убыль гораздо быстрее, чем возникало, а нравственно казнил я себя за него редко, почти что никогда. Я говорю о том с такой осторожностью потому, что был как-то случай, когда под воздействием этого постыдного чувства я совершил некое реальное движение (вот движение – уже непростительно) и после этого действительно испытал муки стыда... Однако случилось это, к счастью, не у Бройдов, и не у Чертогов, и не у Михайлова (я у него три раза обедал), а у совершенно иной моей знакомой – Нины Моисеевны, квартирохозяйки бывшей моей школьной знакомой, которая в этом городе оканчивала мединститут. Соученица окончила институт и уехала два года назад, но у Нины Моисеевны я еще некоторое время бывал, пока однажды, набегавшись, наголодавшись и устав, придя в ее уютную, теплую комнату, чуть не совершил свой нелепый собачий поступок. Бывать я, конечно, у нее перестал, тем более вскоре появились Бройды, так что каждая неудача улучшала мое положение.

Глава девятая

Доехали мы с Цветой и Вавой на трамвае. Платил Вава. Я вел себя не совсем благородно и мучился этим. Еще на трамвайной остановке я стал рассеян, думая о складывающихся обстоятельствах. Два лишних билета равны бублику или булочке. С кипятком это уже легкий ужин. Более того, будь я один, вполне мог, судя по адресу, дойти пешком. Хоть и вверх, но зато по хорошему тротуару, освещенному так, что не было опасности удариться о камень и разбить туфли (чего я чрезвычайно боялся). Вообще, обувь – мое самое больное место. Порвись рубашка, я могу сам ее зашить или заменить другой. Обувь не зашьешь, и, порвись туфли, придется носить рабочие сапоги. Значит, я буду ограничен районом общежития, а при нынешних обстоятельствах бывать там днем мне нельзя. Тем не менее я все-таки чаще хожу пешком, если такая возможность есть. Хожу и ругаю себя за это, поскольку веду себя как начинающий шахматист, не умеющий смотреть на два-три хода вперед. Стирание подметок, не говоря уже об опасности разорвать туфли, превышает в конечном итоге стоимость трамвайных и троллейбусных билетов, но покупка билета – это ведь реальные сегодняшние потери, и я не нахожу в себе силы психологически их преодолеть. В этом есть и свой резон. Ежедневные траты, которых можно было бы избежать, то есть не предельно необходимые, ведь также оказывают психологическое воздействие и уменьшают способность организма к максимальной собранности. Даже при подобном темпе затрат мне отпущено не более пяти месяцев, чтоб, сидя на сберкнижке и не рассчитывая на новые поступления, добиться перелома в своей жизни. Вот почему, сам ощущая неблагородство своего поведения, я разработал на трамвайной остановке и осуществил план уклонения от оплаты проезда. Когда подошел трамвай, я начал смотреть по сторонам, словно кого-то увидел, так что даже Цвета меня окликнула. Тем временем, как я предполагал, Вава наткнулся на кондукторшу и расплатился. Беда была лишь в том, что Вава, кажется, понял мое поведение.

– Ты чего? – удивленно спросила Цвета, когда на ее оклик я побежал и вскочил на подножку (вскочил чрезвычайно рискованно, едва не поскользнувшись, и когда трамвай уже тронулся).

– Показалось, знакомого увидел, – сказал я.

– Странный ты, Гошенька, – сказала Цвета, – мы опаздываем, а ты ищешь знакомых.

И вот тут Вава как-то нехорошо улыбнулся, посмотрев на меня, и намотал три купленных им билетика на палец. Меня даже в пот бросило. Я чрезвычайно стыдлив, если какая-то моя ложь и внутренняя нелепость обнаруживаются. Поэтому я не люблю людей, которые понимают некоторые тайные движения, а такое случается, если эти люди в подобных тайных движениях хоть чем-то похожи на меня. Вава похож. Жизнь у него совершенно иная, но он также тщеславен, правда открыто и требовательно, и в то же время, как и я, нуждается в помощи, впрочем получая ее от родной матери и тетки, которые его любят, то есть эту помощь обязаны ему оказывать как благодеяние. Вава ее, наверно, не ощущает... Он окончил университет, но не работает, не знаю почему, и, так же как и я, нуждается материально. Уверен почти, что на трамвайной остановке он внутренне тоже уделил внимание вопросу об оплате за проезд, может, конечно, не так тщательно, как я. Предположение, что Вава понял мою нелепую копеечную ложь, испортило мне настроение, и, лишь прибыв на место и войдя в подъезд, я сразу как-то избавился от этого чувства (со мной такое бывает), начав, наоборот, ощущать некое торжественное волнение. Этому способствовал и сам подъезд, где ощущалась зажиточность жильцов. Было тепло, чисто, пахло вкусно, но не чем-то определенным, а именно зажиточностью, которую я уважал. (Есть тип бедных молодых людей, которые ненавидят зажиточность. Я же, при всем своем тщеславии, испытываю перед зажиточностью даже некую почтительную растерянность.)

Лифтерша, с сытым, добрым лицом, отложив вязальные спицы, спросила нас, на какой этаж и к кому. Мы поднялись в лифте с полированными стенками и зеркалом, вышли на лестничную площадку. Цвета позвонила у обитой кожей двери. Открыла нам женщина лет пятидесяти. (Как выяснилось впоследствии – прислуга, но на серьезных правах в доме.) С Цветой она поцеловалась. Тут же вертелась большая сильная овчарка (также признак зажиточной и полной излишеств жизни). Я снял пальто, шапку и осторожно поправил перед зеркалом галстук-бабочку из зеленого матового шелка. В моем распоряжении были считанные секунды, чтоб найти выражение лица (внешний вид мой меня удовлетворил и не вступал в противоречие с роскошной передней, с ее зажиточными излишествами, рогами оленя и золотистыми обоями). Надо было немедленно убрать с лица восторженность, кстати вполне искреннюю, но оглупляющую меня. Убрать ее можно было испытанным средством – слегка циничной улыбкой, которая, однако, в конкретном моем нынешнем состоянии была опасной, поскольку в сочетании с блестящими по-детски глазами придавала лицу театральность и портила даже его внешние черты (я считал себя красивым). Поэтому лучше всего моменту соответствовала рассеянная грусть, которая могла бы побороть блеск глаз – следствие нелепо бьющегося в волнении сердца. Блеск глаз скрывал мысль. Мысли – вот чего не хватало моему лицу. Это было обидно, поскольку я догадывался, что рано или поздно Цвета поведет меня в общество, где мне могут представиться серьезные возможности проявить себя и одним ударом изменить свою жизнь. Догадывался и готовился, понимая значение первого впечатления. Оно либо является положительным стимулом, либо ты должен быть семи пядей во лбу, чтоб переломить его, если оно негативно. Все манипуляции перед зеркалом я, разумеется, проделал мгновенно, однако так и не пришел к окончательному решению и поэтому не знаю, как выглядел, знакомясь с хозяйкой – молодой женщиной, красота которой могла внушить робость. Тем не менее я быстро нашелся и поцеловал ей руку, впервые в жизни прикоснувшись таким образом губами к телу красивой женщины (Вава это понял, будь он проклят). Однако хозяйка отнеслась к моей смелости бытово, как к должному. Мы прошли в комнату. Я сразу узнал Арского, хотя в комнате было много народу (его снимки часто печатались в периодической печати). Глянув на него, я понял, как устарел мой наряд с галстуком-бабочкой, который давил мне горло, и тяжелый пиджак, в котором мне было жарко. Я помню снимок Арского, правда позапрошлого года, где он был в галстук-бабочке. Но ныне он сидел в расстегнутой у ворота рубашке из тонкой шерсти и в маленьком, казавшемся ему тесным (но в этом и был шик) темно-песочном пиджаке.

В комнате стоял длинный стол, накрытый клеенчатой скатертью в зигзагообразных линиях. (Термин «абстрактный рисунок» я узнал позднее.) Стояло несколько столов, составленных вместе. За столом сидело человек двадцать, и среди них несколько молоденьких женщин и девушек. Одной было не более шестнадцати – кстати, самой некрасивой. Все остальные были красивы чрезвычайно. (Тем не менее ни одна не шла в сравнение с хозяйкой.) Несмотря на такое обилие народа (что не соответствовало моим планам, ибо интуитивно я ощущал в этом скопище немало соперников, желающих проявить себя и привлечь к себе внимание Арского), несмотря на обилие народа, Арский сразу заметил Цвету и, улыбувшись, приветствовал ее. Это меня обрадовало, так как я был с ней и внимание Арского выделяло и меня из массы. Но далее события начали развиваться вовсе не по плану. Я надеялся, что Цвета представит меня Арскому, а она в ответ на его приветствия, как бы получив на то право, начала пробираться к Арскому, сидевшему в углу. Пробиралась она, я бы сказал, с чрезмерной твердостью, тряся стулья сидящих у нее на пути. Вава также последовал за Цветой. Я остался один, не зная, что предпринять и в какой степени я имею право на обиду. Но тут же был вознагражден и выведен из трудного положения, причем в прямом смысле выведен хозяйкой, взявшей меня за руку нежными своими пальчиками и улыбувшейся мне такой улыбкой, от которой с сердцем моим произошло нечто странное и перед чем казались смешными и жалкими все самые удачные и смелые интимные мечтания. Взявши меня за руку, хозяйка (ее звали Гая)

повела меня в дальний конец столов, усадила (кожа моя сохранила память о ее прикосновении) и ушла встречать новых гостей, которые, судя по звонку в передней, появились. (Я уже заранее ненавидел их как соперников, отвлекающих внимание Арского и Гаи.) Гая вернулась сразу с двумя гостями (они не составляли компании, случайно пришли одновременно). Один из гостей был лет сорока, седой блондин (блондины седеют весьма своеобразно и красиво). Второй, пожалуй, моложе меня и по виду страдающий какой-то хронической болезнью, с землистым курносом лицом и красными веками. Блондина Гая усадила в середине столов, а курносого взяла за руку, как и меня, и, улыбаясь ему, повела в наш конец, усадила на стул. Меня это неприятно поразило. Настроение снова начало портиться. Я хотел поймать своим взглядом мягкие, как бархат, карие глаза Гаи, но она не то что избегала меня, просто, захлопотавшись, ходила мимо, стараясь угодить каждому гостю. Я огляделся. В нашем конце не было ни одной женщины, из мужчин же никто, кажется, не был меж собой знаком, так что взаимоотношениям еще предстояло сложиться. Подумав, я нашел свое положение не только справедливым, но и полезным, так как мог исподволь ознакомиться и составить внутренний план действия, нащупать нерв компании, – каждая компания, даже случайно возникшая, имеет свой нерв, то есть свои правила поведения, свои вкусы и особенности, которые устанавливаются как-то негласно, но не являются средневзвешенным всей компании, а, скорее, суммируют оттенки борения меж собой наиболее ее выдающихся членов, к которым другие должны подстраиваться. Но в нашей компании, по моему предположению, Арский был не в счет, он как бы существовал над ней в качестве судьи. Значит, надо было нащупать борющиеся стороны помимо Арского, однако, пожалуй, в его районе, где находился эпицентр компании.

Мысли мои и расчеты прервала прислуга в хорошем шерстяном платье, которая внесла блюдо весьма аппетитной селедки с луком и поставила это блюдо на наш конец стола. Вообще вся еда, кстати чрезвычайно вкусная, стояла в нашем конце. Здесь были два блюда дымящегося картофеля, маринованные грибочки, колбаса сервелат, огромная миска салата из яиц, картофеля, горошка и майонеза. Стояла также бутылка водки, две бутылки коньяка, яблочный сидр и много хлеба в плетеном блюде. В районе Арского стояла только бутылка легкого вина, ваза крепких зимних яблок и коробка шоколадных конфет.

– Передайте, пожалуйста, грибочки, – сказал кто-то.

Я повернулся к говорившему. Это был курносый. Я передал. Потом сам попросил картофеля. Мы начали есть, за едой и начали составляться взаимоотношения. Водку я не люблю, но сейчас выпил с удовольствием. В конце Арского также все оживилось. Кроме того, я заметил, казалось бы, небольшую мелочь, которая тем не менее окончательно опровергла очередное нагромождение неприятных мыслей. А именно: за нашим концом, почти рядом со мной, сидел полный парень моего возраста, причем одетый в шерстяную рубашку не хуже, чем у Арского. Они с Арским несколько раз переговаривались прямо через стол и называли друг друга по имени (полного звали Костя). Значит, понял я, никакой пропасти между двумя концами стола не существует и никакой обидной предвзятости в распределении мест за столом не существует. Оживление между тем все больше увеличивалось.

– Но, милый мой, – сказал вдруг Арский громко (это, очевидно, было темпераментным продолжением спора, который велся в том конце стола уже давно, однако вполголоса), – но, дорогой мой, – снова сказал Арский, – в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году у нас впервые появилось общество и общественное мнение.

– Ну понятно, – сказала одна из красивых женщин, сидевших недалеко от Арского, – с двадцать седьмого года общество перекочевало в концлагерь...

Арский глянул на красавицу быстрыми, совершенно изменившимися, приобретшими какую-то дикость глазами.

– Наше общество погубило себя добровольно, – сказал он, – во имя великих целей, как оно думало.

– Позвольте, – нервно выкрикнул некто в очках, причем с нашего конца стола, – вы что ж, под общую реабилитацию хотите и Сталина подвести?.. Что значит добровольно? Наше общество умерло от пыток... Причем не каких-либо утонченных... До этого мы еще не дошли в своем развитии... Нашему обществу просто проломили голову табуретом... Как это делали при Иване Красное Солнышко... То есть, я хотел сказать, при Иване Грозном и Петре Первом...

Как-то быстро, почти мгновенно, создалась за столом взвинченная, напряженная атмосфера. Говорили сразу несколько человек. Я был вознагражден: чувство, испытанное мной у Бройдов, когда я присутствовал при ссоре вокруг имени Арского, ныне получило дальнейшее развитие. Я слушал с удовольствием, сжимая под столом кулаки (у меня есть такая привычка, когда я испытываю переизбыток радостной энергии, которой не могу дать выход). Я впервые слышал эти страшные, радостные до жути, смелые споры, о которых ранее лишь доходили ко мне слухи. Сидя за столом, я испытывал буйно-радостное революционное чувство оплевывания бывших святынь.

– Не следует путать экономику с нравственностью, – говорил седой блондин, подобным началом привлекая к себе всеобщее внимание. (Я сделал для себя открытие, вернее, я знал это и ранее, но не сосредотачивался на этом. А между тем главное – начать... Если найти удачную фразу, необычную, очень умную, очень острую, очень даже нелепую, но главное «очень»... Позднее можно молотить и чепуху, тебя будут слушать.) – Крепостное право экономически было необходимо России, – говорил блондин, – но нравственно ему нет оправдания... Вот где основа трагедии...

Нервное напряжение первых минут спора несколько спало, разговор переходил в выгодное для меня русло публичного обнаружения собственной личности. Я начал обдумывать мысль, с которой должен был начаться мой триумф, а может, даже и личная дружба с Арским. Лучше всего сказать что-либо дурное о Сталине, но только если оно необычно и заключено в своеобразную форму, поскольку просто дурным о Сталине теперь не удивишь. Одна из ниточек в этом направлении – мой отец, тюремная смерть которого, висевшая надо мной позором, ныне вдруг становилась не менее почетной, чем смерть на фронте. (До живого тела святынь тогда еще не дошло, и оплевывание вечных ценностей началось позднее, и такие древние античные слова, как, например, «героизм», «оптимизм», или такие библейские, как «идея», «авторитет», «вера», – такие слова еще были в цене, даже в самых смелых компаниях.)

– Культ ставит все дразги между людьми на политическую основу, – говорил друг Арского, Костя.

«Я вполне мог бы высказать эту мысль, – с досадой думал я, – как просто сказал и привлек внимание... А на что оно ему?.. Он и так с Арским на „ты“...»

– Влюбленность ничего не имеет с любовью общего, – сказал парень в центре стола, – так же как физически разные проявления – смех и кашель... Смех может перейти в кашель, а вот кашель в смех – такое редко бывает...

«Это что-то из другой оперы, – подумал я, – значит, и так можно... Впрочем, я прослушал начало... Очевидно, оно связано как-то с культом».

– А вот, например, стихи удивительно своеобразные... – крикнул Вава (он сидел рядом с Арским). – «В тот вечер, хмурый и осенний, лежали рядом я и ты... И друг на друга, точно волки, урчали наши животы...»

– Ну, это уже литературное хулиганство, – сказала одна из красивых женщин (некрасивой шестнадцатилетней девочке стихи, кажется, понравились: она радостно взвизгнула).

– Верно, – вынес приговор Арский, – отвратительное словоблудие.

– Я, собственно, не говорю, что они хороши, – пробовал ретироваться, сохраняя достоинство, Вава, – я их привел как образец...

«Хорошо тебя отщелкали по носу, – злорадно подумал я, – нет уж, так нелепо я не вылезу... Лучше уж промолчу весь вечер и уйду не замеченный обществом... А жаль... Воз-

можность есть, чтоб сказать что-либо удачное... необычное... Вот, например, у нас в обществе это любят... Несколько раз „на телевизоре“ начинался разговор о политике, и все рабочие, как один, ругали Хрущева, а о Сталине говорили с почтением... Сталин войну выиграл и каждый год снижение цен делал... На Рахутина, который пробовал возражать, так накинулись, что он еле ноги унес».

– Мало ли что пишут, – крикнул кто-то рядом, – в тюрьмы сажал... А на то и власть, чтоб сажать...

«Конечно, мне не надо так примитивно высказываться, а со своим критическим к этому отношением... И в то же время поставить как бы вопрос, адресуя его непосредственно Арскому...»

– «Какая-то жизнь пролетела по комнате, – начал читать нараспев без предупреждения Костя, – ни муха, ни моль, ни комар, ни жучок... А нечто иное, живое и маленькое...»

Вдруг его голос дрогнул, он замолк, прикрыл глаза и залпом выпил полстакана коньяка. Встала Цвета. Весь вечер (впрочем, давно уже была ночь) она сидела молча и в непосредственной близости от Арского, но далее, чем Вава, и как-то неудобно, на углу стола. Она встала, некрасивая, близорукая, сутулая, и сказала:

– Мне передали подстрочник одного из недавно умерших поэтов. Он прожил на свободе три месяца с небольшим... Я сделала перевод... – Она начала читать: – «Я видел убийцу, он шел мне навстречу, в зеленом, застегнутом наглухо френче. Он бил сапогом мои ноги больные, и тонко звенели подковы стальные...» – Цвета читала нараспев, по-современному, модерно, однако тишина воцарилась вдруг за многоликим, полным внутреннего самолюбия и соперничества столом.

Стихи не были отмечены талантом, но в них были кусочки живой боли, и к тому же Цвета несколько придала им литературный порядок. Арский встал и расцеловал Цвету в обе щеки. Раздались аплодисменты. Правда, наряду с аплодисментами раздались и отдельные критические замечания в адрес некоторых строк. Но на меня эти замечания не возымели действия. Я был настолько переполнен чувствами, что потерял осторожность и, лишь сказав уже несколько фраз, понял, что высказываюсь, причем без подготовки, не упорядочив мысли, достаточно примитивно их формулируя.

– А у рабочих, например, – говорил я, – Сталин по-прежнему любим... Сталин для них генералиссимус, который Гитлера разгромил и Берлин взял...

Я чувствовал, что говорю в полной тишине и все смотрят на меня, в том числе и Арский. Я хотел было обрадоваться, поскольку далее начинало у меня складываться довольно интересное продолжение и план, можно сказать, неожиданно начинал осуществляться самым лучшим образом. Но какой-то в очках в середине стола (в нашем конце стола тоже сидел человек в очках, чем-то они даже похожи, оба одинаково горячи), но в данном случае этот в середине стола вдруг крикнул:

– Да что же это такое... У меня семья разрушена... Меня гноили... У меня легкого одного нет... А вы здесь Сталина восхвалять... Мерзавец! – припадочно крикнул он мне (я страшно боюсь припадочных и теряюсь перед ними). – Мерзавец! – заваливаясь на стул, повторил очкастый.

Это была катастрофа. Я слышал, как Вава сказал Цвете громко:

– Я тебя предупреждал... Не надо было приглашать провинциала... А ты на своем... Теперь облизывайся...

Цвета сидела отвернувшись.

– Вы меня не поняли, – испуганно залепетал я очкастому, которого каплями отпаивала Гая, – я сам против Сталина... То есть мои взгляды противоположны... У меня самого...

Арский посмотрел на бледное лицо очкастого и раздраженно махнул на меня рукой.

– Хотя бы сели, – сказал он мне с неприязнью.

Это была уже не просто катастрофа, а полный конец. Дорога к новой жизни, на которую я так надеялся, отрезалась если не навсегда, то надолго. К тому ж я опасался, что после произошедшего порвется моя связь с семьей Бройдов. К счастью, раздался звонок и вошел новый гость. Он был пьян и бедно, неряшливо одет, однако пошел к Арскому, и они обнялись. Потом он опустился на колено перед Гаей и публично поцеловал ей ногу (ему и это было позволено. Чувствовалось, что он здесь баловень).

– Аким, – радостно крикнула шестнадцатилетняя, – прочтите про троллейбус.

Аким (оказывается, нового гостя звали Аким) посмотрел на девушку и, стоя посреди комнаты, начал басом (неожиданно басом. Я был уверен, что у него фальцет):

– «Я попал под троллейбус, на улице имени Ленина... Я попал под троллейбус, но выдюжил... Вот я живой...»

– Не надо, Аким, – сказал Арский.

– Что, – побагровев, крикнул Аким, – в придворные выбился?.. (В последнее время в этой комнате чрезвычайно кричали.)

– По-моему, ваши вирши элементарно непристойны, – сказал Аким седеющий блондин.

Гая поспешила замять скандал:

– Просто, Аким, здесь присутствуют и чужие...

– Ваш солипсизм, – не унимался седеющий блондин, – ваше желание доказать, что мир вертится вокруг вас, смешно и наивно...

Это был тот самый нравственный удар, о котором я уже упоминал. Направленный не в меня, он поразил мою тайну, мою идею, оказывается, не оригинальную и имеющую даже научный термин. Я был настолько удручен, что не заметил вначале, как в дело вклинилось новое действующее лицо.

Глава десятая

Собственно, оно было не новым. Речь идет о том самом курносом, который сидел рядом со мной и даже просил меня передать ему блюдо с грибочками. Но был курносый настолько болезненно-ничтожным, что я его в расстановке сил за столом во внимание не принял (хоть разок, кажется, мельком отметил, что курносый находился в протесте то ли к компании в целом, то ли к отдельным ее членам).

– Мне хотелось бы высказать мысли иного плана, – продолжал курносый, когда я обратил на него внимание. – Тридцать лет мы жили в России без правды, без этого национального русского блюда, такого же сытого и лакомого, как черный крестьянский хлеб... Пора быть честным... Время пришло. – Он говорил, странно запрокинув свое болезненное лицо, ни на кого не глядя, убежденно и страстно, и в короткий срок приковал к себе внимание. – Не знаю, как лучше начать, – говорил он, – может, для завязки прочесть басню... Но беда в том, что первые ее строки не совсем литературно оформлены... Хоть можно их и своими словами... Речь в них идет о земле, вернее, о поле, где каждый клочок полит потом наших предков и каждый злак добывается тяжелым трудом... Так вот, на это поле, калеча тяжелый крестьянский труд, забирается коза... Далее у меня переписано... Я прочту, – он вынул бумажку из бокового кармана, распахнув пиджак, так что я увидел довольно рваную подкладку и с горечью подумал, что курносый явился сюда с той же целью, что и я, а именно завоевать общество, – так вот, – продолжал вдохновенно курносый, – «...кот Фома, сторож, хватает эту козу за загривок... Но... Сия коза не из простого роду. Она кормилицей была известной отрасли еврейского народа. Савицкий Меир с Голдою своей и целой кучею детей козы той молоком питался, народ еврейский ею размножался. Но кот Фома не знал, что та коза была столь знаменита. Он за рога ее поймал. В участок потащил открыто. Как вдруг (представьте сторожа испуг), как шавка, в него вцепилась Малка. Явилась Голда вслед за ней, бросая молнии из очей. За Голдой выскочила Хая. За Хаей Сура, Хана, Шая, за ними Меир, Янкель и Абрум, и поднялся великий гвалт и шум...»

Думаю, курносый дочитал, пользуясь исключительно элементом внезапности. В обществах такого рода публичный честный антисемитизм вряд ли мог принести успех. В подобных антикультуровских обществах, наоборот, публичное бичевание антисемитизма служило способом самоутверждения. И действительно, едва прошла первая шоковая минута, как, не стовариваясь, человек пять вскочило одновременно. В их числе Арский, Вава, сидящий блондин, один из очкастых (не мой враг, который, очевидно, произошедшим был парализован, а тот очкастый, который спорил с Арским об обществе). Все они устремились к курносому, но, помоему, не понявшему реакцию на свою басню и по-прежнему стоявшему с бумажкой в руках. Я же сразу сообразил, что они хотят дать курносому пощечину, но, лишь когда это произошло, ужаснулся своему глупейшему поведению. Я сидел с курносым рядом и вполне мог дать ему пощечину сам, опередив остальных. Это был вернейший способ одним ударом (причем в прямом смысле) поправить свое положение в обществе, подмоченное моими неудачными рассуждениями о культе. Причем это был честный способ, так как я испытывал к курносому с самого начала презрение, еще до чтения басни.

Ближе всех к курносому из тех, кто сообразил и не стерпел, сидел очкастый, но дотянуться рукой до щеки курносого он не мог, завязнув ногами под столом и подпираемый плечом дремавшего в опьянении поэта Кости. Очень умело и гибко кинулся сам Арский, пружинисто перепрыгнув через стул. Однако в узком месте возле шкафа он столкнулся с Вавой, составившим конкуренцию самому Арскому. От двери бежала к курносому Гая, единственная женщина, решившаяся на прямые действия. Но первым возле курносого оказался сидящий блондин, шагнувший к нему просто и несуетливо. Он широко размахнулся своей крепкой ладонью народного интеллигента, имеющего рабочих и крестьян в самых ближайших поколе-

ниях. От этого широкого размаха не только на курносого, но даже и на меня, сидевшего рядом, повеяло ветром, и курносый невольно втянул голову в хилые свои, болезненные плечи. Однако дал пощечину все-таки не блондин, а некий иной молодой человек, одетый с бедной роскошью в какую-то толстовку и пестрый, явно единственный, выходной галстук. Этого молодого человека я не замечал ранее, что лишь говорило в его пользу и лишней раз выставляло передо мной глупость моего поведения. Этот молодой человек, безусловно, как и я (с первого взгляда узнаю своего брата, будь он проклят), этот молодой человек, безусловно, нуждался в протекции, в переломе своей жизни, но не влезал, подобно мне, в безрассудные разговоры, а терпеливо ждал своего часа. Зато, когда этот час настал, он сумел собрать всю свою энергию в кулак (именно правой руки) и буквально выложиться, выскочив в последнюю секунду из-за спины замешкавшегося на широком размахе блондина, и ударил резко и коротко, но довольно ощутимо, так, что курносый даже пошатнулся. И при этом как-то взрывом, громко захохотал Аким. Блондин в досаде опустил руку (вторую пощечину подряд в приличном обществе давать не положено, это уже избиение или драка). Набежавший в то же мгновение Арский лишь обнял неизвестного молодого человека за плечи, тяжело дыша и с неподдельной ненавистью глядя на курносого, у которого из разбитой губы текла кровь. Я погибал, задыхался от обиды и злобы на себя. Вот так же Арский мог стоять и обнимать меня, будь я расторопней и талантливей. Я глубоко бездарен, и это проявляется во всем и непрерывно (у меня кружилась голова от выпитой водки. Я выпил стакана два). А моя идея, моя тайна, которую я хранил под сердцем, называется солипсизм и является достоянием каждого бездарного болтуна...

Меж тем курносый, оправившись от пощечины, как-то изворачиваясь всеми членами, точно его трясло изнутри, крикнул:

– Лицемеры! Чем же вы лучше сталинских палачей?.. Сталинских чекистов... ЧК был еврейский орган, созданный для издевательств над Россией, над славянством... Моего отца пытал в концлагере еврей Брук... Я выяснил фамилию следователя... Сталин – эпизод, а они... Испокон веков они несли грязь в наш дом своими грязными галошами...

– Кто его привел? – гневно спросил Арский.

– Я, – ответил Костя устало и тяжело. (Он вовсе не был пьян, как выяснилось.)

– И не в том дело, – вдруг смешавшись, сбитый, очевидно, окриком Арского или вздохом Кости, сказал курносый, – вот Костя, например, еврей, но не в нем же суть... Я говорю об идее...

– Выгнать его вон! – крикнул припадочно очкастый (на этот раз не тот, что сидел близко от меня, а мой враг с середины стола).

Сердце мое сжалось в недобром предчувствии. То, что мой главный враг берет дальнейшую инициативу по расправе над курносым на себя, не предвещало для меня ничего хорошего... И мои предчувствия не обманули меня (дурные предчувствия редко обманывают).

– И того, – крикнул очкастый, указывая на меня, – это одна антисемитская компания...

Я хотел возразить, опровергнуть, призвать на помощь Цвету, но она сидела, по-чужому отвернувшись (в первые мгновения я обиделся, но впоследствии понял – не следовало. Слишком я себя запятнал).

Блондин положил свою тяжелую руку на шиворот курносого, взяв его сзади, и повел из комнаты. Меня за шиворот не вели, это я точно помню, а все остальное забыл. Как одевался, как вышел. Очнулся лишь внизу, в подъезде рядом с курносым, который горько плакал от ненависти и обиды... Если б меня попросили дать один короткий символический образ того мутного времени, то я бы припомнил метельную мартовскую ночь, когда, чуть ли не спущенный с лестницы людьми, к которым стремился и о дружбе с которыми мечтал, стоял у подъезда рядом с неприятным мне, злобно плачущим, сжимающим в гневе бледные кулачки, явно хронически больным активистом-антисемитом.

Мне бы молча повернуться и пойти к трамвайной остановке, ждать дежурного трамвая (оглядевшись, я узнал местность и определил: неподалеку остановка «четверки», идущей к вокзалу. Именно там я мог провести остаток ночи). О возвращении среди ночи в пьяном виде в общежитие не могло быть и речи. Звонком я должен был бы будить дежурную, а ею могла оказаться Дарья Павловна, мой враг. Конечно, можно было бы и через балкон прямо в коридор второго этажа. Но, во-первых, впопыхах я забыл приподнять шпингалет балконных дверей, а во-вторых, лезть глубокой ночью через балкон чрезвычайно опасно. Вечером, попавшись, можно выдать это за шутку и при удачном поведении отделаться выговором. Поздней же ночью смешить некого, и провал мой окончится намеренной катастрофой. Значит, оставался вокзал. Но я был так сейчас измучен (внезапно наступил полный упадок сил), что не мог представить себя среди вокзального гула, духоты, плача детей. К тому ж в это время все скамьи, как правило, заняты транзитниками, а к пяти часам вовсе выгоняют из главного зала, поскольку там начинается уборка. Кроме того, я сильно ослабел не только физически, но и нравственно, поскольку со мной не было более моей идеи, я был – вот он весь, с потрохами: с измятым галстуком-бабочкой, криво, по-официантски сидевшим, в измятых брюках и нелепом пальто. И все. И никакой святой идеи, никакой невидимой миру внутренней силы, никакого внутреннего света за этим внешне жалким образом не стояло.

Все эти мысли пронеслись у меня как-то мгновенно, и не в виде конкретных образов или формулировок, мной здесь приведенных, а в виде двух-трех ощущений, на первый взгляд далеких от ныне сформулированных мыслей. Да, это были мысли в виде физических ощущений. Я чувствовал во рту кисловатый привкус, какой бывает, когда долго не чистишь зубы, а на спине в нескольких местах холод, кожа лица была напряжена такой гримасой, какую увидишь разве что в ночном кошмаре. Интересно, что я видел вполне ясно эту гримасу, не имея перед собой ни зеркала, ни стекла. Видел мозгом, как видят во сне, и когда я ощутил все это, то мной овладел приступ такой черной злобы, при которой человек способен на все и которая порождена, как мне кажется, завистью к благополучию мертвых или еще не родившихся. Порочные ощущения, не поддающиеся формулировкам, содержат в себе дьявольскую силу и опасней любых, пусть самых преступных формулировок. Даже некоторые бытовые мысли, например о мучениях в вокзальной духоте, лишённые под влиянием момента, под влиянием душевного надлома конкретной плоти и ощущаемые в качестве неких физических символов, могут стать страшным орудием слепой злобы. К счастью, мое физическое состояние лишило меня возможности действовать. Но злобное чувство мое выразилось весьма своеобразно. Человек, который был мне крайне неприятен еще несколько минут назад, вдруг вызвал во мне сочувствие. Я ощутил общность с ним, и мне показалось, что с нами обоими поступили несправедливо. Между тем человек этот продолжал плакать, размахивая кулаками уж как-то устало, не вытирая слез, совершенно не стесняясь меня. Видно, его часто выбрасывали и били, так что он привык не стесняться, и это дало мне возможность ощутить превосходство над ним, поскольку я никогда не показывал своих слез на людях.

– Тебя как зовут? – спросил я спутника своего, несколько покровительственно.

– Илиодор, – сказал он всхлипывая, – имя редкое, церковное... Отец мой был священник... Его убили сталинские палачи, еврей-чекисты... – Он вновь начал возбуждаться.

– А меня Гоша звать, – сказал я, – мой отец тоже был арестован (впервые в жизни я произнес это вслух и при посторонних).

– Ты где живешь? – спросил Илиодор.

Я соврал какой-то адрес.

– Далекое, – сказал Илиодор, – пойдем ко мне, переночуешь.

Это была просто удача. Я согласился...

Глава одиннадцатая

Илиодор жил в коммунальной квартире, в небольшой комнатухе, вместе со старухой-матерью. Когда мы вошли, было уже начало четвертого утра, но мать Илиодора одетая сидела у окна. Видно, Илиодор не впервые приходил так поздно и приводил постояльцев, поскольку на меня мать его взглянула без удивления. Я торопливо с ней поздоровался, имея в голове свой план и стараясь завоевать хозяйкино расположение. Дело в том, что, как уже известно, наступало время, когда мне крайне нужны были пристанища, пока утрясется мое выселение, а сегодня я лишился главной моей явки – Бройдов. Это была огромная брешь в моем плане, и сейчас я мучительно думал, в какой степени смогу компенсировать потерю Бройдов. Илиодор жил даже в более удобном районе, чем Бройды, и приходы к нему могли быть обставлены меньшими церемониями. Но самым огромным преимуществом было то, что у Илиодора можно было, на худой конец, и переночевать. Однако в остальном, конечно же, нельзя было сравнивать его с Бройдами. Там был уют, чистота, приятные лица, вкусный обед, тут же все сыро, нечистоплотно, убого. В комнате стояли низенькая железная кровать и застланная раскладушка. Стоял явно кухонный стол. Какие-то книги были сложены на полу и прикрыты газетами. Диссонансом выглядели тяжелая бронзовая лампа на столе и небольшой плюшевый коврик, некая жалкая претензия на предметы, составляющие не первую необходимость, а излишества. Первоначально я решил завоевать расположение хозяйки вежливым вопросом: «Вы почему не спите? Ведь поздно уже...» Если она ответит: «Не хочется!..» – я могу продолжить разговор нейтральной фразой: «Два ночных часа сна равны пяти часам дневного сна...» Примерно таким участливым разговором, правда по поводу слепоты Петра Яковлевича, я в первые же минуты завоевал расположение Надежды Григорьевны Бройды...

Однако тут произошел некий эпизод, изменивший мой план. Мать Илиодора что-то сказала ему, и он в ответ вдруг молча размахнулся. Я испугался, думая, что он ударит ее по лицу, но он ударил ее по руке, правда достаточно резко и сильно, так что она сморщилась и второй рукой начала потирать ушибленное место. Я понял, что никакого значения мать здесь не имеет и всем заправляет Илиодор.

– Это из-за меня? – тихо спросил я Илиодора.

– Нет, – пренебрежительно махнул он, – совсем другое...

Мать встала, вышла в переднюю (у них была небольшая отгородка, этакая передняя-кладовая). И вскоре вернулась с еще одной раскладушкой, начала мне стелить.

Мать Илиодора была вся какая-то неопрятная, нечесаная, седые космы свисали с головы ее в беспорядке, но в то же время отдельные детали говорили о том, что это не старуха, как показалось мне первоначально, а сильно постаревшая и опустившаяся женщина лет пятидесяти трех – пятидесяти пяти, а может, и того менее... У нее, например, сохранилась еще довольно высокая грудь бывшей попадьи, ноги ее также не выглядели ногами старухи, были полны и приятной формы.

– Может, гость голоден? – спросила она у Илиодора, не глядя на меня.

– Нет-нет, – поспешно откликнулся я, не дав Илиодору ничего сказать и боясь, что меня могут здесь чем-либо угостить.

Во-первых, я был сыт, поев в компании Арского, а во-вторых, от матери Илиодора исходил какой-то сладковатый тошнотворный запах мертвечины (впоследствии я понял, что этот запах общий для всех реабилитированных, который держался особенно сильно на первых порах и у некоторых держится по сей день).

Конечно, запах этот был воображаемый и порождался внешним видом этих людей, как бы побывавших в ином мире и воскресших, так что с трудом можно было угадать прежний их человеческий облик. Тем, кто побывал ТАМ с конца сороковых – начала пятидесятых годов,

еще иногда удается утратить следы своего потустороннего пребывания, но в облике попавших ТУДА в тридцатые годы эти мертвые черты неустранимы.

Когда я лег в постель, неожиданно довольно свежую, то видел некоторое время, как Зинаида Васильевна (мать Илиодора), погасив большую лампу, чтоб не мешать нам спать, опустилась в углу, согнувшись у чадающей на полу свечи. Я думал, бывшая попадая молится на коленях, и даже с интересом приподнялся на локте (видеть мне мешал стол), но неожиданно обнаружил, что она не стоит на коленях, а сидит на очень низенькой табуреточке и читает детектив (я прочел название детективной повести довольно низкого пошиба). Я повернулся к стене и очень скоро уснул. Спал я совершенно без снов (во всяком случае, снов не помню) и, проснувшись, долго не мог сообразить, где я и что со мной. Первое, что я увидел, были четверо, нет, скорей, даже пятеро незнакомых мне молодых людей, которые сидели вокруг стола за бутылками и закуской, то есть образуя некое подобие компании.

– Добрый вечер, – весело мне сказала Зинаида Васильевна, входя с шипящей сковородкой.

Компания за столом засмеялась. Улыбнулась и Зинаида Васильевна своей шутке. Выглядела она значительно лучше, чем ночью, даже волосы прихвачены синей ленточкой. За столом сидел и гость постарше, лет сорока трех, который, к моему удивлению, по всем признакам ухаживал за Зинаидой Васильевной. Ради него она, пожалуй, и шутила.

– Добрый вечер, – снова повторила Зинаида Васильевна, ставя сковородку на металлическую подставку, – ну и поспали же вы...

Оказывается, был уже вечер следующего дня. Я упустил день, в который планировал заняться расчетом. Завтра в управлении выходной. Значит, упустил два дня.

– Мама, выйди! – довольно резко сказал Илиодор (я его заметил не сразу, поскольку он рылся в книгах). – Гоша должен одеться, – добавил Илиодор, дружески мне подмигнув.

Зинаида Васильевна поспешно вышла. Мне было неудобно перед чужими людьми своего нижнего белья, поэтому, неловко прикрываясь одеялом, стараясь не выказать в то же время, что я стыжусь, стал в первую очередь натягивать брюки, лихорадочно тыча в них босые ноги, и, зацепившись большим пальцем ноги, что-то разорвал. («Хотя бы по шву», – с тоской подумал я, ругая себя, что не надел вначале носки.) К счастью, разрыв оказался по шву и незначительный.

Пройдя вслед за Илиодором в места общего пользования, мимо каких-то коммунальных лиц, я два раза вежливо поздоровался – со стариком и полной женщиной, резонно полагая, что в коммунальной квартире соседи играют определенную роль в разрешении ночевки. Ни старик, ни женщина мне не ответили. «Значит, у Илиодора с соседями натянутые отношения», – беспокойно отметил я про себя. Умывшись и причесавшись (у меня было довольно выпавшееся, отдохнувшее лицо), я вернулся в комнату и застал разговор в самом накале. Ругали Арского. Особенно горячился молодой человек в такой же, как у Арского, расстегнутой у ворота дорогой рубашке тонкой шерсти. Такие рубашки входили в моду, что я и отметил про себя. За этим столом в такой рубашке был лишь один, с крепким и простым именем и фамилией – Геннадий Орлов (напоминаю, Арского тоже звали Геннадием). Был, правда, еще один в подобной рубашке, Семен Савчук (Илиодор нас всех перезнакомил), но я явно видел, что на нем обыкновенный крашеный трикотаж. Остальные были одеты и того хуже, так что я, в моей мятой рубашке, не очень выделялся. На Иване Пантелеевиче (ухажере Зинаиды Васильевны) вообще была утепленная ковбойка и хлопчатобумажный пиджачок. Все молодые люди были студентами (Иван Пантелеевич был с семьей классами, но, как опытный практик, работал техником на бетонном заводе): Орлов учился на факультете журналистики, а остальные на филфаке университета, куда я мечтал поступить. Илиодор тоже был студентом филологического факультета, но несколько месяцев назад его за что-то исключили.

– Совершенно ясно, – говорил Орлов, – что шабаш вокруг Арского раздули евреи... Сами они русского языка не знают и слишком уж открыто его ненавидят... Точно как в старой, но не утратившей сегодня соли пародии Буркова. – И он продекламировал шепеляво и картаво: – «Я с пеною у рта бездарно сочинял в стихах бездарных вопли и угрозы, хрипел, шипел, плевался и глотал с проклятием еврейской злобы слезы...» Да, слишком злобны их слезы, а наши почетные евреи умеют это сделать почувствительней, помягче, понациональней... Вот они и разводят шабаш вокруг Арского и компании... Причем, главным образом, эти... С русско-украинскими фамилиями.

– Это точно, – чокаясь с Зинаидой Васильевной, сказал Иван Пантелеевич, – они теперь все Иваны Ивановичи, Степаны Степановичи.

Этот техник-выдвиженец явно выделялся из остальных примитивностью и грубостью суждения. По-моему, он шокировал Илиодора.

– Удивительное дело, – сказал Орлов, – до чего все-таки прогнила и обюрократилась партийная верхушка... От начала и до конца... Мой отец такой же... Шехтмана или прочего Рабиновича (оборот из известного сатирического романа. При этом обороте один из компании, Лыиков, бедный студент, явно ищущий покровительства Орлова, засмеялся), прочего Рабиновича, – повторил Орлов, – стараются не брать... Не давать ему возможностей... Но стоит Рабиновичу стать Ивановым или Иваненко, так все дороги открыты... Всюду Ивановы сидят, а русского найти невозможно.

– Они даже под армян подделываются, – смеясь, сказал Лыиков, – помню, был у нас папан такой, Антонян-еврей...

– Ребята, – сказал Савчук, – между прочим, я готовлю сейчас курсовую работу и наткнулся на очень любопытную вещь... Листовка полтавской организации «Народная воля», где приветствуются еврейские погромы как признак пробуждения народных масс от политической спячки...

– Ну, потом народовольцы отошли от такой программы, – сказал черноволосый парень, имя и фамилию которого я не запомнил.

– Потому что организация объевреилась, – быстро ответил Савчук.

– Никто с тобой не спорит, – сказал черноволосый, – вся революция объевреилась... В этом ее трагедия... В этом крушение надежд... Помнишь мечты Шевченко?.. «Тай нема краше, як на нашій Вкраїні, що нема жида, що нема пана и Унії не буде...»

– Между прочим, – сказал Савчук, – эту надпись намечалось выбить на пьедестале памятника Богдану Хмельницкому. А под копытами коня Хмельницкого поляк и еврей, сжимающий награбленную церковную утварь... Однако Александр Третий запретил и потребовал изменить проект... В знак протеста автор проекта скульптор Микешин, русский патриот, отказался даже присутствовать на открытии памятника.

– Интересный факт, – сказал черноволосый, – я этого не знал.

– За две тысячи лет, – сказал Орлов, – евреи научились умело стонать и плакать... Стоит нам что-либо предпринять в свою защиту против их пакостей, как они начинают громко плакать, и мы пугаемся... Если мы не научимся спокойно выслушивать их стоны, они с помощью таких, как Арский, нас полностью поработят.

– Чего? – громко спросил Иван Пантелеевич.

Он выпил более других, а закуска здесь, в отличие от компании Арского, самая бедная и дрянная: бычки в томате, колбаса дешевая и хлеб без масла. Правда, вкусна оказалась жареная картошка, я ее ел с удовольствием.

– Чего? – снова громко переспросил Иван Пантелеевич.

– Чего-чего, – передразнил Орлов, – пейсы будешь скоро носить, вот чего...

– Да я, – громко крикнул Иван Пантелеевич, – война начнется, сам тысячу убью!.. При оккупации...

– Так ведь американцы евреев не трогают, – насмешливо подкалывал Савчук, – как же ты...

– Чего? – напряженно и пьяно соображая, уставился Иван Пантелеевич. – А они впереди себя ФРГ пустят... Я в газете читал...

За столом засмеялись наивности и глупости Ивана Пантелеевича. Я ел жареную картошку, стараясь сообразить, как вести себя.

– Тебя Гоша звать? – спросил вдруг меня Орлов. – Значит, мы тезки...

– Нет, – ответил я, – меня по паспорту Григорий звать.

– А почему же Гоша?

– Так прозвали еще с детства.

– Понятно, – как-то певуче и не своим голосом произнес Орлов.

Я сообразил, что он в этой компании самый опасный, и испытал досаду на себя за то, что пооткровенничал.

– Илиодор, – сказал еще один член компании, до того молчавший, кстати чем-то на Илиодора похожий, бледностью лица и каким-то страдальческим выражением, делающим их в определенные моменты похожими на евреев, – Илиодор, ты бы прочел свою работу.

– Не сейчас, – сказал Илиодор.

– У него удивительно интересная работа, – сказал бледный, – он анализирует те места наших классиков, наших гениев, где они высмеивают и разоблачают евреев...

– Но Гоголь был совершенно непоследователен, – сказал Илиодор, – например, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» он пишет о евреях по-иному...

– В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь был в маразме, – сказал раздраженно Орлов, – об этом и Белинский писал... Кстати, русский патриотизм Белинского облюбован евреями...

Меж тем я заметил, что ко мне за столом начинают относиться плохо. Прямо это плохое отношение не выказывалось (Иван Пантелеевич мог бы выказать и прямо, но он был уже сильно пьян и не в состоянии принять участие в интриге). Хоть плохое отношение и не выказывалось прямо, тем не менее становилось заметно, поскольку Илиодор подошел и сел со мной рядом, наверно, чтоб выказать свою поддержку. Не знаю почему, может, потому, что нас обоих одинаково жестоко и обидно выгнали из компании Арского, но Илиодор ко мне быстро привязался. Это было для меня главным, поскольку ночлег принадлежал Илиодору. Однако я не знал все ж, в какой степени Илиодор способен противостоять действиям приятелей своих, направленным против меня.

Меж тем Орлов вел себя все более вызывающе. Думаю, каждой компании, для того чтоб поддерживать ее существование, нужен спор, противоборство. Если бы эти люди, сидящие сейчас за столом, могли заговорить о спорте, или о литературе, или о породах собак, или о марках вин, или о чем-либо еще, то у них наверняка вышел бы спор и сохранился бы интерес. Однако, о чем бы они ни заговаривали, все это переходило к еврейской проблеме. Но скука, вечная спутница постоянства, проникала и сюда, и мне кажется, эти люди, столь единодушные в ненависти к евреям, вдруг испытывали страх, что их единодушие подорвет их единство, тема, связывающая их, будет исчерпана и надо будет заговорить о чем-либо ином. Тогда они станут малоинтересны друг другу. А когда такое случается в выпивающих компаниях, то неизбежна драка. (Как я понял впоследствии, такое между ними довольно часто происходило.) И вот ныне за мой счет они хотели этого избежать. К тому времени выпито было довольно много. Пью я редко – и из-за недостатка материальных средств, и вообще из-за нелюбви к алкоголю. В компаниях же пью – главным образом из-за закуски: неудобно ведь есть и не пить. А когда человек пьет, не испытывая удовольствия, то он пьянеет не постепенно, а внезапно и тяжело, словно впадает в обморок, если исчерпаны силы, или в буйство, если силы на взлете. Я спал весь день и потому чувствовал, что если на этот раз опьянею, то впаду не в сонный обморок, а в

буйство. Я уже заметил приближающиеся признаки буйства, ибо обратил внимание на пепельницу из керамики. Все время я ее не замечал, а сейчас понял, что именно этой пепельницей ударю Орлова.

– Какой ужас, – сказал Илиодор, – отойдем, Гоша, постоим у окна.

И без всякого перехода Илиодор далее начал рассказывать мне свою жизнь. Воспитывался он у деда (я тоже некоторое время воспитывался у деда и сказал о том Илиодору, перебив его). Отец был священник в Западной Украине; перед войной, в сорок первом, они переехали в этот город, и здесь его арестовали как шпиона... Мать в прошлом году вернулась из заключения по реабилитации и получила эту комнату... Поступил в университет, но преподаватель политэкономии, конечно еврей, начал к нему придирааться... Была неприятная история... Исключили, хотели судить... Он этому еврею в лицо плюнул...

– Что мне делать, Гоша? – говорил тоскливо Илиодор. – Мать свою я ненавижу... Лучше б она умерла в заключении... Нет у нее ни совести, ни чести... Что мне делать?.. Ради чего я родился?

Я уже понял, что пристанище здесь искать не буду и никогда сюда не зайду.

– Убей себя, – сказал я Илиодору, – повесься... Или лучше снотворных таблеток выпей...

Я посмотрел на него и вдруг понял, что он принимает мои слова всерьез, как добрый совет друга, а не как злобный выпад человека на грани бешенства. Он посмотрел на меня как-то внимательно и улыбнулся с благодарностью. Но тут же мягкое, кроткое выражение лица его изменилось. Вдруг он как-то быстро обернулся и заметил некую неприятную деталь во взаимоотношениях своей матери и Ивана Пантелеевича.

– Курва! – крикнул Илиодор матери и сделал то, чего я опасался еще вчера, то есть ударил мать непосредственно по лицу (время, вообще-то, было крикливое и скандальное, но два скандала подряд в течение суток не характерны даже для конца пятидесятых годов).

Произошел общий коловорот и головокружение. Все ж я сумел овладеть собой, поскольку мне необходимо было разыскать пепельницу. Я ее нашел, но, вместо того чтоб ударить ею Орлова (Орлов шел со стаканом воды к упавшей в обморок Зинаиде Васильевне), начал натирать ему пепельницей лицо, как орудуя мылом. Тем не менее пепельница была с шершавыми краями, так что я успел нанести Орлову несколько царапин, прежде чем Лысиков шибанул меня в спину. Я вылетел из комнаты (боль в ребрах я почувствовал на улице). Схватив в передней свою одежду, одеваясь на ходу, я выбежал прямо в кучку возбужденных коммунальных соседей.

– Мерзавцы! – крикнула мне соседка. – Каждый раз скандалы... Будете сюда ходить, мы участкового пригласим.

Я толкнул ее плечом и покрыл матом. (Интересно, что это было сделано уже не на уровне эмоциональной взвинченности, а согласно разумному плану. Я понимал, что обстоятельства с койко-местом моим могут сложиться так тяжело и ночевки мои на вокзале могут так сильно измотать меня, что я могу проявить слабость и спустя некоторое время, невзирая ни на что, прийти сюда искать ночлег. Именно поэтому я окончательно портил отношения с соседями, чтоб сжечь все мосты.)

Толкнул еще одного соседа и, покричав перед ними некоторое время, чтоб они могли лучше запомнить мое лицо, я по старой лестнице сбежал вниз.

На улице потеплело, не более градуса мороза. Я вполне мог погулять часок с небольшим до одиннадцати, а потом возвратиться в общежитие. Быстро подошел трамвай. Я сел (мест свободных было много), посмотрел на сонные, спокойные лица пассажиров и тоже начал успокаиваться. Я словно вырвался из ада (возник такой абстрактный образ, испугавший, а потом рассмешивший меня: вокруг меня прыгали черные черти и пинали меня коленями – хоть у чертей, кажется, колени назад, – пинали меня по-хулигански, наперекидки друг к другу). Этот комический образ как бы подытожил происшедшее и снял с меня душевное напряжение. Уме-

ние подытожить события комическим образом не раз выручало меня. Подобное же случилось и на холодном песке Конча-Заспы. Если же этого не происходит (а происходит – либо не происходит – это по непонятным и не зависящим от меня причинам и никогда не происходит искусственно, я пробовал), если этого не происходит, я рискую погрузиться в долгий анализ события и своего поведения в этом событии, анализ с душевными терзаниями и головной болью. К счастью, на сей раз мне повезло. Успокоенный, протрезвевший, не испытывая болей в животе (чего я опасался после компании), я к половине одиннадцатого добрался в район нашего общежития и, чтобы дотянуть время до полностью безопасной черты, минут двадцать погулял по площади перед Школой милиции на расстоянии пятнадцати минут хода от общежития, но тем не менее в месте, практически безопасном от возможности встретить Софью Ивановну или Тэтяну. Поблескивали звезды, легкий ветерок освежал мне щеки и лоб. В церквушке нашего районного кладбища горел электрический свет (три года хожу здесь и лишь теперь заметил эту церквушку, выглядывающую из-за кладбищенского забора). Мысли мои были тихи и скромны. За прошедшие бешеные сутки (иначе их не назовешь) я потерял свою тайную мечту, веру в свое «инкогнито», веру в идею, но, пережив и перестрадав, приобрел право на тихое благополучие. Дав с помощью Витьки Григоренко взятку кое-кому, думал я, получу право на устойчивое койко-место. Сразу же переберусь в двадцать шестую к Рахутину и Григоренко... Расчет и компенсация за отпуск покроют взятку, и мне останется на жизнь нетронутая сберкнижка, на которую я проживу с полгода... Утром буду экономно, но сытно завтракать – хлеб, картофель, чай с карамелью... Три-четыре таких свежих сытных завтрака равны по стоимости одному столовскому завтраку: вязкому мучному с подливкой, от которой мучит изжога... Правда, такие завтраки надо готовить на общей кухне, вступив тем самым во взаимоотношения с женщинами, с женами семейных, и составив им конкуренцию. Я знал, что на кухне часто бывали скандалы за место на плите. Кулиничка, который готовил себе сам, женщины однажды чуть кипятком не обварили. Да еще в скандал вмешиваются их мужья. Но я буду либо вставать и готовить очень рано, либо очень поздно, а с утра есть картофель холодным, что не менее вкусно, особенно если приправить его борщовой томат-пастой. Был в этой, в общем благоустроенной, жизни еще один тревожный момент, в котором мне даже самому себе неприятно было признаться. Рахутин и Григоренко жили если и не коммуной, то во всяком случае завтракали часто вместе. Таким образом, и я должен был с ними делиться, поскольку были они мне друзья и я не мог их игнорировать и от них обособляться, как от какого-нибудь Берегового или Жукова. Но питались они неэкономно, часто покупая вареную колбасу, рыбные консервы (мясные консервы хоть можно мазать на хлеб, рыбные же надо есть ложкой, и съедаются они в один присест), покупали они и яйца, и селедку, и джем к чаю. Таким образом, в течение месяца я окажусь банкротом. Учитывая подобное положение, имеет, может, смысл остаться в своей тридцать второй, тем более краем уха я слышал, что Береговой и Петров собираются то ли переходить в другую комнату, то ли вовсе уезжать в другой город. Если это произойдет, я налажу отношения с Жуковым, чего бы это мне ни стоило, например, поговорю «по совести», он это любит, извинюсь перед ним, и все станет совсем хорошо. До сих пор я буквально должен был беспокоиться о завтрашнем дне, круглогодично опасаясь увольнения с работы, а весной еще и выселения. Ныне я получил полгода размеренной жизни и к тому ж, не подхлестываемый нелепой своей идеей, в которой мало, как я теперь понял, ума, но много детского тщеславия, не подхлестываемый этой идеей, я смогу что-то решить, может быть, даже жениться. Надо бы позвонить Нине Моисеевне, подумал я. Тем более что с момента, когда я совершил свое нелепое собачье движение в благодарность за вкусную еду, прошло достаточно времени. Да может, я все и преувеличил. Надо было выдать все за шутку или притвориться немного пьяным, совершить еще какую-нибудь нелепость, например упасть... Эта Нина Моисеевна все время намекала мне на знакомство с хорошей девушкой, проявив чрезмерное рвение, точно получая от этого личную выгоду (что, конечно, было не так). Надо позвонить, тем более Бройды потеряны, а значит, и

лучшее мое пристанище, и обеды, после которых я сохранял сытость и силу в течение всего последующего дня, употребляя лишь легкие закуски, чай и хлеб. Два дня в неделю фактически сэкономили мне на питании Бройды, за полгода набегало полтора месяца, а значит, не случись эта нелепость и разрыв с Цветой, я мог бы сидеть на своей сберкнижке семь с половиной месяцев. Это уже серьезный срок... А в общем, нельзя требовать от жизни идеальных условий, я это понял сейчас вполне ясно, утратив глупую, съедавшую мои душевные силы идею-фантазию... Ах, жениться бы, и чтоб родители жены на первых порах помогали... Но благородно, без унижений... Поступить бы техником в проектную контору, сидеть в тепле, особенно учитывая мои обмороженные ноги. Конечно, все это без хороших знакомств невозможно, но в том-то и дело, что неизвестно, кто способен лучше помочь даже в трудоустройстве: Михайлов или Нина Моисеевна. У женщины ее возраста, на грани увядания, бывают порой самые неожиданные связи и возможности, на что она как-то намекала. Завтра же позвоню ей.

В кладбищенской церкви погас свет, окна Щколы милиции, расположенной напротив, давно были темны. Было начало двенадцатого, время еще даже более безопасное в смысле встречи с комендантшей, чем то, на которое я рассчитывал. Причем пережидание мое прошло легко и незаметно. Я поднял воротник и, втянув голову в плечи, защищаясь от поднявшегося ветра, пошел к общежитию.

Глава двенадцатая

Подходя к общежитию, я замедлил шаг. Приближался самый ответственный момент. Не Дарья ли Павловна, мой враг, дежурит? Не переборщил ли я с пережиданием и досиделся до запертых дверей, так что придется звонить и поднимать тревогу? Это чрезвычайно волновало меня. Даже если за дверьми не Дарья Павловна, а другая дежурная, равнодушная ко мне, все равно звонить в двери – это громко требовать чего-то, привлекать к себе внимание здесь, где я незаконно, по знакомству, имею койко-место...

Я взялся за ручку двери, потянул. Дверь подалась. Значит, открыта. Но по извечной человеческой природе я не обрадовался открытым дверям, о которых только что мечтал, а сразу забыл о том и начал переживать по поводу следующего этапа: не Дарья ли Павловна дежурит? Между дверьми был небольшой тамбур, и я постоял там немного в темноте, раздумывая, открыть ли мне дверь рывком и проскочить или, наоборот, постараться без скрипа и медленно, мягко открыть, в надежде, что Дарья Павловна (если дежурит она) отвернулась или возится со своей проклятой кошкой, из-за которой и испортились наши отношения. Эта мысль несколько озлобила меня. Открыл рывком. Мелькает тускло освещенная передняя. Дежурит одна из сестер. Она безразлично подняла на меня сонное лицо. В радости от благополучного исхода моих треволнений здороваюсь с ней как-то особенно приветливо. Потом, уже на лестнице (и в прямом, и в переносном смысле), понимаю, что делать этого не следовало. Лучшие мои взаимоотношения с администрацией – это моя безликость. Выделяться же здесь из массы, даже в хорошую сторону, опасно. На примере Дарьи Павловны видно, как легко хорошие взаимоотношения переходят в плохие, а Тэтяна с самого начала выделила меня самостоятельно и возненавидела...

Я поднялся по теплой лестнице (топят у нас временами хорошо, временами похуже) в теплый пустой коридор. Уже поздно, движения в коридоре нет. Лишь в конце коридора, у балконной двери (которую я намереваюсь превратить в запасный ход), стоит Адам-дурачок. Пospешно, опасаясь, как бы он со мной не заговорил (он ко мне последнее время почему-то льнет, а я им, откровенно говоря, брезгую), поспешно поворачиваю к себе, открываю дверь тридцать второй. Все на месте, и все сладко спят, несмотря на то что горит свет и орет радио. У койки Жукова на полу валяется учебник физики для седьмого класса. Видно, потому и горит свет: он читал и заснул. Хоть радио и не выключили, но свет обычно гасили, если ложились все. В комнате спертый воздух, но это у меня просто с мороза, я знаю, что быстро освоюсь. Зато тепло, и после шумных компаний мне здесь даже показалось уютно и хорошо. Раздевшись, гашу свет и, подумав, несмотря на то что положение мое в комнате сложное и по этому поводу были уже скандалы с Береговым, выключаю и радио. Тем более в случае скандала мне будет, как говорится, чем крыть: завтра воскресенье. Укладываюсь. Койка у меня с панцирной сеткой, пружинистая, но мягкая (из шести коек в нашей комнате такая только у меня и Берегового, который раздобыл их в пору, когда мы дружили). Подушек у меня две, одна казенная, другая собственная, подарок тетки. Одеяла тоже два, казенное и свое, шерстяное, ворсистое, но ныне ворс свался. Есть у меня также и три собственных простыни, и, кажется, три или четыре наволочки, но я их не употребляю, поскольку постель здесь выдают казенную и еженедельно меняют. На прежней моей работе в провинции (где я сильно заболел, после чего приехал искать счастья в город, где родился), на прежней моей работе постелью не обеспечивали. Там-то я и приобрел собственную. Вообще же при моем нынешнем неустойчивом положении собственная постель пока не нужна (разве что одеяло и подушка для большего удобства), но, как правило, там, где мне предоставляют койку, там к этой койке имеется и постель (расчеты мои строились всегда исключительно на даровую койку знакомых либо на дешевую общежитийскую, казенную. На частную я возможностей не имел).

Приехал я в этот город три года назад зимой, как раз после Нового года, с довольно приличным запасом денег (сбережения от прежней работы), причем сложенных в две кучки: одна на жизнь в первое время, другая на устройство, то есть чтоб заплатить кому надо за оказанную мне поддержку. Помимо денег, был еще со мной список адресов тех людей, на которых я мог бы в первое время бесплатно опереться в этом городе. Прежде всего старушечка Анна Борисовна, дальняя родственница, на которую тетка особенно рассчитывала. Потом Чертоги, люди чужие, но чем-то тетке обязанные. Потом рабочий адрес Михайлова и телефон еще одного человека, некоего инженера Шутца (так меня тетка и предупредила: именно попроси инженера Шутца, а не просто Шутца), это меня насторожило, и я позвонил ему в самом конце, приходя уже в отчаяние от невозможности устроиться и перед тем, как обратиться к Михайлову.

Отлично помню день приезда. В вагоне было у меня сидячее место (из экономии), ночь я провел, конечно, без сна, и, выйдя на привокзальную площадь, очень жестокую (было именно ощущение жестокости в заиндедевших красивых трамваях нового типа и в красиво горевших, не погашенных еще с ночи фонарях), я чувствовал себя точно нищий-проситель в роскошной чужой приемной – такое чувство было на этой площади. На этой площади не было у меня прав требовать, а была лишь возможность просить и надеяться на снисхождение (чувство, которое я впервые ощутил в то утро отчетливо). Я шел, уступая всем местным дорогу, даже школьникам, спешившим с ранцами в школу. Глядя на дома, вывески, на уходящие вглубь переулки, я испытывал именно не любовь к этому городу, о котором мечтал и открытки с видами которого любил разглядывать в провинции, а испытывал к городу робкое уважение, чуть ли не как к важному лицу, покровительство которого хочется заслужить. Несмотря на то что чемодан оттягивал мне руку, я прошел остановку в сторону от вокзала, чтоб не влезать в трамвай вместе с толпой приехавших провинциалов, к которым испытывал теперь даже не презрение, а злобу, поскольку они меня дискредитировали (со мной в вагоне ехали какие-то муж и жена из провинции, которые все заговаривали и советовали держаться их, поскольку город они знают, мол, хорошо. Я от них, разумеется, сбежал).

К старушечке Анне Борисовне я добрался после многих пересадок, путаницы и блужданий по красивым, холодным, очень жестоким улицам (ощущение красивой жестокости этого города неотступно преследовало меня). Правда, часа через полтора, попав в результате путаницы повторно в одно и то же место и узнав его по какой-то арке, я решил, что начинаю терять ощущение бесправного чужака, и осмелился приобщиться к хозяевам, то есть к тем, кто диктует этому городу свои условия. Я выбрал для начала незначительный, но доступный мне способ – нарушил правила уличного движения, но не случайно и растерянно, как провинциал, а намеренно. С некоторой даже лихостью прыгнул я на ходу в трамвай и был наказан за дерзость, едва не выронив чемодан и ударившись обо что-то лбом, в результате чего вызвал смех пассажиров (среди смеявшихся была очень красивая женщина, каких не увидишь в провинции, что особенно ужасно и окончательно меня добило, ибо я особенно опасюсь насмешек над мной красивых женщин). Ругань кондукторши я выслушал, покорно опустив голову и глядя в пол, как провинившийся школьник (ошибка провинциала, еще больше вызвавшая ко мне презрение пассажиров). Так что мой поступок вызвал обратную реакцию: вместо самоуважения – самоунижение, и к Анне Борисовне я прибыл окончательно запуганным.

Анна Борисовна жила в многонаселенной квартире, но комната у нее была довольно большая и теплая. Я отогрелся и выпил большую кружку сладкого чая с куском свеженарезного батона. Это был первый даровой кусок, данный мне в поддержку и который я впервые в жизни приплюсовал к своему бюджету. Конечно, я мог купить себе и целый батон, деньги у меня были, но, во-первых, при отсутствии поступлений каждый купленный на собственные средства кусок был мне горек, а во-вторых, после жестоких улиц этот кусок произвел на меня чисто психологическое впечатление. Я почувствовал нечто материнское в морщинистом полном лице старушечки, которую видел впервые в жизни, и заговорил с ней каким-то елеиным голосом (но

совершенно в тот момент искренне), расспрашивая ее о здоровье и вообще ужасно лицемеря (очень искренне. Это не парадокс, бывает искреннее лицемерие, вызванное крайней нуждой). В комнате стояла одна лишь узенькая лежанка, на которой старушечка (она была маленького роста) спала. Это внесло некоторую тревогу, поскольку я гадал о своем месте ночлега, думая, где же она меня положит. Так, в рассеянном состоянии, сменившем суетливое мое умиление, мы проговорили минут двадцать, после чего она мне отказала в ночлеге, поскольку, мол, соседи возражают. От неожиданности такого крайнего исхода и к тому же освободившись в тепле от первого испуга перед этим чужим городом, что придало мне развязности, я проявил некоторую грубость, на которую не имел права, то есть встал, взял чемодан и, вместо того чтобы помочь старушечке поднести в прачечную довольно тяжелую корзинку с бельем (она собиралась в прачечную), ушел, сухо кивнув. Как бы сорвал со своего лица на глазах у старушечки елейную маску, не поблагодарив за батон со сладким чаем, восстановившим мне силы после ночного вагона и блуждания по улицам, и фактически посмеявшись над ее горем (у нее недавно умерла любимая сестра в Бобруйске, но по состоянию здоровья Анна Борисовна не имела возможности ехать на похороны. Мы вместе повздыхали по сему поводу). Однако после того, как я понял о провале моих планов устроиться здесь жить, то как-то сразу проявил полное безразличие к здоровью и горестям Анны Борисовны и целиком погрузился в свою беду, ушел торопливо, надеясь до вечера найти другой ночлег. Вообще-то, состояние это непередаваемо ужасное – отсутствие ночлега. К счастью, как я уже говорил, в отличие от голода, отсутствие ночлега угнетает разум, а не инстинкты, разум же менее реалистичен, чем инстинкт, и даже в самой безысходной ситуации живет надеждой.

Я приехал к Чертогам в противоположный конец города, где были трехсотые номера длинной улицы Саперное Поле. Чертоги мне не отказали. Семья из трех человек – отец, мать и шестнадцатилетняя дочь (все некрасивые, особенно дочь) – жила в двух комнатах одноэтажного окраинного домика. Взаимоотношения мои с Чертогами весьма поучительны и гораздо более интересны, чем с Анной Борисовной, старушечкой. Чертоги приняли самое горячее участие в моей судьбе, и, думаю, вполне искренне. Именно это горячее, искреннее участие их в моей судьбе оправдывает несколько мои дальнейшие, некрасивые с точки зрения быта и, может, некоторых моральных правил, поступки по отношению к этим людям (раздумывая, я сейчас пришел к этому успокоительному выводу). Человек я увлекающийся, доверчивый и, будучи ущемлен в смысле домашнего тепла, принял обычную бытовую порядочность этих людей чуть ли не за проявление родственных ко мне чувств и в короткий срок, буквально в два-три дня, так освоился, что посчитал их семью своей родной и дом этот также своим родным домом. Мать Чертог съездила со мной на электричке в пригородную деревню к своей знакомой и вступила с ней в переговоры о возможности за некоторую плату организовать мне прописку. Знакомая позвала нас в комнату, разговаривая шепотом (то есть вступила в отношения, что меня обрадовало), осмотрела мой паспорт и пообещала сделать все возможное, вселив надежду. Отец Чертог хлопотал на своем предприятии (он работал экспедитором) и на соседних предприятиях по поводу работы для меня. Таким образом, все вдруг образовалось, дело было на мази, пошло сверх ожиданий хорошо, и я расслабился, потерял ориентировку и перестал ощущать подлинность своего положения. Из сбережений, предназначенных для питания (поскольку питался я у Чертогов), я купил себе велюровую шляпу и вместе с приятелем (у меня был в этом городе школьный приятель, на которого, разумеется, в бытовом смысле я не мог рассчитывать, но в смысле общества он на первых порах был крайне ценен, и когда я бытово устроился, то заехал к нему), итак, вместе с приятелем я начал ходить по главным улицам и в парки, иногда позволял себе даже дешевенькие закуски в кафе, то есть после провинциальной ущемленности повел если не золотую, то позолоченную жизнь, иногда со смехом вспоминая, как приехал сюда (мне казалось, что было это очень давно), шел с чемоданом, пугаясь этих близких мне ныне улиц, на которые я уже чувствовал некоторые свои права. Такая легкомыс-

ленная жизнь продолжалась недели две. Возвращался с прогулок с удовольствием в сразу как-то ставшую мне близкой семью. Обедая или ужиная, мы смеялись, рассказывали анекдоты, вообще все было великолепно. Оборвалось это тоже сразу, не знаю, было ли поводом какое-либо конкретное событие, или просто наступил предел некоего незримого и негласного договора, в который независимая добродетель вступает с тем, кто испытывает в ней нужду, надеясь на его такт и совесть. Я же, увлекающийся идеалист, пришел в восторг от их бескорыстия и доброты, и восторг помешал мне усмотреть предел, за которым я, человек, уставший от суровой жизни, расслабился и начал злоупотреблять их гостеприимством. Я так много и восторженно о них говорил и приятелю своему, и знакомым (через приятеля у меня появилось несколько мимолетных знакомств в этом городе), что, когда в один из вечеров, вернувшись, по обыкновению, в хорошем настроении, застал всех Чертогов угрюмыми и с таким видом, точно они только что обо мне судачили и при моем появлении замолкли, первоначально не понял ничего, а потом растерялся. Истина разом открылась передо мной, и она была весьма неприглядна. Надежды на пригородную хозяйку не оправдались, сам Чертог, правда, кое-где предварительно договорился, но без прописки нельзя было думать о работе. Я висел в воздухе. Деньги таяли, хоть обеды у Чертогов не стоили мне ни гроша. (Ошибка. Надо было с самого начала поставить все на более деловую основу. Теперь же они денег не брали, увеличивая тем самым еще более свою правоту и надеясь этой правотой быстрее меня выжить, хотя бы и на улицу.) Вообще отношения наши быстро стали неузнаваемыми и приобрели скандальный характер. Будучи во всех отношениях не прав (две недели позолоченной жизни вместо попыток устроиться), но ныне не имея иного выхода, я жил у Чертогов чуть ли не силой, крича, что они обязаны меня принимать, поскольку должны рассчитаться за добро, сделанное им моей теткой (кажется, в войну они жили у тетки несколько месяцев всей семьей).

Я позвонил инженеру Шутцу. Он долго не мог понять, кто я, тетку же мою хоть и вспомнил, но с трудом и сказал, что ныне обстановка изменилась и с билетами помочь он никак не в состоянии (автомат работал плохо). Летом, когда существуют дополнительные поезда, часть лимита выделяется их управлению (он работал в Управлении железной дороги), сейчас же это отменено. Очевидно, к нему часто обращались знакомые с просьбой о билетах, потому и мой звонок он понял именно так, тем более о своем трудоустройстве я говорил невнятно, запинаясь, оттягивая момент отказа. Я повесил трубку и выбросил телефон Шутца, поняв его бесполезность.

К Михайлову я пошел на следующий день с утра. Ранее, пребывая в благодушном состоянии и думая, что наконец очутился среди родных людей, я позволял себе поваляться подольше, и Чертоги, проходя через переднюю (я спал в передней на раскладушке), теснились, чуть ли не натываясь на меня. Теперь же я просыпался рано (впрочем, почти не спал. Это было начало моих бессонниц, которых я не знал в провинции). Просыпаясь рано, я старался уйти, чтоб не завтракать (прямой отказ от завтрака являлся демонстрацией и накалял атмосферу). К Михайлову я пришел задолго до начала работы треста и не менее часа прогуливался, дожидаясь десяти. В плановом отделе треста сидела за столом полноватая, начавшая сесть темноволосая женщина со следами былой красоты (Вероника Онисимовна Кошеровская. Та самая, на мои взаимоотношения с которой весьма скользко намекал Михайлов. Пошлый намек этот имел некоторые последствия. Меня он смутил, но позднее обида, странно переважившись в моем мозгу, обернулась весьма своеобразно, и я действительно начал думать о Веронике Онисимовне не только как о своей покровительнице, старающейся мне помочь чем можно, но и как о женщине). Однако все это было через год-полтора, а тогда я робко сел в углу на стул, предложенный мне Вероникой Онисимовной, не проявившей, кстати, с первого взгляда ко мне никакого интереса, и стал дожидаться Михайлова, гадая, какой он из себя и как ко мне отнесется. Вошел седой, среднего роста мужчина в золотых очках и хорошем костюме.

– К вам, Михаил Данилович, – не поднимая головы от арифмометра, сказала Вероника Онисимовна.

Я встал (уважение перед хозяевами жизни было у меня тогда развито чрезвычайно).

– Вы из третьего СМУ? – спросил Михайлов. – Передайте Медведеву, я ждал от него сведения еще в начале прошлой недели.

Он, безусловно, принимал меня за курьера, поскольку велюровую шляпу вместе с пальто я оставил внизу на вешалке и был в своей штопанной на локтях куртке (ныне окончательно изношенной и разорванной на портянки).

– Моя фамилия Цвибышев, – сказал я робко, но с некоторой обидой, – я, собственно, по личному делу...

В лице Михайлова произошла быстрая перемена. Он посмотрел на меня с интересом и, по-моему, даже с искренней радостью.

– Гриша, – сказал он и, подойдя, крепко пожал мне руку. – Это моего лучшего друга сын, – сказал он Веронике Онисимовне.

Она тоже посмотрела на меня с интересом серыми своими глазами, впоследствии (утверждаю, исключительно благодаря скользкому намеку Михайлова) начавшими меня по-мужски волновать.

Михайлов позвал меня в свой кабинет и усадил в кресло, глядя пристально, с какой-то тихой печалью. Мне кажется, у него даже показались на глазах слезы, и, сняв очки, он протер стекла хрустящим белоснежным платком.

– Похож на мать, – наконец сказал Михайлов, – но что-то есть и от отца... Подбородок отцовский... И скулы...

Отношения мои с Михайловым начали портиться постепенно и как-то незаметно, по мелочам. Причиной, думаю, была постоянная моя зависимость от него, притупившая теплоту его чувств ко мне, где грусть о потерях сочеталась с радостью наблюдать во мне черты давно умершего, но близкого человека. Какая-то моя постоянная ничтожность, которая не менялась со временем, неприспособленность, непрерывная потребность моя в покровительстве, неумение, как он считал, найти себя и утвердиться, которые, по его мнению, оскорбляли память друга, человека, по его же мнению, незаурядного. Его обижало, что у моего отца оказался такой ничтожный сын. Он начал постепенно выказывать свое неудовольствие мной, и, поскольку я ему не противоречил, боясь потерять покровительство, он разозлился до того, что, помогая, в то же время позволял попросту надо мной насмеяться. Однако тогда в кабинете и вообще первое время, еще не зная меня как человека, он относился ко мне весьма тепло и с уважением. Я рассказал Михайлову свою историю (соврал лишь, что в городе неделю, а не месяц почти). Михайлов обещал помочь и взялся за это дело весьма оперативно, так что через две недели я уже был устроен. Этим я косвенно должен быть благодарен и Чертогам. Не прояви они вовремя своих подлинных качеств людей не родных мне, как я по наивности думал, а просто посторонних, но решивших оказать мне добрую услугу, временно предоставив ночлег, я еще долго по наивности и восторженности, а не из нахальства (жаль, что Чертоги, не поняв этого, перечеркнули все хорошее, сделанное ими), так вот, я еще долго мог бы вести позолоченную жизнь и упустил бы Михайлова (вскоре он слег с инфарктом на два месяца). Не знаю, как сложилась бы в таком случае моя жизнь. Я убедился, что, кроме Михайлова, никто мне в этом городе чем-либо реальным и серьезным помочь не мог (разумеется, из тех, кто хотел мне помочь. Например, Чертоги вначале пытались мне помочь, однако безуспешно. Мой школьный приятель тоже куда-то звонил и разузнавал. Но все это, конечно, смешно). Устроить такого человека, как я, весьма непросто. Даже в проверенном пути, избранном столь авторитетным лицом, как Михайлов, произошел неожиданный пробой, поскольку можно предвидеть служебные, но не личные действия многочисленных инстанций, которые вовлекаются в трудоустройство. У Михайлова был знакомый директор пригородного дома отдыха, который согласился фиктивно оформить

меня аккордеонистом (ни на одном музыкальном инструменте играть я не умею), оформить и прописать. В местном поселковом отделении милиции я получил прописные листы, которые тут же были оформлены участковым милиционером, приятелем директора. Правда, директор предупредил меня, что у него сложные взаимоотношения с главбухом дома отдыха (директор любил выпить, что было видно по его лицу) и потому остальное уже зависит от моей оперативности, чем быстрее, тем лучше, пока не привлекли внимание бухгалтерии. Я немедленно сел на пригородный поезд (электрички еще туда не ходили, хоть линия строилась) и поехал в райвоенкомат. Все шло хорошо, первые положительные резолюции местных должностных лиц уже значились на моем прошении, и размашистое «Не возражаю» с закорючкой-подписью и датой сразу делали меня пусть еще не полноправным, но членом общества, и я перечитывал резолюцию в вагоне бесконечное число раз, с радостно колотящимся сердцем. Военкомат находился в двухэтажном деревянном доме на живописной улице (улицы именовались здесь просеки. Кажется, Третья просека, дом двенадцать, даже сейчас помню, – так важны были адреса этих инстанций для дальнейшей моей жизни). Я потолкался среди новобранцев, среди казенного военного запаха табака и кожи, который и ныне не могу воспринимать без тревоги, пока мне не указали нужную дверь. За столом сидел лысеющий блондин, пехотный подполковник.

– Что? – спросил он меня, взяв бумаги, но глядя не на государственные лиловые надписи, на которых я строил весь свой расчет, а на меня, что уж само по себе было опасно.

– Стать хочу на учет, – сказал я, стараясь принять независимый вид, чтоб не вызвать подозрений.

– Так, – сказал подполковник, мельком глянув на бумаги, но главным образом опять на меня. – Так, – повторил он, – а комсомольский билет с вами?

Вопрос был неожиданный, я растерялся.

– Нет, – ответил я, лихорадочно соображая, как вести себя дальше, – я не знал, что в военкомат нужен комсомольский билет... Вот военный билет...

– А где же он? – спросил подполковник.

– Он в чемодане, – ответил я.

– Так, – монотонно сказал подполковник.

Это многозначительное повторение окончательно сбilo меня с толку. Я ощутил холодок внизу живота.

– Здесь написано, что вы комсомолец, – сказал подполковник. – Как же это в чемодане? Сегодня в чемодане, завтра в землю зароете, так?

Это последнее «так» сказано было полувопросительно, словно приглашая к откровенному разговору, и тут-то я совершил ошибку, едва не ставшую непоправимой. У подполковника было круглое, несколько одутловатое, простое лицо. Я решил, что это человек «правды-матки». И с помощью откровенных рассуждений я попробовал привлечь его на свою сторону.

– Дело ведь не в бумажке, – сказал я. – Важно, что у человека тут. – И я не очень сильно, но все-таки ударил себя кулаком в грудь.

Произошла катастрофа. Подполковник побагровел и крикнул, как кричат на рынке контуженные:

– Какая это бумажка? За эту бумажку люди жизнь отдавали на фронте!..

«Конец», – пронеслось у меня в мозгу. Я понес уж полный вздор, чрезвычайно опасный в моем положении, который мог меня окончательно погубить.

– А вот отец мой и мать, – сказал я, – в комсомоле с юности... Сражались на фронте (не следовало касаться родителей, поскольку биография моя, прилагаемая к анкете, была полностью и умышленно мною искажена и об арестованном отце не было, конечно, ни слова).

К счастью, подполковник не стал вдаваться в подробности, а лишь сказал:

– Почему же вы не берете пример со своих родителей?

Я виновато потупил глаза, давая понять, что я соглашаюсь с ним, подчиняюсь его мнению, и извиняюсь за свою беспутную жизнь, надеюсь, что подполковник меня простит. Но не тут-то было. Более со мной он не общался, а снял трубку и позвонил.

– Товарищ Иванов, – сказал он. – Это Сичкин из военкомата... Я тут пришлю к вам гражданина... Надо разобраться... Берут человека без вашего ведома... Да, приезжего...

Я уже понял, что история с Михайловым была простой авантюрой. Слишком все складывалось просто. То, чего я боялся, совершилось, то есть мое незаконное оформление стало предметом официального расследования.

– Зайдете к Иванову из райотдела милиции, – сказал мне подполковник Сичкин обычным бытовым голосом и протянул бумаги. – Первая просека, дом три-А.

Я вышел на улицу. Вокруг на запорошенных снегом соснах было много вороньих гнезд, и воронье карканье еще больше угнетало. Конечно, ни к какому Иванову я идти не собирался, надо было как можно скорее исчезнуть, пока не подвел окончательно и себя, и директора дома отдыха, и Михайлова. Я торопливо зашагал к железной дороге, но запутался и неожиданно для себя вышел прямо к райотделу милиции. Я находился в чрезвычайной панике, может, потому и действовал нелогично. Единственным прочным местом моих бумаг была лиловая подпись участкового, все же остальное, вплоть до моей профессии аккордеониста, – липа, возможно даже уголовно наказуемая. Идти с этим в милицию самостоятельно мог только неопытный и потерявший рассудок человек. Тем не менее я вдруг вошел и поднялся на второй этаж, где располагался кабинет Иванова. Иванову этому было лет сорок с хвостиком, и у него было лицо чрезвычайно опасное для меня, светло-холодные глаза и вздернутый курносый нос, который на пожилых лицах выглядит почему-то особенно опасным. Едва войдя в кабинет этого милицейского полковника (а в моем положении опаснее места для меня трудно придумать), едва войдя, я тут же огляделся, и мысль немедленно бежать пронеслась в мозгу. К счастью, я сообщил, что этот мой поступок вызовет подозрение, к тому же окна зарешечены, а внизу у входа дежурит сержант, так что меня задержат сразу же внутри райотдела, не дав даже выбежать. А если и выбегу каким-то чудом, то меня без труда задержат на улице. Такие нелепые мысли терзали меня, пришедшего добровольно и по собственной инициативе. Если бы я не выполнил рекомендации Сичкина и скрылся, никто б меня, конечно, разыскивать не стал, и я бы просто вернулся к своему первоначальному положению человека без места, которое теперь, после пережитых страхов, не показалось мне столь ужасным. Однако ныне путь к неприятным, но безопасным для меня конфликтам с частными лицами типа Чертогов был отрезан, и я вступил в официальный конфликт с райотделом милиции. Бумаги мои за версту пахивали липой, попыткой обойти закон в лице райотдела и решить все на приятельском уровне (участковый, напоминая, был приятель директора дома отдыха, директор же, в свою очередь, находился в каких-то взаимоотношениях с Михайловым). Расчет был прост: на основании резолюции участкового меня берет на учет военкомат, после чего в группе паспортов мой паспорт передается непосредственно паспортисту, минуя верха райотдела. Путь достаточно скользкий, тем не менее в текучке дел, на которую рассчитывали мои покровители, такой вариант был бы возможен, если б не случилось непредвиденное: я по человеческим своим качествам, возможно даже просто внешним, не понравился чем-то подполковнику Сичкину из военкомата. Сичкин ощутил липу и махинации, идя от личных впечатлений; человеку же профессиональному, такому как Иванов, и этого не требовалось, достаточно было лишь взглянуть на бумаги, где все сшито было, как говорится, белыми нитками, то есть грубо сколочено. Например, техник-строитель оформлялся аккордеонистом, цель же приезда указывалась: «согласно трехмесячной курсовке». (При доме отдыха имелось санаторное отделение, где находились люди по путевкам или курсовкам здравотдела, нуждающиеся в длительном лечении. Очевидно, прописка таких лиц входила в компетенцию участкового, а не райотдела, но оформляться они должны были через главбуха, который состоял с директором в дурных отношениях. Вот почему

в анкете была записана трехмесячная курсовка, чтоб иметь право решать прописку на низшей инстанции, и в то же время паспорт мой должен был быть послан мимо бухгалтерии дома отдыха в общем потоке не отдыхающих, а временно проживающих на территории поселка.) Когда в мозгу моем пронеслась нелепая мысль о побеге и я отбросил ее как опасную, тут же возникла новая: придумать какую-то другую причину своего посещения и не давать бумаги. Но я отбросил и эту мысль, поскольку боялся запутаться, времени у меня оставалось в обрез, Иванов уже поднял голову и вопросительно смотрел на меня. Причем само мое молчание и растерянный вид могли вселить подозрение. Поэтому я пошел напролом, протянув бумаги. Иванов прочел их, как я и предполагал, внимательно (этого-то я и опасался. Любой правдивый и ясный анализ моего прошения был мне опасен, поскольку все было сделано в расчете как раз на ротозейство).

– Так вы работать приехали или лечиться? – спросил меня Иванов жестко и коротко (пронеслось: очевидно, таким голосом он вызывает конвой).

– Лечиться, – сказал я (судьба пошла мне в этот опаснейший момент навстречу, и голос мой не дрожал. Подлинное чувство усталости и отчаяние придали моей лжи искренний оттенок, а склонность моя к самообману облегчила мне возможность воссоздать атмосферу если не правды, то во всяком случае чего-то достаточно близко похожего на правду). – Лечиться, – повторил я. – А потом, если возможно, работать... Ехать мне некуда... Родных у меня нет нигде...

Иванов отложил бумаги, и на его опасном для меня лице я прочел некий интерес, не лишенный вражды. И понял, что, в отличие от военкомата, нашел правильную форму поведения, и надежда, покинувшая было меня, вновь затеплилась.

– Кто вы вообще такой? – спросил Иванов. – Расскажите коротко о себе.

Я начал рассказывать. Рассказ мой был путан, нелогичен и во многих пунктах неправдив, – например, об отце я утаил подлинность и напел бог знает что, но в то же время пережитые страхи как-то притупили фантазию и какие-то кусочки убогой правды о моей жизни, с детства неустойчивой, лишенной родительской поддержки, даже какие-то кусочки, мне неприятные, например о нищенской юности, которой я стыдился, проступили в этом рассказе (к слову сказать, нищенская юность, растраченная на борьбу с материальными невзгодами, заложила во мне большинство будущих пороков, достигших силы в период зрелости: физическая слабость от недоедания развила болезненное тщеславие и мужскую стыдливость, общественная ничтожность родителей, особенно, как я считал, в послевоенный победный год, развила лживость, постоянная нужда в поддержке со стороны развила отсутствие бескорыстия во взаимоотношениях с людьми...)

Не знаю, что именно произвело в моем рассказе впечатление на полковника милиции Иванова, но, вопреки логике, он вдруг если и не поверил моим словам, то во всяком случае решил, что, во-первых, опасности для государства моя жизнь не содержит, а во-вторых, как-то меня и пожалел.

– Не помните фамилию того, из военкомата? – спросил меня вдруг странно доверительно, как спрашивают человека, с которым вступают во взаимоотношения и делают общее дело.

– Сичкин, – еще не веря удаче, пролепетал я.

Иванов снял трубку, позвонил и сказал:

– Товарищ Сичкин, это Иванов. Я тут разобрался. В случае приезда на длительное лечение они имеют право решать на месте самостоятельно... Резолюция участкового у него есть... Так что я вам, – он посмотрел в мои бумаги, – я вам Цвибышева присылаю... Можете брать его на учет... Идите, – сказал он мне, повесив трубку, как-то тихо сказал. – Идите быстрее, пока он на месте.

Я не верил своим ушам. Сам безжалостный закон, одетый в строгую милицейскую форму, вступал со мной в заговор и выискивал возможность, чтоб обойти самого себя. Я пробормотал

благодарность, которую Иванов сделал вид, что не расслышал, углубившись в бумаги. И мне показалось, что в его движениях, после того как он меня пожалел, появилось что-то мелкое и неуважаемое, я заметил, например, что из рукава форменного с кантами кителя выглядывает конец синеватой нижней фуфайки, а на шее у затылка углубление, вернее, вмятина, поросшая седым волосом и совершенно немужественной формы (пулевые ранения редко бывают мужественной формы. Мужественный вид мужчине придают резаные и осколочные шрамы).

– Идите, – снова тихо повторил полковник милиции Иванов, меняясь буквально на глазах.

Что-то по-человечески угнетенное и слабое появилось в его горбящейся за столом фигуре, точно, из жалости вступив со мной в сговор против закона, он преступил невидимую черту сильных мира сего и даже в моих глазах потерял былой авторитет. Но продолжалось это не более нескольких секунд. Зазвонил телефон, и, забыв обо мне, полковник вновь начал говорить сильным, жестким голосом, выпрямившим его фигуру. Именно это и обрадовало меня, ибо придало его звонку в военкомат серьезное значение, в чем я невольно начал было сомневаться. Тем не менее у меня хватило ума вернуться к подполковнику Сичкину не как победитель, получивший поддержку начальника милиции, а как человек, выполнивший его, Сичкина, рекомендацию. Я понял, что в моей борьбе с законом главным начальником является тот, кто хуже ко мне относится, независимо от занимаемой должности.

– Все в порядке, – сказал я каким-то просительным тоном, который начал невольно приобретать в своей борьбе за существование, – все хорошо.

Я словно приглашал и Сичкина разделить удачу, а если возможно, повернуть дело так, словно именно Сичкин многое сделал для этой моей удачи. Правда, Сичкин не пошел мне навстречу, посмотрел на меня хмуро, злобно и презрительно, но документы взял, оформил и чуть ли не бросил их мне, не ответив на мою благодарность, начал нервно перелистывать какие-то папки. Если позднее, обжившись, я получил возможность обижаться и страдать от унижений Михайлова, человека, мне помогающего, то здесь, перед лицом человека, готового меня затоптать, не было, конечно, и тени подобных чувств, – наоборот, выйдя с оформленными документами, я ощутил необычайный прилив радости и к железной дороге шел в распахнутом, несмотря на холод, пальто, улыбаясь и рассматривая гербовую печать на моем подозрительном документе, о которой я мечтал и которую с презрительным смехом покажу Чертогам...

Далее все пошло быстро. Меня прописали в пригороде. Через своего приятеля (как я теперь выяснил от Мукало, некоего Евсея Евсеевича) меня, используя временную пригородную прописку, устроили на работу в Управление строймеханизации, а позднее, не знаю через кого, поселили в общежитии, переписав туда из пригорода и добившись для меня койко-места. Вот каких трудов, волнений и унижений стоило мне это место в углу за шкафом, с койкой на панцирной сетке и верхней полкой в тумбочке, где я держал продукты. Вот почему частенько, особенно перед сном, страх терзал меня последнее время. Спустя три года я вновь рисковал очутиться в прежнем висячем положении – без места и работы. Вернее, ныне работы я уже лишился, однако это пугало меня в меньшей степени, поскольку имелись сбережения. Но ночлег... Правда, я восстановил отношения с Чертогами. Иногда, когда требовалось пересидеть опасное время, как я называл про себя «комендантский час», пока не уберутся домой из общежития комендантша Софья Ивановна и завкамерой хранения Тэтяна, я у Чертогов бывал... И все ж теплоты у меня с Чертогами больше не было, и относились они ко мне как к просителю, несмотря на постоянные мои рассказы об удачах и благополучии. Это я определял по вчерашнему супу или подогретой картошке, которые они мне выставляли. Именно суп и картошка, иногда кусок жесткого мяса – как голодному просителю, а не стаканчик чая с печеньем, яблочко, конфетку – как просто гостю. У Чертогов было единственное место, где я ел даровой кусок с трудом, рассеянно, без аппетита, не приплюсовывая его к бюджету. Даже у старушечки Анны Борисовны я ел ее нехитрые угощения с большим удовольствием, не говоря уже о вели-

ких (иного слова не подберешь) обедах Бройдов. Но главное не еда... С едой можно обойтись, и собачье чувство благодарности, которое вдруг обурекает меня во время вкусного угощения, не более чем момент, эмоция, временное затемнение сознания... А койко-место – это постоянно и логично, как сама жизнь... Это и есть сама жизнь, и без койко-места человек утрачивает свое человеческое начало... Утрачивает возможность раскиснуть, расслабиться, утрачивает право на лень, одно из несправедливо презираемых человеческих чувств, доставляющих удовольствие и продлевающих жизнь. Лени, этого чувства благополучия, человек лишен в пути, вдали от родного дома, где ему позволены слабости и глупости...

Я лежал сейчас на спине, вытянув ноги, наслаждаясь небрежной своей позой, и после всех моих мытарств в течение суток испытывал попросту искреннюю нежность и любовь к своей койке, словно к живому существу, близкому мне и родному, по-матерински встретившему мое усталое тело. Тело мое болело во многих местах, так что трудно было даже определить, где именно, за исключением разве что боли меж лопаток, последствия удара Лысикова, приятеля Орлова, которому я натер морду пепельницей. Воспоминания об этом вызвали у меня на лице улыбку и успокоили, так что я, как случилось не раз, перестал думать перед сном о дурном, а, наоборот, начал думать об удаче. Как через друга моего Григоренко суну посредством подставного лица взятку кому-то из местного начальства (может, самому Маргулису или Софье Ивановне – Григоренко не уточняет, кому именно, и заявляет, что это дело не мое). Я избегаю в дальнейшем постоянных унижений от Михайлова, получу наконец устойчивое койко-место, к которому, несмотря ни на что, привык и, может, даже полюбил как родной дом, где стоят в тумбочке мои продукты и этак важно висит в шкафу, а не валяется скомканной в чемодане моя одежда... Эх, уехали бы Береговой с Петровым, да наладить бы отношения с Жуковым, хотя бы ценой публичного извинения... Мысли бегут приятно и легко, и я заранее уже знаю, что сегодня бессонницы не будет. Я поворачиваюсь на левый бок, лицом к стене, и начинаю осторожно покачиваться. Не знаю, когда возникла у меня эта привычка, но возникла она давно. Покачиваясь, я полностью расслабляюсь, расстрачиваю на покачивание остатки физической энергии, накопленной за день, которая вредит сну, однообразными движениями мешаю мыслям своим сосредоточиться на чем-то серьезном (ночные мысли любят, когда тело неподвижно) и перевожу мысли в тупой монотонный ритм, разумеется, если они не чрезмерно остры и беспокойны (тогда никакое покачивание не помогает). Правда, раза два надо мной за это покачивание смеялись, причем последний раз в этой комнате. Я лег усталый и, забывшись, начал укачивать сам себя еще при непогашенном свете и когда некоторые из жильцов бодрствовали.

– Гляди, – сказал весело Саламов кому-то (по смеху собеседника я догадался, что Жукову), – гляди, Гоше девка снится.

Я покраснел, притих, будто пойманный на тайном пороке, и в уме дал обет больше не покачиваться. Но прошло некоторое время, и я вновь стал сам себя убаюкивать, однако, приняв меры предосторожности, я поступал так, лишь когда позволяла ситуация. Сейчас была именно подобная благоприятная ситуация, все спали, и я тихо укачивал сам себя, слегка поскрипывая сеткой, чувствуя как бы со стороны приятную рыхлость и мертвость лежащего тела, словно моего и не моего, ощущение, наступающее обычно в преддверии крепкого мертвого сна, после которого не просыпаешься, а возрождаешься. Иногда, когда я входил полностью в это состояние, то есть укачивал себя продолжительное время в тишине, теплоте и темноте, то начинал вдруг испытывать к себе удивительную любовь или даже не любовь, а нежность, ибо сам себе я был тогда отец и мать, брат и сестра, сын и дочь... Не то что я думал подобным образом логически, скорее, бездумно ощущал приятно щекочущую родительскую ласку к самому себе в своем сердце, засыпал не одинокий, по-детски защищенный от бытовых невзгод, с детской улыбкой на лице.

Глава тринадцатая

Утром произошло событие, которого (не буквально, конечно, именно такого, а подобного) я давно опасался и которое нарушило мой дальнейший план, вернее, придало ему лихорадочность и торопливость, что в моем положении и при моем характере чрезвычайно опасно. Собственно, план мой также не был един. С одной стороны, я решил опять наладить связь с Ниной Моисеевной и через нее все разрешить удачной женитьбой и сытой устойчивой жизнью, которая меня, измотанного и уставшего, привлекала все более, особенно после утраты мной так называемой «великой идеи»... Даже в глубине души я сам над собой насмеялся за эту дурацкую идею, отнявшую у меня столько жизненных сил и оказавшуюся столь ничтожной и легковесной, что стоило ей лишь прикоснуться к действительной столичной необычности в компании Арского, как она рассыпалась в прах. Должен сказать, что я о том не жалел и в эти компании, куда, я понимал, закроет мне дорогу тихая, сытая женитьба, более не стремился. Однако в плане с Ниной Моисеевной было одно противоречие, то есть, на первый взгляд, небольшое и нелепое, в действительности же этот план почти что полностью перечеркивающее. Может быть, многим или чуть ли не большинству это противоречие покажется глупым и смешным, однако тут уж я в себе не волен, есть чувства, которые не переубедишь. Именно: в своих мыслях и в выборе фавориток (напоминаю – женщин, которых я часто встречал и в которых тайно платонически был влюблен) я чрезвычайно развратил свой вкус красавицами, так что не представлял себе ныне, как могу влюбиться или тем более жениться на некрасивой. А я почти был уверен в том, что круг знакомств Нины Моисеевны лишен красавиц и, наоборот, они сосредоточены в обществе, примыкающем к Арскому, то есть в обществе, куда, с одной стороны, мне вход был закрыт и в котором, с другой стороны, я разочаровался. Поэтому, наряду с планом наладить свою жизнь через Нину Моисеевну, существовал иной, также мной упомянутый: дать взятку через Григоренко и получить право на устойчивое койко-место в общежитии. Правда, в плане с Григоренко было немало вопросов и белых пятен, главное же – отсутствовала перспектива и цель из-за утраченной идеи, но интуитивно я полагался здесь на жизнь, которая, помимо моей воли, движением своим подтвердит правильность моих действий, суть которых пока скрыта от меня самого. Все это я продумал то ли во сне, то ли в полусне перед пробуждением, не пойму, – во всяком случае, открыв глаза, я уже знал твердо, что Нина Моисеевна и женитьба пока оставляются про запас, а на передний план выдвигается предложение Григоренко. Однако, открыв глаза, я тут же их зажмурил в страхе. Испуг был так неожидан и силен, что я, кажется, даже застучал зубами. У койки своей я увидел окровавленное лицо ребенка лет четырех, который пускал из ротика кровавые пузырьки и протягивал ко мне окровавленные ручки. Перед тем как застучать в страхе зубами, я, наверное, спросонья, не владея собой, не по-мужски как-то крикнул. Крика не помню, но какой-то визгливый женский звук замирал еще в моих ушах, когда ребенок заплакал. Никаких действий я не производил, помню твердо, и это важно как аргумент против клеветнических обвинений: значит, ребенка мог испугать только мой крик. Меня же, наоборот, испуг и плач ребенка несколько успокоили, я поднялся на локте, огляделся и понял, в чем дело. Я упоминал, кажется, ранее, что среди уборщиц была Надя, мать-одиночка (большинство женщин, прямо или косвенно связанных с нашим общежитием, по странному совпадению были Нади: Надя-уборщица, Надя-солдатка и еще одна Надя, жена Данила-монтажника). Так вот, Надя-уборщица, не любившая, кстати, меня, часто брала с собой своего мальчику и во время уборки сажала его в комнату на какую-либо койку или на стул. Должен сказать, что Надя невлюбила меня за то, очевидно, что я сразу почувствовал неприязнь к ее мальчику. Я, разумеется, никогда открыто неприязни не проявлял, но она, как мать, интуитивно все понимала. Мне кажется, что если самое прекрасное среди живущего надо искать среди маленьких детей, то и самое отвратительное можно также найти

среди маленьких детей. Есть дети, зарождающиеся от неприятных, истощенных, больных либо алкоголиков или вообще зарождающиеся бездумно, впопыхах, по-животному, и, пока они живут неосознанно, в облике их невольно проявляются какие-то алчные и цепкие движения зверенышей, поскольку уродцы эти на первых порах развиваются кое в чем быстрее нормальных детей. В то же время трогательные черты детской слабости у них выглядят жалко, как неразвитые рудименты, и потому вызывают брезгливость. Позднее такие люди, к сожалению в силу трудной и многосложной жизни, не представляющей особой редкости, позднее такие люди, вырастая, прячут по мере возможности первоначальные свои пороки, в которых повинны не они, либо под ординарностью, либо, наоборот, если врожденные пороки особенно сильны и неравномерны, под сознанием собственного превосходства и активной общественной деятельности. Но и в том, и в другом случае они утрачивают первоначальные свои античеловеческие черты и своим человеческим обликом, человеческой злобой и человеческими страданиями, а также многомиллионным количеством своим все более заводят в тупик цивилизацию, для которой, в соответствии с возобладавшими в последние два века материальными представлениями, человеком является любое существо, опирающееся на две ноги, а следовательно, подлежащее защите гуманных моральных норм...

Итак, вернемся к моменту, когда, проснувшись с определенным планом и решением, я вдруг увидел перед собой окровавленного ребенка и, пережив испуг, узнал в нем четырехлетнего сына уборщицы Нади. В мальчике этом не было ничего по-детски свежего. Пахло от него дурно, глаза у него были мутные, воротник обслюнявлен, ручки грязные, с нечистыми ноготками. Он страдал постоянно какими-то кожными болезнями, и поэтому Надя не отдавала его в ясли, а брала с собой. Вообще существо это было крайне неприятное и несчастное, для которого при наличии ума – спасение в затворничестве, но по молодости лет оно этого не знало и потому активно тянулось к людям, ожидая от них не столько ласки, сколько еды. Кажется, в некоторых комнатах мальчика любили и угощали. У нас, например, пожилой жилец Кулинич, когда бывал дома, играл с ним. Игра заключалась в том, что мальчик пытался сосать палец Кулинича с черным ногтем и трещинами, разъеденными строительным раствором... Мне это было противно, а Кулинич смеялся и, дав вдоволь пососать палец, угощал мальчика косточкой из борща или хлебной коркой. Несмотря на свое стесненное материальное положение, я тоже угощал мальчика – то куском булки, то мармеладиной (карамель не давал, боясь, что он подавится). Но к себе я Надиного сына все же не допускал и не мог скрыть брезгливости, отчего Надино материнское тщеславие этим возмущалось. Бытового тщеславия у Нади по бедности не было, и мне кажется, она специально брала мальчика с собой, чтобы его жильцы кормили. В этом-то я ее понимал. Зарабатывала Надя мало, и Саламов говорил, что, когда на стройке выдают получку и аванс, Надя спит с жильцами за деньги по комнатам. Якобы даже Софья Ивановна разок ее на этом застала и чуть не выгнала, пожалела, да и Тэтъяна, которая меня ненавидела, Наде покровительствовала (может, еще одна причина, по которой Надя не любила меня, чтоб угодить своей покровительнице). Что-то женственное в Наде было, при крайне непривлекательном, вспухшем каком-то лице – неплохая фигура, хорошие русые волосы, которые она заплетала в толстую косу и закручивала на затылке. После рассказа Саламова я тоже на нее иногда поглядывал с интересом, но тут же гасил эту мысль... Жизнь проклятая... Я пугался этих мыслей, но в то же время они вдруг возникали безудержно, по-животному...

Сейчас в комнате, кроме меня и мальчика, никого не было, и он ревел, пуская красные пузыри изо рта и размазывая по лицу то, что я принял спросонья за кровь и что было в действительности моим кубанским борщовым соусом. Тумбочка моя была открыта, и все пищевые запасы, на которые я рассчитывал жить не менее трех-четырёх дней, были перелопачены, измяты, доведены до брезгливого состояния. В банку с борщовым соусом он влез ручками и, пытаясь пить оттуда, напустил слюней, куски хлеба и колбасы были обжеваны, обсосаны и брошены,

сахар и карамель рассыпаны, на сливочном масле следы зубов и пальчиков, словно царапины крысиных лапок. К тому же от мальчика сегодня исходил особенно сильный запах кислоты и мочи. Ненависть (именно ненависть) и отвращение затмили мне рассудок, и желание изо всех сил ударить это ничтожненькое существо, громко плачущее, было так велико, что я толкнул его от себя, чтоб не ударить. Мальчик упал, по-моему удачно, ни обо что не стукнувшись, и заплакал совсем уж громко. Я сразу же пожалел о содеянном, тем более Надя, которая ходила вымачивать половую тряпку в туалете, а заодно уж и убрала туалет (вот почему ее так долго не было и мальчик творил что вздумается), Надя вбежала на крик сына, подхватила его на руки и разъяренно, как самка, защищающая детеныша, набросилась на меня. Я отвечал ей так же грубо, будучи разозлен чрезвычайно и озабочен потерей продуктов. Убирая туалет, Надя намочила платье, и сквозь мокрую ткань была видна ее грудь с большими сосками, чего она совершенно не стеснялась, тряся этими грудями в негодовании почти что у моего лица, поскольку я полусидел в постели, прикрываясь одеялом и не имея возможности встать из-за нижнего белья. Это делало мое положение беспомощным и отнимало у меня уверенность в споре, где я был прав и считал, что прав, за исключением разве что толчка этому гаденышу, ибо не сдержался и сглупил. К тому же подобную мощную нагую женскую грудь, полувывалившуюся наружу, признаюсь, я видел впервые так близко наяву, и оттого мысли мои вообще путались. Я терял логическую нить происходящего и вместо негодования, которое необходимо было мне, чтобы отвечать на те оскорбления, грязные слова, которыми осыпала меня Надя, начинал испытывать тревожную истому, исходящую от постели, в которой я не раз это чувство испытывал перед сном. Но ныне оно было таким, как никогда, – живое, реальное, как мое собственное тело, и дикие мысли, одна нелепее другой, овладели мной. Я сильнее натянул одеяло и сделал (как уверял себя сам) случайное движение, меняя позу, отчего Надина грудь мягко и тяжело скользнула по моей щеке. Я тут же отпрянул, надеясь, что движение это нельзя истолковать иначе, чем случайное, однако причиной моих надежд была моя неопытность, ибо женщину насчет подобного рода действий ввести в заблуждение невозможно. Надя как-то странно замолкла, и некоторое время, доли секунды, мы смотрели друг на друга с новизной и любопытством. Но тут вновь закричал обиженный мной мальчик, и Надя вернулась к прежнему. Она обложила меня напоследок матом и ушла, хлопнув дверью. (У меня возникла дикая совершенно мысль, что иной причиной возврата Нади к враждебности против меня была моя нерешительность.) Едва дверь захлопнулась, как я вскочил и принялся торопливо одеваться. На душе не было ни страха, ни злобы, ни раскаяния, а какая-то муть. Я собрал все мои продукты в газету, вышел в коридор и выбросил в мусорный ящик. Кое-что оставалось не лапанным мальчиком – например, некоторая часть карамели, но мне было противно, и я выбросил все. Внизу, на первом этаже, бушевал бабий скандал. Надя громко, истерически плакала (в комнате моей она не плакала, а лишь ругалась матом). К плачу Нади подмешивался полный ненависти в мой адрес голос Тэтяны и низкий мужской тембр Софьи Ивановны. Я понял, что попался, и в сложившейся чрезвычайной ситуации начал обдумывать свои дальнейшие действия. Прежде всего я надел пальто, вложил в боковой карман все документы, сберкнижку и наличные деньги, взял шапку, запер дверь и пошел в двадцать шестую комнату. К счастью, и Григоренко, и Рахутин были дома и завтракали. Горка пахучей, с чесноком, домашней колбасы лежала на газете (видно, кто-то из ребят получил из дома посылку), стояли две бутылки пива, баночка топленого сала, груда серых домашних коржей, на которые они мазали масло. Еда вкусная, но распорядились ею ребята, по обыкновению, неэкономно: ели все сразу и с объедками. Мне б всего этого хватило не менее чем на неделю.

– Ты где пропадал? – спросил меня Витька.

– Он в высшем обществе вращался, – ответил за меня Рахутин. (Рахутин любит иногда подковырнуть.)

– Садись, пережри это дело, – сказал Витька.

Я сел, намазал корж, но не маслом, а салом, что вкуснее, – удивительно, как это ребята не понимают. Сверху наложил домашней колбасы, густо, не так, как ем свою, – наложил не жалея и неэкономно. Тем не менее, несмотря на то что этим завтраком я несколько компенсировал потерянные продукты, ел я без аппетита, с тревогой прислушиваясь к шуму снизу. На лестнице послышались шаги, потом они затопали в коридоре. Я сидел затаив дыхание, не слыша, что говорят ребята. Ходили, очевидно, комендантша и Тэтяна, разыскивали меня.

– Слышали шум? – сказал я как можно более развязно. – Это из-за меня... С Надей поскандалил.

– Наде надо было трешку дать, – сказал Витька, – еще б и удовольствие получил.

– А он на уборщиц не разменивается, – сказал Рахутин.

Шаги приблизились и остановились перед нашей дверью. Я понял, что обнаружен, и торопливо прожевал кусок. Хоть я и ждал стука, но, когда он раздался, требовательный, чужой, несущий опасность, сердце мое защемило.

– Войдите, – сказал Рахутин.

Вошли комендантша Софья Ивановна и Тэтяна.

– Цвибышев, – сказала мне комендантша, – во-первых, почему вы так себя ведете по отношению к уборщице, а во-вторых, через неделю мы вас будем выселять... Три года вы нам голову морочите своими махинациями... У нас теперь строгая инструкция, никаких поблажек. Мы из седьмого корпуса уже двух выселили, нам вербованных размещать негде.

Я понимал, что унижения и просьбы в моем положении лишь ослабят мою позицию, и потому пошел напролом.

– Не имеете права! – крикнул я. – Попробуйте только пальцем прикоснуться к моей постели, как бы вам не влетело так, что и внукам своим закажете. С работы как бы вы сами не полетели...

Тут я очень перехлестнул от волнения и напортил. Можно было ответить резко, ибо иного выхода не было, но с достоинством и без личных угроз, тем более в моем бесправном положении смешных. Но главное, я сам им подал мысль прибегнуть к средству, являющемуся последней мерой перед выселением, то есть отобрать постель... Подобные угрозы лишить меня постели возникали уже раза два, но лишь в конце, после многомесячной борьбы, телефонных звонков и разговоров, как конечный способ давления, на который я обычно находил достойный ответ через Михайлова, понимая эту угрозу как сигнал игры ва-банк. Ныне я необдуманно словами своими сразу же, не наладив еще в этом году связей и не выяснив подлинного положения дел, переводил игру ва-банк. И действительно, Тэтяна сразу же за это ухватилась.

– Давно надо было у подобного проходимца постель отобрать! – крикнула она, глядя на меня с ненавистью. – И вообще, – сказала она потише и искренне, – будь моя воля, я б его головой под трамвай сунула.

– Ну, так тоже не надо говорить, – сказала ей комендантша Софья Ивановна, – зачем же вы тоже так грубо?.. Надо по закону.

– Пошла вон, сука! – крикнул Тэтяне обзлившийся Витька Григоренко. – Софья Ивановна пришла, это другое дело... А ты топай в свою конуру и не твякай.

– Сам не твякай! – покраснев, крикнула Тэтяна. – Он вон Колечку избил, Надиного сыночка...

В дверь с любопытством заглядывали жильцы из других комнат. Заглянул и Адам, который неожиданно поддержал Тэтяну и обругал меня. Он, кажется, очень любил Колечку и хотел даже жениться на Наде, но она со смехом отвергла предложение дурачка (эту подробность я узнал позднее от Саламова). Скандал между тем еще более обострил обстановку и был не в мою пользу. Витька это понял, встал и надел пальто.

– Пойдем отсюда, – сказал он мне.

Мы вышли на улицу. Вовсю дул гнилой, ненавистный для людей душевно взволнованных ветер, и таял снег.

– Ничего, – сказал Витька. – Я вчера с ним опять говорил – сделает. Он знаешь сколько уже народу устроил? Славка Бондарь, знаешь его? Из сантехников... Он ему койко-место сделал. Тот, правда, на это месячную зарплату свою положил.

– Да зарплата-то чепуха, – небрежно махнул я, поскольку уже мысленно подсчитал и выделил средства из запасных своих фондов, сильно их этим урезав почти до минимума. – Дело не в деньгах, – добавил я.

– Ну, тем лучше, – сказал Витька, – справку с работы сдал?

– Я рассчитываюсь, – сказал я. – Подал заявление. Надоело в дерьме вкалывать. Что-либо получше хочу подобрать.

– Да ты что? – Витька остановился и посмотрел на меня с испугом и растерянностью, из чего я заключил, что он настоящий друг и искренне переживает. – Скотина ты безрогая, нашел время с работы уходить! Они ж на тебя зуб имеют, без справки они ж тебя сразу выбросят, и дядя Петя не поможет.

Тут уж настала очередь мне возмущаться и удивляться.

– Какой дядя Петя? – быстро спросил я.

– Какой-какой? – раздраженно сказал Витька. – Истопник... Истопника не знаешь?.. Ты вот скажи, где справку возьмешь?.. Без справки и дядя Петя ничего не сделает.

– Да пошел ты! – крикнул я, чувствуя, что теряю почву под ногами, и рассчитывая уже мысленно, куда бы метнуться за помощью. И как ни вертел, оставался один испытанный путь – опять унизиться перед Михайловым. – Я думал, у тебя связи в управлении, в жэке, а ты на истопника рассчитываешь, – сказал я.

– Что ты понимаешь? – крикнул Витька (мы с ним чуть не поругались весьма некстати). – Ты справку давай, остальное не твоя забота.

– Да справку мне дадут, – сказал я, – в прошлый раз сколько справок принес, а они на них ноль внимания, пока сверху не позвонили... Разные ж ведомства... А наше СМУ меня общежитием не обеспечивает.

– Пусть это тебя не волнует, – сказал Витька. – В таком деле еще неизвестно, где верх, а где низ. – Витька мне подмигнул.

Я улыбнулся в ответ и успокоился. Витька – настоящий друг. Конечно, голову свою он за меня не подставит, этому противоречит его ясный разум, незнакомый с романтизмом, однако во всем остальном на него можно твердо рассчитывать. Насчет справки я был уверен. Во-первых, я только-только подал заявление, причем по своей воле. Ирина Николаевна напечатает, а Мукало подпишет. К Брацлавскому я и ходить не буду... Конечно, были и опасения, но опасения существуют всегда и у каждого, тем более у меня, человека, которому немало пришлось перетерпеть от расчета на одну лишь справедливость либо снисходительность – на то, на что в делах жизненно важных рассчитывают лишь люди неопытные и несерьезные...

Первый, кого я встретил, войдя в ненавистный мне двор управления, был Шлафштейн. Он, видимо, уже получил наряд и шел к трамвайной остановке, чтоб ехать на объект. Но, увидев меня, Шлафштейн вернулся.

– Вот он, герой Севастополя, – сказал Шлафштейн Свечкову, который стоял у входа, – полюбуйся, Володя.

– У тебя голова есть? – сказал мне Свечков и постучал себя по лбу. – Ты чего заявление подал?

– Мы ходили к Брацлавскому... – сказал Шлафштейн. – И Сидерский ходил, и Коновалова... Даже Юницкого обработали... Я тебя на свой объект взять хотел, там для тебя хорошая работенка... А Брацлавский говорит: ничего не могу поделывать, он подал заявление и уже уволен.

– Да, – сказал я. – А вы хотели, чтоб Брацлавский мне трудкнижку испортил... Написал бы за развал работы...

– Вот человек! – сказал Свечков, глянув на Шлафштейна. – Да неужели ты не понимаешь, что у него не было никаких оснований?.. Даже Райков, этот бездельник, присланный сюда райкомом, точно тут собес...

– Ладно, ты тоже не шуми, Володя, – сказал Шлафштейн, оглядевшись.

– Нет, я о чем... – говорил Свечков. – Даже Райков говорил о нем хорошо... Сказал о самосвалах, которые он переправил на объекты из Конча-Заспы... Я начал после этого лучше к Райкову относиться... Завотделом кадров Назаров против тебя ничего не имеет, Юницкого мы обработали, Коновалов притих, когда я сказал, что беру тебя на свою ответственность... Один только Мукало против...

– Как, Мукало? – растерянно спросил я. – Ведь Мукало... Он предложил мне...

– Я все знаю, что он предложил тебе, – перебил Свечков, – неужели так много надо ума, чтобы понять, что Мукало согласовал это с Брацлавским?.. Мукало в управлении теперь главная сука, это все уже давно поняли, кроме тебя... Во-первых, он пытался противостоять Брацлавскому, рассчитывая не на трест, а повыше – на Главк... Но тут-то он и обделался...

– Отойдем, – сказал Шлафштейн.

Мы отошли и стали за глухой стеной ремонтных мастерских.

– Во-вторых, у него репутация покровителя всякого рода неустойчивых и нежелательных людей – без прописки или евреев, ну ты меня понимаешь. И чтоб эту репутацию поломать, найти общий язык с Брацлавским и починить свой стул, он готов сделать то, чего сам Брацлавский никогда б не сделал.

– Я нашел другую работу, – соврал я, главным образом, конечно, чтоб путем обмана и самообмана как-то придать себе вес, а также чтоб успокоить Свечкова, ибо меня трогало, как много сил и нервов тратит во имя меня этот, в сущности, чужой мне человек.

Это был честный (морально честный, производственно-строительные перегибы в расчет не шли), трудолюбивый парень, однако я чувствовал, что даже таким приятелем, как с Григоренко, я с ним быть бы не мог. Он был весь в работе, а помимо работы, вел тихую семейную жизнь и по уровню духовности стоял, пожалуй, ниже жильца моей комнаты Берегового, где-то в районе Кулиничка и Саламова. Шлафштейн был тоже честный человек, но в нем не было той самоотверженности, которую проявлял Свечков. Мне кажется, Шлафштейн менее Свечкова меня идеализировал и в глубине души мне не доверял. Тем не менее он вместе со Свечковым ходил ходатайствовать в мою пользу.

– Какую ты нашел работу? – спросил Шлафштейн.

– В проектном бюро, – сказал я, – в тепле, и зарплата хорошая.

– Вот видишь, Володя, – сказал Шлафштейн Свечкову, – я ведь говорил, что ему помогут. У него наверху знакомства.

– Да, – сказал Свечков, – конечно, в тепле лучше, особенно тебе, Гоша, с обмороженными ногами. Я ведь тоже подобрал тебе закрытый объект. Ясное дело, не бюро, но от ветра защищенный.

Он говорил искренне, но помимо его воли что-то разочарованно-обиженное было в его лице.

– Пойдем, Володя, – сказал Шлафштейн, – мы опаздываем.

– Желаю удачи, – сказал Свечков, и они ушли.

Мне было неловко, было такое чувство, точно я поступил непорядочно и неблагодарно по отношению к людям, бескорыстно, по собственной инициативе старавшимся ради меня и ради меня рисковавшим своей репутацией. Однако тут же возникло и раздражение. Я начал уставать от всех этих бесконечных ходатайств в мою пользу, делавших меня вечным должником чересчур большого количества лиц. Если уж нет возможности обойтись без покровителей, с

раздражением думал я, то надо хоть постараться ограничить их число, прибегать к их помощи лишь при крайней нужде и выбирать их самостоятельно. Нельзя позволить, чтоб покровители сами выбирали меня, даже в делах ничтожно мелких, пользуясь тем, что я ограничен во всем... Их действия кажутся мне бескорыстными и направленными исключительно в мою пользу, но, приглядевшись, можно обнаружить серьезную моральную выгоду, какую они извлекают, делая мне одолжение в любой мелочи, даже в приятном словце в мой адрес, оброненном в каком-нибудь присутственном месте... «Горе человеку, нуждающемуся в покровительстве хороших людей», – записал бы я в букваре и разучивал бы эту фразу по буквам с первого класса, ибо, если корысть твоя от общения с этими людьми чересчур велика или чересчур постоянна, ты рискуешь начать принимать добро требовательно и обидчиво, войдя в адский замкнутый круг, уменьшив количество столь нужных тебе хороших людей своей неблагодарностью и посеяв в них разочарование в содеянном ими добре...

В секретарской я поздоровался с Ириной Николаевной, которая была сегодня в очень красивой новой кофточке с красными полосами.

– С обновкой, – сказал я Ирине Николаевне, действуя тем не менее вопреки своим предыдущим мыслям и в угоду делу.

Ирина Николаевна кивнула мне не злобно, но и не радушно. Ее действия были абсолютно точны и соответствовали той неписаной науке, которую обязан пройти всякий технический работник учреждений, где твердый плановый порядок и необходимая практическая оперативность неизбежно тронуты, с одной стороны, издержками порядка – бюрократией и, с другой стороны, издержками практической оперативности – личными отношениями. Я был уже уволен, но в то же время в учреждении имелась серьезная группа лиц, которая считала это увольнение несправедливым. К тому ж ходили слухи о некоем моем покровителе, сидящем достаточно высоко. Более того, поскольку непосредственная инициатива моего увольнения исходила от Мукало, человека, дни которого в управлении были сочтены (кроме Брацлавского, Ирина Николаевна одна пока знала об этом), еще неизвестно, как среагирует в нынешней обстановке сам Брацлавский. Конечно, его простая натура бывшего кузнеца не терпит Цвибышева и хочет от Цвибышева избавиться, но в то же время за двадцать лет сидения в креслах сначала в качестве выдвиженца-директора бетонного завода, позднее директора автотранспортной конторы, а еще позднее начальника этого управления Брацлавский не только потяжелел и растолстел, но и приобрел необходимые для своей новой номенклатурной профессии навыки производственной интриги. Что, если с помощью такой мелкой ничтожной пешки, как Цвибышев, Брацлавский, который в отличие от Мукало всегда опирался на среднее звено – трест, захочет наладить отношения со звеном повыше, с Главком, где у Цвибышева, кажется, покровители? Ирина Николаевна знала, например, что Брацлавский, особенно после посещения его группой лиц и после совета с Юницким, с которым явно вступил в союз, чтоб «съесть» Мукало, мое заявление пока не подписал. Разумеется, людям, не посвященным в бездонные глубины производственно-управленческой интриги, состоящей из тысяч тончайших нервов, где весьма причудливо переплетаются подчас весьма далекие друг от друга факторы, таким людям может показаться странным, что моя нелепая личность может стать фигурой в крупной игре. Должен сразу разочаровать – она ею не стала, но вариант такой игры существовал, и Брацлавский с Юницким в своей борьбе против Мукало над таким вариантом некоторое время думали, пока не отвергли. Это я узнал позднее и, отсюда оттолкнувшись, идя назад по цепочке, аналитическим методом восстановил – разумеется, с неточностями, но, уверен, все ж достаточно близко к оригиналу, – о чем размышляла Ирина Николаевна, вежливо кивнувшая мне на мое поздравление с обновкой. Ирина Николаевна думала о форме и степени своего отношения ко мне, и я видел, что это ей непросто решить, ибо я не давал ей никакого конкретного повода, а технический секретарь обладает достаточно цепким, однако не абстрактным умом, и для эффек-

тивных действий ему необходимы конкретные причины. Я невольно, сам того не подозревая, пошел Ирине Николаевне навстречу.

– Напечатайте мне, пожалуйста, справку, – сказал я, – в общежитие надо.

Она с готовностью взяла плотный фирменный бланк и начала печатать. Теперь задача ее упрощалась. Надо было решать не вообще абстрактное отношение ко мне, а конкретное действие: пустить ли меня с этой справкой направо, к Брацлавскому, или налево, к Мукало... Поскольку не был еще подписан приказ, печатание такой справки ей лично ничем не грозило... Она знала, что Мукало эту справку точно не подпишет, подпишет ли Брацлавский, было неизвестно и зависело от принятого им решения, которого она не знала. Но она знала точно, что, если решение это отрицательно, Брацлавский будет ею недоволен, ибо она ставила его в положение, совершенно ему ненужное (он все-таки подумывал о моем покровителе в Главке), и принуждала его, а не Мукало мне отказать. Поэтому она все ж решила запустить меня к Мукало. Однако, то ли потому, что Ирина Николаевна колебалась, то ли потому, что ее все ж мучила немного совесть, ведь ранее она пыталась мне помочь по мере возможности и кое-что даже сделала для меня, в общем, как бы там ни было, Ирина Николаевна решила, очевидно, испытать судьбу.

– Кого печатать для подписи, – спросила она меня быстро и умело безразлично, – Брацлавского или Мукало?

Я помнил о предупреждении Свечкова насчет Мукало, но, во-первых, считал, что Свечков перегнул, а во-вторых, – и это главное – не хотел идти к Брацлавскому. За три года моей работы здесь я ни разу не общался с ним непосредственно. Не то чтоб я его боялся, а был он мне ну до того как-то телесно чужой, что я не представлял себе вообще возможности говорить с ним и, пожалуй, не нашел бы слов.

– Печатайте Мукало, – сказал я.

Ирина Николаевна напечатала, даже движением брови не выдав своих чувств. Она знала, что этим ставит последнюю точку в моей карьере здесь, в этом учреждении. У меня был единственный шанс сейчас, когда группа уважаемых работников выступила в мою защиту, посетив Брацлавского, по горячим следам попасть к Брацлавскому и, переговорив с ним, ценой, наверное, унижительных обещаний получить подпись под справкой о работе, тем самым механически отменив приказ о моем увольнении, который был уже завизирован Мукало, но не подписан еще Брацлавским. Тем не менее Ирина Николаевна послала меня к Мукало, успокоив свою совесть тем, что я сам этого просил, и тем, что ранее, когда было возможно, она делала мне добро.

Мукало, сидя за столом, что-то быстро и нервно писал. Я давно не видел его таким взволнованным и понял, что ко всему еще и пришел неудачно. Он посмотрел справку и сказал, глядя на меня снизу (он сидел, а я стоял):

– Как я буду подписывать справку, як вы уволены? (Он говорил с сильным украинским акцентом, что было признаком беспокойства, и сказал мне «вы», что было признаком отчужденности.)

– Но ведь я еще даже расчета не получил, – сказал я, – Митрофан Тарасович (я специально назвал его по имени-отчеству, чтоб перевести разговор в доверительную плоскость). Если я не сдам справку, меня выбросят из общежития... Мне негде жить...

Я сказал это с некоторой дрожью в голосе, но на Мукало это хоть и произвело впечатление, однако не то, на которое я рассчитывал.

– А что я вам могу сделать? – сказал он как-то раздраженно, по-бабьи. – Вот так всем помогай... Все требуют... Кто больной, кто многодетный, кто без прописки, у кого пятый пункт – еврей... Только тебе никто не помогает. – Кажется, он немного забылся, будучи чрезмерно взволнован. Он встал, обошел кругом стола, захлопнул дверь на секретный замок. – Тут же всюду слухают, – сказал он мне уже спокойнее и доверительней, что меня обрадовало. – Я

тебе вот что могу посоветовать (он сказал «ты», что обрадовало еще более). Ты сходи к Евсей Евсеевичу... Скажи, Мукало мне помогал сколько мог... Теперь не может... Устройте меня куда-нибудь в другое место... И насчет жилья... Ему только снять трубку и позвонить, он же мне звонил насчет тебя, думаешь, тебя бы взяли три года назад, если б не его звонок...

Я не знал, как поступить. Мысль пойти непосредственно к неизвестному мне моему покровителю, минуя Михайлова, который действовал через этого покровителя, мне нравилась, однако для этого надо было знать его фамилию и место работы. Спросить же о том у Мукало значило поколебать свой авторитет и выдать отсутствие прямой связи у меня с этим высокопоставленным лицом – связи, в которую многие верили. Тем не менее выхода не было.

– Как фамилия Евсей Евсеича? – спросил я Мукало.

Он посмотрел удивленно.

– Ты мне заднее место не морочь! – грубо сказал Мукало.

Пришлось пойти в откровенности еще дальше.

– Евсей Евсеевич знакомый моего знакомого... То есть Михайлова (не надо было называть фамилии), Михайлов старый друг моего отца (не надо было впутывать отца).

Все ж ценой такой откровенности мне удалось установить, что Евсей Евсеича фамилия Саливоненко, он ответственный работник министерства и министерство это расположено в здании республиканского Совета министров.

– Ты торопись, – сказал Мукало. – Лучше туда попасть в первой половине, если, конечно, сегодня приемный день... зайди по дороге в бухгалтерию, получи расчет, пока деньги есть... Иначе через две недели, не раньше, – крикнул он мне вслед...

Хоть Мукало мне справку и не подписал, я вышел с некоторой даже благодарностью у его адрес.

– Ну что? – с интересом, волнением и, кажется, с какой-то надеждой спросила меня Ирина Николаевна.

– Да все нормально, – ответил я, думая уже совсем о другом, о возможности одним ударом решить все на самом высшем уровне, а не копать по низам с бумажками.

– Подписал? – обрадованно и удивленно почти крикнула Ирина Николаевна.

– Не в бумагах суть, – ответил я. Ответил бодро, не знаю, почему Ирина Николаевна поняла, будто дела мои плохи, и вздохнула, как-то сникнув и начав печатать, низко пригнувшись над машинкой.

Я прошел в бухгалтерию, с опаской поглядывая на дверь производственного отдела, где сидел Юницкий. После бутылки вина, которую Юницкий нагло выпил за мой счет, мне он стал особенно неприятен. В бухгалтерии мне дали расписаться в ведомости. Я расписался и, лишь когда кассирша начала мне отсчитывать деньги, понял, что сумма чрезвычайно мала, пожалуй, четверть той суммы, на которую я рассчитывал.

– Почему так мало? – спросил я. – Тут же и зарплата, и компенсация за отпуск.

– Обратитесь к Андрею Борисовичу, – не глядя на меня, сказала кассирша. – Андрей Борисович, вот претензия у Цвибышева.

– Что такое? – сказал бухгалтер, надевая очки и глядя в ведомость. – Ах, Цвибышев... Ну, все правильно... Подходный, бездетность, и вот вычли с вас за сгоревший мотор.

Меня обдало потом сразу всего. Конечно, страдания из-за денег – признак плохого тона, но деньги эти были уже заприходованы в моем бюджете, распределены, я верил в них и в соответствии с этим строил свои жизненные планы.

– Какой мотор? – хрипло спросил я.

– Вам видней, – раздраженно сказал Андрей Борисович, – вот докладная и акт.

Речь шла о некоем электродвигателе экскаватора, сгоревшем два месяца назад. В принципе за техническую сторону механизмов отвечал не прораб, а механик. Однако в акте значилось, что экскаватор перегонялся своим ходом на недозволенное расстояние и в сложной

местности, что и привело к перегреву и выходу из строя электродвигателя. Все это было явной липой, и под липой этой стояли подписи Коновалова, механика, экскаваторщика и Сидерского, парня, который, в общем, хорошо ко мне относился и вместе со Свечковым ходил к Брацлавскому просить для меня.

– Скажите еще спасибо Юницкому, что мы с вас десять процентов всего удержали, – сказал Андрей Борисович, – согласно акту не менее тридцати-сорока удерживать надо... Вы бы еще должны остались.

Я взял деньги и вышел. Я быстро привыкаю к финансовым потерям и сразу же ищу способ их компенсации. Тут же в почтовом отделении рядом с управлением я написал письмо деду, прося у него займы с рассрочкой на год. Дед у меня не родной. Бывают неродные отцы – отчимы, а как назвать такого деда, не знаю. Это второй муж моей покойной бабки. Тем не менее, будучи человеком состоятельным, мне он иногда помогал небольшими суммами, как он писал, «на хозяйство», ожидая моей женитьбы, чтоб опять же, как он писал, «иметь от меня процент». Разумеется, он никогда не дал бы мне ни копейки, если б знал, что я вишу в воздухе и деньги мне нужны не на шифоньер или холодильник, а на хлеб. Поэтому я написал, что получил на работе квартиру и хочу приобрести мебель. Заклеив и отправив письмо, я вовсе успокоился и поехал в центр, к зданию Совета министров. Интересно чувство, которое я вдруг начал испытывать, направляясь в Совет министров. Это было некое сладостное ощущение, прикосновение к большой власти, хотя бы и в качестве просителя, но просителя высокого ранга, что поднимало мой авторитет, и на вопросы трамвайных пассажиров, выхожу ли на данной остановке, я отвечал как-то отрывисто и с достоинством.

Глава четырнадцатая

Огромное, облицованное от фундамента на высоту трех нижних этажей глыбами причудливо обработанного гранита, а выше – мрамором с медными заклепками-гвоздями здание с рядом мощных дверей из полированного дуба, меди и стекла, с широкими мраморными ступенями и двумя иглообразными мачтами, на которых развевались союзные и республиканские флаги, республиканский Совет министров, где сидел Евсей Евсеевич, мой незнакомый покровитель, произвело на меня какое-то тревожно-восторженное впечатление. Не скрою, может, это и глупо звучит ныне, в век (именно, в новый век, наступивший в конце пятидесятых годов, я не оговорился), в век закономерного и во многом плодотворного скептицизма к властям, – в те годы я еще не утратил детской восторженности перед высокой властью (подчеркиваю, не всякой властью, а высокой, хоть и тронутой уже анекдотами и бытом, но вблизи внушавшей еще сладкий трепет). Охваченный этим трепетом, я шел по ступеням в числе входящих и выходящих посетителей каким-то парадным шагом, словно мимо трибуны. Я подошел к центральной двери, но старшина велел мне с паспортом идти к третьему подъезду слева. Здесь дверь была поменьше, но стояла также охрана в лице пожилого сержанта, который, осмотрев мой паспорт, пропустил меня. Я снял пальто в мраморном вестибюле у блестящей никелем вешалки. За спиной моей зеркала отличного качества увеличивали пространство, и какие-то другие люди, каких нет за пределами этих оберегаемых вооруженной охраной дверей, какие-то избранники скользили в том пространстве, и я был в их числе. Я поднялся на третий этаж не лифтом, а по крытой ковровой дорожкой лестнице и, подойдя к коридорному окну, глянул вниз на трамваи и снующих пешеходов. Какая-то странная улыбка заиграла у меня на губах, родственная по приятности моей улыбке при взгляде на ночные огоньки с прибрежной кручи, но менее поэтичная, а более саркастическая, полная насмешки над тем, что внизу, и я испытал вдруг сладостное чувство власти, единственное, которое по силе равно любви, но значительно материальнее, чем любовь, и доступнее людям со здоровым, материальным, а не изнеженным сознанием. Конечно, все эти мои мысли человеку трезвому покажутся смешными. Левый блок Совета министров, где располагались комнаты обычных отделов ряда министерств, был открыт для всех по предъявлению лишь паспорта, однако следует помнить о моем низком положении в обществе, из глубины которого даже маленький нелепый повод, даже взгляд из коридорного окна, открытого для посетителей блока республиканского Совета министров, позволяет ощутить вкус высокой власти, подобно тому как из глубоких колодцев видны днем высокие звезды. И в это мгновение оплеванная и осмеянная идея моя вновь шевельнулась у меня под сердцем. Однако ныне под новым углом и в более конкретном обличье. Именно поэтому мой разговор с Саливоненко принял неожиданный характер. Я попал в неприятный день, и в секретарской длинный ряд одинаковых стульев был пуст. Секретарша Саливоненко была женщина в расцвете лет, чуть помоложе Вероники Онисимовны. Это была единственная слабость, принесенная с собой из обычного моего быта, которую я себе сейчас позволил, – подумать о секретарше как о женщине. В остальном же я действовал, повинуясь абсолютно новым чувствам, овладевшим мной в тот момент, впрочем находясь будто и в полусне. Впоследствии Михайлов, извещенный о моем визите, заявил мне, что я вел себя как авантюрист. Какая это клевета и неправда! В те полчаса я был ничем, а стал вдруг всем, пройдя через восторг перед красотой власти (власть ведь удивительно красива). Я глянул вниз сквозь зеркальные окна Совета министров, на уродство быта, на талый снег, на суетливых прохожих, и – в силу печальных обстоятельств, – не знающий тех житейских радостей, которыми этот быт полон, так в душе его оплевал и над ним надсмеялся, что не мог уже спуститься с высоты этого душевного презрения к обычной жизни... Властолюбие мое позднее, получив более весомый и конкретный толчок, раскрылось значительно сильнее и окончательно испортило мне нервы, подобно мечтам моим

о красивых женщинах, из-за которых я и на обычных женщин смотреть уже не мог. Сейчас же властолюбие, будучи частью моей натуры, но подавленное нищетой и бесправием, попав вдруг в благоприятные обстоятельства, хоть и ненадолго, обнаружило себя, причем в весьма пристойной форме личного самоуважения.

Всякие средние и низшие учреждения меня угнетают и делают трусливой личностью, здесь же я расцвел и почувствовал себя на равных с остальными обитателями этой, из мрамора и гранита, власти. Подобное лишней раз свидетельствует о моем естественном месте в верхах жизни, не сложись она столь трагично и не осиротей я в раннем детстве. Я сухо поздоровался с секретаршей и попросил ее доложить Евсей Евсеичу обо мне.

– Сегодня неприятный день, – сказала мне секретарша.

– Я по личному делу, – ответил я.

Одет я был не очень хорошо, в рабочий штопанный пиджак, а не в выходной вельветовый, поскольку визит мой сюда возник экспромтом. И то, что секретарша все ж доложила Евсей Евсеичу, свидетельствовало о глубоком внутреннем самоуважении, сквозившем во мне и заставившем ее по крайней мере не отмахнуться от меня. Впервые в жизни вошел я в кабинет крупного должностного лица. Будь здесь поменьше разноцветных телефонов, посуше и победнее обстановка, какой-нибудь тяжелый канцелярский стол, крытый стеклом с царапинами, с облупившейся краской несгораемый шкаф или иной атрибут низовой власти, я бы растерялся. Но сплошная полировка, отделанные дубом стены, книжный шкаф с золочеными переплетами Советской энциклопедии и то спокойствие, которое мне все это внушило, лишь подтвердили во мне наличие права на высшее, несправедливо отнятое у меня судьбой.

Саливоненко был человек либо еще не старый, либо хорошо сохранившийся, со свежими, правильными чертами лица и темными глазами, впрочем, несколько не славянского, а восточного типа, чуть навывкате. Без малейших залысин голова его была покрыта густыми, но совершенно белыми седыми волосами, что делало его привлекательным, особенно для мечтательных молоденьких девушек. В кресле передо мной сидела сама удача, одаренная всеми благами жизни, но я, человек обиженный, тем не менее почувствовал к этому удачнику расположение, что свидетельствовало лишней раз о чувстве самоуважения, которое пробудилось во мне под воздействием высшей власти...

Первоначально Саливоненко встретил меня вежливо-приятно и нейтрально-вопросительно. Я уселся в предложенное кресло и задумался на секунду-другую. Я думал о том, какое счастье было бы явиться сюда не с бытовыми просьбами и в поисках заступничества, что казалось мне стыдным, а как мыслящий человек к мыслящему, как к интересному собеседнику, ему первому и единственному открыть то, что накопилось за все годы, то высокое в своей душе, которое я оберегал от соприкосновения с текущей низшей жизнью. Но выхода не было, обстоятельства не оставляли мне иных возможностей, кроме как просить о бытовой помощи и покровительстве, тем более что он мне в свое время уже покровительство оказал, пусть и инкогнито. Однако уж все если так складывается, то надо хотя бы построить свою просьбу таким образом, чтоб выказать одновременно свою личность и не повторить ошибок взаимоотношения с Михайловым, то есть показать, что Саливоненко вкладывает усилия не в пустое место – Цвибышева (фамилию я пока еще не назвал), а спасая для общества нечто интересное.

– Я, собственно, хотел бы начать издаека, – сказал я. – В вопросе о нравственности Чернышевский стоит на заимствованных у Гельвеция позициях, что самоотверженность есть вид разумного эгоизма...

Я довольно точно продумал, как от подобного начала перейти к сути дела, но запутался и утерял нить, все более и более наслаивая неуместные мысли.

Саливоненко слушал с недоумением, но и с интересом, не понимая еще, во что подобное вступление выльется, и несколько ошеломленный. Главное, чего я добился, – интереса и отсутствия ординарности. Так что когда секретарша приоткрыла дверь, Саливоненко попросил

ее подождать. В моих словах был, конечно, элемент самолюбования, но давали о себе знать также и долгие часы, проведенные по собственной инициативе за бессистемным, но упрямым чтением, приобщение – невзирая на бесприютный быт и сосущие голодные позывы – к тому, что в принципе составляет роскошь человеческого бытия и в принципе сопутствует материальным излишествам.

– «Надобно бывает только всмотреться попристальной, – читал я уже по блокноту, который достал из бокового кармана, – в поступки или чувства, представляемые бескорыстно, и мы увидим, что в основе их та же мысль о собственной личной пользе... Лукреция закололась, когда ее осквернил Секст Тарквиний, – она поступила очень расчетливо...»

Конечно, я излагал не лучшее из того бессистемного потока знаний, который черпал вслепую в читальном зале библиотеки, однако Саливоненко меня ни разу не перебил, слушал внимательно. Правда, когда через некоторое время секретарша вновь несмело приоткрыла дверь, он на этот раз сказал ей: «Входите, входите». Я принужден был замолкнуть и ждал, пока Саливоненко прочтет принесенные секретаршей бумаги. Пауза эта, хоть и деловая, была молчаливым пренебрежением, и я понял, что Саливоненко привык ко мне и понял меня, однако, в отличие от Михайлова, сделал это не за два месяца, а за десять минут. Что-то погасло во мне, возвышенность моя исчезла, и, едва секретарша ушла, я уже без труда, тихим привычным голосом назвав фамилию, попросил о помощи и поблагодарил за помощь прошлую. Я начал рыком льва, а кончил писком мыши. Пусть так, но зачем Саливоненко столь низко оклеветал меня впоследствии перед Михайловым? Я говорил ему так много глупостей и в короткий срок изложил ему так много нелепостей, что правдивый их пересказ был достаточен, чтоб изобразить меня в смешном и недостойном, а может, и непорядочном свете. Да предоставь Саливоненко в мое распоряжение хоть половину глупостей, которые он получил от меня, я мог бы оправдаться перед Михайловым, не прибегая к клевете, а говоря лишь одну позорную для Саливоненко правду. Но он вел себя весьма пристойно, даже собственноручно записал свой телефон и попросил позвонить через неделю. Я ушел хоть и несколько обескураженный утратой самоуверенности, зато с надеждой. А он, как ныне выясняется, тут же позвонил Михайлову (как я мог надеяться, что он не позвонит, что поможет мне сам?) и сообщил Михайлову, будто его протеже явился самостоятельно (оказывается, был договор действовать только через Михайлова) и пытался выдать себя за крупного специалиста по производству небьющегося стекла. Когда я услышал от Михайлова это, у меня просто глаза на лоб полезли, да мне и в голову прийти не могло, я и не знал о существовании подобных специалистов. Даже Михайлов, человек, у которого я доверие потерял, и тот усомнился в справедливости обвинений Саливоненко. Правда, прямо мне Михайлов своих сомнений не выказал, однако я их ощутил, а Вероника Онисимовна, та откровенно сказала, что Саливоненко обманывает (оказывается, Саливоненко за ней ухаживал, я узнал о том впоследствии). В общем, все выяснилось, и я был – пусть не прямо, а в душе – в этом вопросе Михайловым оправдан. Потому ныне в подобном поступке Саливоненко меня занимает главным образом психология. Скажу откровенно, положение мое было настолько постыдно, что я тоже клеветал на Саливоненко, потому что тонул, потому что находился в безвыходности... Я был слабее Саливоненко, потому и клеветал, но зачем клеветает сильный?.. Да, Саливоненко когда-то помог мне довольно серьезно, но ныне он мало того что сам отступился от меня, в чем я, возможно, виноват из-за своего нелепого поведения и разговора, но хочет подбить на то же и Михайлова. Вот о чем надо думать – как нейтрализовать звонок Саливоненко к Михайлову, ибо, если и Михайлов от меня, человека, в котором он достаточно разочаровался за три года, окончательно отвернется, мне конец: я теряю ночлег, крышу над головой – и куда денусь, и кто мне поможет... Я сказал Михайлову, что Саливоненко с самого начала вел себя грубо (что, конечно, неправдиво) и в конце разговора предлагал денег на билет и на путевые расходы, чтоб я уехал из города и своим присутствием и поисками связей не бросал на него тень сына врага народа. Это была довольно топорная клевета от

отчаяния. Михайлов, кажется, также не очень ей поверил, но я видел, как он вздрогнул и переменялся в лице, принимая это за намек на себя. Время тогда было неопределенное. Кое-кого и реабилитировали, но кое-кто и числился по-прежнему во врагах, а некоторых из освобожденных отказывались восстанавливать в партии. Поэтому моя лживая версия, которая пришла мне в голову неожиданно, тем не менее была воспринята Михайловым растяжимо, и, таким образом, единственно эта выдумка помогла мне хотя бы частично удержать покровительство Михайлова. Я не мог отказаться от непристойных средств защиты, чтоб в начале марта не оказаться бездомным с двумя набитыми тряпьем тяжелыми ободранными чемоданами. И опять меня занимал вопрос: зачем Саливоненко, человеку из верхов, было тратить на меня свою фантазию, выдумывать нелепую клевету о моем авантюрном поведении и попытке выдать себя за специалиста по небьющемуся стеклу... Правда-то, правда ведь и так давала ему возможность объяснить Михайлову причины, по которым он, Саливоненко, оказывать мне помощь не намерен... Впрочем, весь этот вихрь обид и загадок разразился дней через десять после посещения мной Саливоненко. А до того, можно сказать, я прожил самую спокойную и приятную неделю в этот переломный период моей жизни. И все-таки для компактности я опять нарушу хронологию и перенесу финал моих взаимоотношений с Саливоненко сюда из наступившего позднее совершенно нового периода, когда я вершил расправу над своими обидчиками, угнетателями и врагами. Я позвонил Саливоненко по телефону.

– Это Цвибышев, – сказал я звонким, прерывающимся от ненависти голосом (у меня тогда все время был этот звонкий голос).

– Да, – спокойно и выжидательно ответил Саливоненко.

– Почему вы оклеветали меня... – начал было я вполне ясно и логично, но нервы не выдержали (я все время тогда находился на грани нервного припадка), и я крикнул: – Сука проклятая! – Это прямо в министерство и человеку, который, правда без особых для себя хлопот, одним лишь звонком устроил меня на работу, пусть плохую, отнявшую у меня немало здоровья, но дававшую мне на какое-то время кусок хлеба.

Учитывая вышесказанное, многие на месте Саливоненко бросили бы трубку, однако он проявил известное самообладание.

– Я объясню вам, – сказал Саливоненко завидным бархатным баритоном (бархатный баритон этот, безусловно, возбуждал девушек), – я объясню. Когда вы явились ко мне, я очень быстро понял, что передо мной нахал и авантюрист, но глупый человек... Я считал своим долгом предупредить Михаила Даниловича, человека доверчивого, о вашем подлинном лице, но вы наговорили так много невразумительной чепухи, что я решил придать вашей расплывчатой версии хотя бы вразумительный вид.

– Я выдавал себя за специалиста по стеклу? – крикнул я.

– Где-то около этой мысли вы вертелись, – сказал Саливоненко, – но убогость мышления мешала вам сформулировать.

Он издевался надо мной.

– Сталинская сволочь! – крикнул я, дрожа всем телом как в лихорадке.

Меня так трясло, что, несмотря на частые гудки в трубке, я некоторое время не решался выпустить ее из рук. И я решил избить Саливоненко и внес его в свой список...

Я уже слишком забегаю вперед, скажу, однако, что эта нелепейшая сцена как бы из иного мира хоть чуть-чуть позволяет понять, что происходило в обществе и умах. Конец пятидесятых годов характерен наличием самых настоящих революционных иллюзий в определенных кругах, но без революционной ситуации. Отсюда мгновенная ломка не общественных устоев, а душ, умов и личных отношений. Известный анархизм и беспорядок на недолгое время проникли во взаимоотношения между людьми, железный авторитет, сковывающий общество в целенаправленном единстве, исчез. Таким образом, мы становились свидетелями таких удивительных превращений, как мои взаимоотношения с Саливоненко. Сильный, который в твер-

дом, ясном обществе мог облагодетельствовать или уничтожить, ныне вынужден был клеветать на слабого, слабому позволено было кричать и потрясать кулаками, вернее, не то чтоб было позволено, а допускалось... Глубокий общественный слом происходит обычно снизу, низы же оставались монолитны... Трагедия сотен тысяч несправедливо пострадавших не приобрела массового сочувствия... То, что происходило на протяжении многих лет, лишено было простого и понятного народу величия страдания за правду, за веру, за любовь... Своеобразие молодой сталинской деспотии состояло в том, что, рожденная из общенародной справедливой борьбы против кучки угнетателей, она была поддержана подавляющим большинством народа и тем самым лишилась массового внутреннего врага, но тем не менее, подобно всякой деспотии, нуждалась в массовых жертвах. Своеобразие же жертв состояло в том, что в большинстве своем они были выделены обществом из собственной плоти своей, отлучены от общенародных страданий за отечество, пользующихся всеобщим уважением, и вынуждены страдать ни за что ни про что, то есть их страданиям была придана никчемность, ненужность, которая ни в коей мере не могла привлечь симпатии народа. Много не столько горького, сколько смешного и жалкого началось в период реабилитации – период, народу непонятный и раздражавший его... Те, кто прямо или косвенно пострадал, жили особой, нервной, не созвучной массам жизнью. И то, что случилось в конце пятидесятых, и как случилось, было не торжеством справедливости, а скорее последней, завершающей стадией разыгравшейся трагедии...

Впрочем, пора вернуться к хронологическому изложению событий... После прямого столкновения моего с Софьей Ивановной и Тэтяной между нами установилась некая выжидательная напряженность. Я наивно верил в возможности столь высокопоставленного лица, как Саливоненко, и, ни о чем не подозревая, не предпринимал иных шагов, тем более план с Григоренко рушился из-за отсутствия подписанной справки с печатью... Комендантша же и Тэтяна, как я ныне понимаю, выжидали умышленно, чтоб прямыми действиями не побуждать меня к контрдействиям и по прошествии определенного времени разом предпринять самые крайние меры. Не знаю, стояла ли на подобных позициях Софья Ивановна, но Тэтяна – определено. Неделя прошла быстро, как один день, поскольку прожил я всю одинаково хорошо. Утром встав (неделю подряд у меня не было бессонницы), я жарил себе на маргарине картошку, которую хранил в деревянной коробке из-под почтовой посылки, время от времени пополняя запасы этого вкуснейшего, сытного и дешевого продукта. Затем я пешком шел в библиотеку, затрачивая час, а то и более на прогулку. Ходить пешком я любил, шел ровным, легким шагом вначале под гору по крутой булыжной улице, затем, после перекрестка, наоборот, вверх мимо забора Ботанического сада. К тому времени уж совсем потеплело, снег еще лежал, и на карнизах висели сосульки, но в солнечные дни бежали ручьи, дышалось глубоко, по-весеннему, а на встречах девушек и женщин я глядел с такой нахальной жадностью, что многие из них даже замечали это, и те, что подурнее, иногда откликались взглядом на мой взгляд, но я тут же проходил мимо, ругая себя за это. Скажу также, что библиотека меня привлекала не столько конкретным содержанием книг, которые были мне, откровенно говоря, скучны, ибо брал я Чернышевского, Платона, Гельвеция и т. д., сколько общей атмосферой торжественной, библиотечному чинной духовности, которая после мелкой моей, нищей жизни в общежитии как бы приобщала к чему-то более высокому. Обложившись толстыми, уважаемыми книгами, я мог часами сидеть здесь, особенно вечером, при мягком свете настольной лампы, и, делая вид, что увлечен каким-нибудь открытым наугад томом, словно грезил наяву. Мысли текли легко, и, просидев так иногда несколько часов, я вставал душевно и физически отдохнувшим, словно после хороших снов. Лишь раз, будучи очень усталым, я действительно заснул и упал головой на металлическое ребристое основание настольной лампы, в кровь рассадив лоб... Две недели после этого я не показывался в библиотеке...

Я не хочу сказать, что приходил в библиотеку из-за женщин, это было бы несправедливо, но присутствие красивых женщин, которых я, безусловно, был достоин, но которыми был

обделен из-за подло сложившейся жизни, было немаловажной причиной, привлекающей меня сюда. Была, например, великолепно сложенная блондинка, которую я давно уже заметил, и всякий раз, приходя в библиотеку, осматривался, присутствует ли она. Однажды мне повезло, и место мое оказалось рядом с ней. У нее был чуть великоватый рот, и, надевая очки, вчитываясь, очевидно, в мелкий шрифт, она несколько меняла свой облик, но исходил от нее столь чарующий запах и руки ее, перелистывающие страницы, были полны такой белизны и благородства, что у меня кружилась голова, и я понял, что мог бы полюбить эту женщину навек и она стала бы моей судьбой, если бы не проклятая жизнь... Была также черноволосая худенькая девушка совсем иного плана, смешливая, так что ей часто солидные читатели и дежурная делали замечания. Лицо у нее было правильной формы, пропорциональное, но курносенькое, и ротик с пухлой верхней губкой, так что ставил я ее на второе место после блондинки. Правда, ходила в библиотеку одно время крепкая, спортивного вида, коротко стриженная девушка, которая могла бы, пожалуй, занять место сразу после блондинки, но вскоре ходить перестала. Нравилась мне и типичная украинка с усиками над верхней губой, лет тридцати, но, конечно же, все они не шли в сравнение с Нелей, красавицей, имя которой я узнал случайно. Неля в самой библиотеке бывала редко, чаще всего в ее филиале, газетном архиве, расположенном на другом конце улицы, в бывшем церковном здании. В газетный архив я начал ходить не из-за Нели. Меня привлекло чтение старых газет. Здесь я проводил время, читая и выписывая разнообразные понравившиеся мне факты, гораздо более делово, чем в библиотеке. Впрочем, в старом церковном здании архива было мрачновато и не было той светлой, теплой атмосферы не знающей нужды духовности, которая господствовала в читальном зале и которая способствовала приятным, успокаивающим душу снам наяву. Как ни увлечен я был платонической любовью к моим фавориткам читального зала, тем не менее мысли мои приобретали и иное направление, подчас, помню, тщеславное, подчас – неопределенное. Случалось также, что, начав читать для виду, я неожиданно увлекался. Но если в газетном архиве присутствовала Неля, я весь, забыв о себе, принадлежал только ей. Во взаимоотношениях с иными фаворитками, хоть мои чувства имели внешне бездейственный характер, я тем не менее внутренне часто переступал границы, перечеркивая платонические настроения... Духовная атмосфера читального зала придавала этой страсти особый аромат, особую светскую утонченность, это были взаимоотношения с женщинами, духовно богатыми, недоступными мне в моей жизни среди непривлекательных слоев общества. Но в Неле я не замечал ни ее фигуры, ни ее груди, ни ее губ, ни ее коленей. Лишь раз, случайно забывшись, я обратил внимание, что формы тела ее чрезвычайно женственны. Все же остальное время я видел только ее лицо безукоризненной красавицы, драгоценное ее лицо, созданное как дар даже и тем, кто лишь смотрит на нее. Это было очень белое, но не бледное, а именно ясно-белое лицо крупной брюнетки с длинными, но легкими ресницами, с густо-черными бровями, под которыми жили темно-голубые глаза, чудо природы, конечно же хранящее в себе добрую половину этой удивительной красоты. Рядом с красавицей, вносившей, мне кажется, одним своим видом праздник всюду, где она появлялась, сидела всегда какая-то пожилая, рыхлая блондинка. Наверное, они вместе работали в одном учреждении и приходили сюда по одному делу.

Я замечал у них газеты двадцатых-тридцатых годов, откуда они что-то переписывали на аккуратные кусочки плотной бумаги. Так вот, блондинка эта, едва я входил, начинала смеяться, поглядывая в мою сторону и шепча что-то Неле. Я краснел, но даже на эту рыхлую блондинку злиться не смел, поскольку она была близка к Неле, а лишь думал: как бы хорошо было, если б блондинка поняла и узнала меня. Вначале, когда еще была со мной моя идея, моя мечта, моя уверенность, что мир рано или поздно завертится вокруг меня, возникали даже дикие мысли открыться блондинке и сказать, как готов я жизнью и душой своей пожертвовать ради ее прекрасной знакомой. Готов не дышать, готов посвятить все свои возможности и душевные богатства, которые вот-вот, близится уже время, как обнаружатся, произведут неожиданный

фурор, все готов посвятить этой красоте, и ничего себе... Но робость и опасение быть неправильно понятым заставляли меня откладывать этот разговор. Блондинка продолжала смеяться, и как-то, когда я листал газетный каталог, красавица подошла, также выдвинула один из ящиков каталога и сказала негромко, но голосом грудным и до того волнующим, что первые доли секунды, вслушиваясь в одну лишь музыку этого голоса, я не понимал слов.

– Перестаньте смотреть на меня, – сказала красавица, – как вам не стыдно, вы мешаете мне работать... Вы мне отвратительны... Крыса проклятая...

Уверен, насчет крысы она добавила уже в сердцах, поскольку блондинка продолжала смеяться... Я знаю, есть люди, лица которых похожи на крысиные морды. Знаю несколько таких человек. Не обязательно даже, чтоб нос был длинный, важно, чтоб общая конфигурация лица имела острые, выдающиеся вперед черты. Подчеркивают это сходство и туго зачесанные назад волосы, не говоря уже о небольших, щеточкой, усиках. Я знаю, например, одного прораба «Промстроя», фамилия его Губин, с чрезвычайно крысиным лицом, что неоднократно отмечал про себя с улыбкой. Но у меня ничего подобного нет, лицо у меня круглое, и если уж перейти на зоологические сравнения, то скорее напоминает филина. Тем не менее «крыса проклятая» из уст женщины, прекраснее и дороже которой не было для меня ничего, так сильно подействовало, что руки и ноги мои как-то сами собой ослабели и двигались не повинаясь мне, а самостоятельно и вяло. Я с трудом, напрягая мышцы лба, чтоб не закрылись глаза, ибо тогда мог случиться и позорный обморок, сдал свою подшивку газет и, кажется, шатаясь ушел.

Случилось это в начале зимы, в декабре, и ужасно было мое состояние, до того ужасно, что не помню, что испытывал и как страдал и была ли с моей стороны обида. К счастью, – я не верю в Бога, но считаю это необъяснимым феноменом природы, – к счастью, я вскоре встретил Нелю случайно, встретил одну, в центре, на бульваре. Никогда до того я ее нигде на улице не встречал. Мы шли навстречу друг другу, и между нами начались какие-то взаимоотношения, которые усиливались по мере приближения друг к другу, я в этом уверен, а когда приблизились, то Неля вдруг подняла свои темно-голубые глаза и прикоснулась, мягко и нежно, взглядом к моему лицу. И прошла. Прошел и я, не смея обернуться. То место, к которому она прикоснулась взглядом, место на левой щеке, горело.

Я начал опять ходить в газетный архив, всякий раз используя любую возможность, часто убегая с дальних объектов и не являясь на планерки. Рыхлая блондинка по-прежнему смеялась, однако я, не обращая внимания, смотрел на мою любовь, и она более не оскорбляла меня, может быть почувствовав, как больно мне стало тогда, и взглядом на бульваре словно бы извинившись за ту, причиненную мне боль. Я знал, что никогда не достигну моей любви из-за проклятой жизни, которую лишь дали мне родители, чтоб оставить меня затем одного на нищету и унижения. И, изнывая от горя и бессилия, обидного особенно теперь, когда получил первый отклик этого любимого сердца, я шарахался в нелепейшие, опасные мечты, желая, например, чтобы Неля попала под машину и, лишившись ног, не нужная никому, из баловней судьбы стала бы доступной мне. Впрочем, приступы любви не всегда достигали такой силы, иногда они ослабевали либо исчезали, становясь как бы приятным воспоминанием, чтоб через некоторое время вспыхнуть вновь и стать явью, когда я случайно встречал свою любовь в газетном архиве и имел возможность смотреть на нее. Последнее время Неля бывала в газетном архиве все реже, а потом и вовсе исчезла. Поэтому я прекратил посещать архив и спокойную неделю, наступившую после визита к Саливоненко, полностью провел в читальном зале, тем более что там появилась новая читательница, которую я видел лишь мельком, поскольку, когда я пришел, она сдавала книги, собираясь уходить. Однако она заслуживала самого серьезного внимания, если, конечно, станет постоянной посетительницей, ибо немало красивых женщин, появившись лишь один-два раза, исчезали, и, таким образом, на них мой серьезный интерес распространен быть не мог.

Глава пятнадцатая

Ровно через неделю после посещения моего Саливоненко, то есть в понедельник, проснувшись в десятом часу, я понял, что спокойствие кончилось. Собственно, само спокойствие также было весьма относительное, ибо разнообразные тревожения, безусловно, касались меня в эту неделю. Начав жарить себе систематически на общей кухне картофель, я, как и предполагал, вступил в конфликт с женами семейных, что было мне весьма ни к чему. Будучи неумелым поваром, я разводил копоть, грязь, которую им приходилось убирать, а также занимал место на газовой плите, так что на меня ходили жаловаться, последствия чего выплыли во время событий данного понедельника. Кроме того, я узнал от Саламова о некоей непонятной повестке, прибывшей на мое имя.

– А ты разве не видел? – удивился Саламов. – Она на тумбочке внизу лежала, где почта... Ну когда ты у девки ночевал (я тогда ночевал у Илиодора). Из военкомата повестка...

«Еще чего не хватало, – с тревогой подумал я. – Как некстати...»

– Да не из военкомата, – не глядя на меня, сказал Жуков (мы с ним иногда вновь начали заговаривать, и это было хорошо, укрепляло мои позиции в комнате, тем более Жуков первым начал заговаривать со мной). – Из военной прокуратуры повестка.

Я растерялся. По какому бы поводу, что еще за дьявольщина?.. Года два назад у меня был объект – учебный аэродром военного училища... Планировка... Работы шли там неудачно, и наше управление оттуда убрали... Руководил там Сидерский; может, что-либо всплыло, опять хотят на меня, как со сгоревшим электродвигателем... Нет, уж больше не выйдет... Но ведь положение мое таково, что, если начнется расследование, может выплыть совершенно иное, мое личное. Не производственные мои махинации, которых не было, а махинации по личному устройству...

Я разволновался, даже немного впал в панику из-за проклятого воображения, и Жуков это заметил, как я ни пытался скрыть.

– Брось ты, – сказал он мне, – если б что серьезное, они б тебя давно уж из-под земли достали... А прошла неделя, даже больше, бумажка куда-то затерялась вообще, так что плюй...

Я подумал и согласился, хоть некоторое беспокойство и осталось. Еще позлился я, наткнувшись в архиве (разок я все ж был в архиве, не более часа, надеясь увидеть Нелю), наткнувшись в архиве на антисемитскую басню про еврейскую козу, которую читал в компании Арского Илиодор. Не знаю, почему это меня разозлило и заставило понервничать. Несуразица какая-то. Где-то в глубине души, может быть, потому, что мы вместе потерпели обиду, я хотел оправдать Илиодора, что он хоть лично честный парень, а он и в идее своей врал, и использовал чужую басню из черносотенной газеты за 1911 год. Адрес его у меня случайно сохранился в блокноте, и я написал ему письмо, пытаясь как можно сильней причинить ему душевную боль острыми репликами и сравнениями, но, будучи сам в разболтанном состоянии духа, не сумел найти красивых едких слов, полных сарказма, а чуть ли не по-заборному обругал. Заборную ругань я, спохватившись, хотел вычеркнуть, но уже опустил письмо в ящик. Правда, случилось это в конце недели, когда после многочисленных звонков, на которые раздраженно отвечала секретарша, я уже понял, что Саливоненко мне не поможет, хоть большего, то есть о его звонке к Михайлову и клевете, еще не знал. Таким образом, понятно, почему, будучи взволнован, я не мог написать Илиодору достойное его мерзостей и моих двадцати девяти лет письмо, а соорудил что-то юношески заносчивое, с заборными грубостями. Да дьявол с ним, не о нем сейчас думать, когда после рухнувших на Саливоненко надежд я начал ощущать весьма реально возможность самого катастрофического для меня развития событий. С этим ощущением я и проснулся в то утро, и это ощущение настолько обострило мои чувства, что по одному лишь ритму шагов в коридоре да по хлопнувшей внизу двери я сразу уловил приближение

опасности. Я вскочил рывком и начал торопливо одеваться. Я понял, что, пока глупо надеялся на Саливоненко, жилконтора подготовила постановление. Пригнувшись, как загнанный зверь, метался я по комнате, растерянный, одинокий и не готовый к борьбе. Однако, постепенно взяв себя в руки, я начал прислушиваться и на основании некоторых признаков определил, что речь идет не о прямом немедленном выселении, а о его предварительной стадии, то есть об отнятии постели. Я понял это, поскольку не слышно было голосов не только участкового, а даже и дворника, а, судя по всему, за дверьми находились лишь Софья Ивановна и Тэтяна, которые звали уборщиц Надю либо Любу для того, чтоб вынести мою постель в кладовую. Однако ни та, ни другая не откликнулись. Как выяснилось впоследствии, обе они прятались, чтоб не участвовать в отбирании постели. Люба всегда относилась ко мне хорошо, с Надей же что-то произошло после того столкновения, послужившего, собственно говоря, и поводом к быстрому развитию событий. Разразившись шумным скандалом, она после как-то притихла и смотрела на меня, когда встречалась, странно и по-новому. Кажется, даже с теплотой, ныне неприятной мне, особенно из-за ее истерического поведения и усиливавшегося отвращения к ее малышу, обсосавшему мои продукты.

Я понимал: Софья Ивановна явилась к десяти, надеясь, что меня нет, ибо хотела взять мою постель тихо и без скандала, поставив меня перед свершившимся фактом. Хоть положение мое было почти что безнадежное, но в минуты крайней опасности человек преобразается, проявляя максимум находчивости. На этом ее просчете я и решил строить свою защиту. Резко распахнув дверь, я оказался перед моими гонителями, приведя их в некоторое смятение. Тэтяна, правда, тут же опомнилась и крикнула:

– Кончились твои денечки! Освобождай место для рабочего человека!

Изловчившись, она проскочила мимо меня, потянула одной рукой одеяло, другой схватила подушку. Она знала, что одним рывком ей матрац не захватить, однако хотела, на худой конец, первоначально лишить меня хотя бы подушки, одеяла и простыней, чтоб позже забрать остальное. Действовала она стремительно и ловко, но споткнулась о стул, и здесь я ее перехватил, зажав правой рукой одеяло; подушку же Тэтяна, перегнувшись, успела бросить Софье Ивановне, но не добросила, и подушка упала на пол. Сцена вся – с моей стороны по необходимости, а со стороны Тэтяны по хамской сути ее – носила характер уличный, хулиганский и явно была Софье Ивановне не по душе.

– Оставьте, Татьяна Ивановна, – сказала Софья Ивановна. – Он и так вынужден будет подчиниться, придем с милицией.

Она нагнулась и, поморщившись, подняла с полу подушку, положила ее на ближайшую (Саламова) койку. Однако Тэтяна не унималась, тянула к себе скомканное вместе с простынями одеяло, стараясь толкнуть меня локтем в грудь. Передо мной стояла весьма сложная задача – оттеснить от моей койки Тэтяну, не нанося ей удара, на что она весьма надеялась, попросту нагло подставляя лицо, чтоб соорудить на меня протокол. К счастью, мой друг Григоренко, который все увидел и понял ситуацию, сбегал за Юрой Коршем в клуб. Воспитатель общежития Корш не обладал никакими возможностями и административными правами, но мог несколько нейтрализовать и замедлить события, что он и сделал. Взяв Софью Ивановну об руку, он отвел ее в сторону, о чем-то тихо говоря. Григоренко же, Митька-слесарь и Адам, который в этом конкретном скандале был почему-то за меня, хоть в прошлом скандале он был против меня, – итак, все они вступили в перебранку с высыпавшими на помощь Тэтяне семейными, которым я успел своей неряшливостью насолить на кухне.

– Вот, Софья Ивановна, – кричала Тэтяна, – я же говорила, надо было с дворником!.. И куда это Надя и Люба подевались?

– Давай к Маргулису, – шепнул Григоренко, – я постель покараулю.

Я побежал прямо без пальто, хоть на улице вновь подморозило. Маргулис встретил меня раздраженно и неприязненно:

– Софья Ивановна и Шовкун (фамилия Тэтяны – Шовкун) выполняют мое распоряжение, вы даже не сдали в этом году справки с места работы... У нас не хватает мест для вербованных... Почему вы ворвались сюда с какими-то требованиями?... Какие у вас есть на это права?..

– Извините, – сказал я, – я, собственно, не требую, а прошу... Я одинок, я окажусь на улице, войдите в положение...

Я говорил с Маргулисом впервые и определил, что человек это, хоть и канцелярист, сухой, но склонен при личном контакте к сантименту, то есть вполне может подписать бумагу о выселении, однако, сам столкнувшись со мной, выселить не в состоянии.

– Вы не можете на меня обижаться, – сказал Маргулис уже менее раздраженно. – Я делал все что мог три года, сейчас не могу... Я тоже хочу спать спокойно. Хотите, я покажу вам жалобу в райком из-за вас? Сдайте справку, и я обещаю вам неделю, ну две, так и передайте Михайлову, но сделать больше ничего не могу. В этом году местами распоряжается непосредственно наше управление, площадь Калинина, три... Пусть попробует через Горбача...

– А кто это? – спросил я.

– Михайлов знает.

– Ну, спасибо вам огромное.

Я сказал это настолько сладко, впрочем переполненный искренней благодарности, что самого меня покорило, не говоря уже о Маргулисе, члене партии с девятнадцатого года, инвалиде Гражданской и Отечественной войн, бывшем замнаркома местной промышленности республики (о всем этом узнал впоследствии).

Я вышел. В общежитии вновь царил тишина. Койка моя была застлана, и Витька Григоренко сидел на ней, дожидаясь меня. Я сел рядом с ним.

– Что делать будем, – спросил он, – долбак ты полный, где справка?

После душевной собранности и удачных действий у Маргулиса, когда мне удалось его разжалобить на недельное снисхождение, меня охватило какое-то наслаждение безысходностью, иначе не назовешь, какая-то душевная усталость, ибо неделя в моем положении срок немалый, однако далее – никаких перспектив, и отсрочка дает лишь возможность постепенно привыкнуть к этой мысли. Чтоб не тратить много слов на объяснение, экономя силы, я достал из тумбочки трудовую книжку и положил ее перед Григоренко.

– Уволен, – сказал я.

На трудовую книжку Григоренко внимания не обратил, но из книжки этой выпала плотная глянцевая бумага, которая Григоренко почему-то заинтересовала. Это была справка, напечатанная Ириной Николаевной, но не подписанная Мукало и положенная мной в книжку случайно вместе с копией расписки о расчете.

– Сходи-ка в магазин за яйцами, – сказал вдруг Григоренко.

– Ты чего делать хочешь? – спросил я, сопротивляясь действию. Мне сейчас хотелось только одного – сидеть так на койке, уронив руки и наслаждаясь своим отказом от борьбы.

– Иди скорей, не теряй времени, магазин на перерыв закроют, – сказал Григоренко. – Вставай быстрее. – Он начал тормозить меня. – Приходи прямо в двадцать шестую, ко мне. Я пока все приготовлю. Три яйца купи, не меньше, на всякий случай.

Никогда за три года во время моих весенних выселений борьба не достигала такого накала и ожесточения с обеих сторон. Четко рассчитанный план был нарушен, попытки мои уйти от личных контактов провалились, ряд привходящих факторов усложнил дело, и я чувствовал, что в дело и с моей, и с противной стороны будут вовлекаться все новые лица. Это было мне невыгодно, поскольку спор поднимался на принципиальную высоту, где действия в обход общим правилам становились все более затруднительными. Конечно, ощущение безысходности было лишь временным состоянием, следствием паники, в которую я иногда, к сожалению, впадал не столько от серьезных, сколько от внезапных опасностей. Например, случай с повесткой из военной прокуратуры. Впрочем, пример недостаточно удачный, поскольку он

до сих пор нет-нет да и потревожит меня, однако, разумеется, не так, как первоначально. У меня счастливое свойство, выработанное неустойчивой жизнью, – быстро нейтрализовать испуг, прежде всего методом самоуспокоения. Уже по дороге в магазин я почти полностью успокоился.

Во-первых, вы не учитываете, подумал я с вежливой издевкой в адрес своих врагов, что главный мой козырь, Михайлов, который, собственно, каждый год мне и помогал, еще не введен в действие... Минут десять он поговорит, поунижает меня, потом поможет, позвонит куда следует... А возможно, и не понадобится, возможно, я Нине Моисеевне решу позвонить... И женюсь... Ах, вот счастье-то было б, если б на красивой... Или Григоренко вроде бы чего придумал, я по лицу его понял...

Такой сумбур мыслей иного, пожалуй, наоборот, в душевное расстройство бы привел, но я человек душевно растрепанный, и подобная неопределенность и многоплановость меня как раз и успокаивают...

Когда я вернулся с яйцами, Григоренко уже полностью подготовился технически к задуманному им плану. Отпер мне он лишь после того, как окликнул, и тут же вновь запер дверь. На столе лежали какие-то бумажки, мокнувшие в тарелке с теплой водой, от которой шел пар. Стояли фиолетовые канцелярские чернила и небольшая эмалированная кастрюлька.

– Попробуем тебе справку выдать, – сказал Григоренко и подмигнул.

– Опасно, – сказал я, догадавшись, куда он клонит.

– Рисковать надо, – сказал Григоренко. – Получится, к дяде Пете пойдем... Если только дядя Петя возьмется, сделает почище этих главков и трестов... Жить будешь сколько влезет, и никто тебя не тронет: ни комендантша, ни участковый, ни сам Хрущев, едри его в душу... Главное, яйца не переварить, тут тоже везуха нужна. Иногда десяток перепортишь, бланки споганишь, а толку нет... Я себе характеристику делал, когда на работу оформлялся, – полностью запарол... Яйцо чем печать берет – пленочкой... Знаешь, между кожурой и белком пленочка...

Витька был, безусловно, человек авантюрный, но, к счастью, не обладал ни тщеславием, ни страстями, которые при подобном сочетании превращали бы его в личность опасную. Кроме того, он был добрый парень, а доброта, как известно, родственна непрактичности. Так что был он некий непрактичный авантюрист, то есть авантюры его носили либо мелкий характер (впрочем, подчас и уголовно наказуемый, как в данном случае), либо вовсе нелепый и неосуществимый характер, ибо для осуществления любой авантюры, выходящей за рамки и становящейся серьезной, нужен был даже не столько ум, а может, и вовсе ума не требовалось, а нужно было жестокое сердце, глубоко обиженное на жизнь. Витька же жизнь любил, жил легко, не напряженно, и потому его авантюры не несли в себе острой опасности, а напоминали старые анекдоты, смешные именно своим неостроумием. Например, однажды в аптеке он подслушал, как какая-то пожилая женщина, обладательница дома и приусадебного участка, жаловалась себе-седнице, кассирше аптеки, что муж умер, нет детей и не на кого оставить дом после смерти. Фамилия этой женщины тоже была Григоренко. Витька некоторое время строил планы, от которых я его оттолкнул лишь тем, что внушил версию, будто ходил в ту же аптеку и выудил у кассирши, якобы у этой женщины на днях нашелся двоюродный брат. Витька обладал еще одним качеством, сводившим на нет его авантюризм, – он был до нелепости доверчив.

– Вот видишь, – сказал он мне с некоторой даже грустью, – какой-то другой Григоренко воспользовался удачей вместо меня. Он ей такой же брат, как я ей дядя.

Сейчас Витька долго колдовал над эмалированной кастрюлькой, подсыпая в воду то соли, то даже соды... Наконец яйца были готовы, и наступил самый ответственный момент. Яйца Витька остуживал по-особому, обернув во влажную бумагу. Все ж первое яйцо он очистил так, что пленочка порвалась. Но, правда, попробовал взять печать остатками пленки (я принес ему несколько найденных у себя старых финансово-технических документов, строительных процентов с печатями бывшего моего управления), итак, остатками пленки он пытался

взять печать, но не стал ее даже переносить на бланк справки. Второе яйцо лопнуло, когда он сдавливал его с концов, поскольку надо было из эллипсоидной придать ему как можно более круглую форму, соответствующую печати. Наконец третье яйцо взяло печать, и, приподняв левую руку, словно призывая этим меня не дышать, Витька осторожно, плавно, с лицом тревожно сосредоточенным, понес яйцо к бланку. Легко и плавно опустил он яйцо на бланк справки, чуть пониже текста, удостоверяющего, что я действительно работаю там-то и там-то и справка выдана для предъявления в общежитие... Чуть-чуть нажав и подержав, он плавно поднял руку. Четкая, ясная густая печать лежала на плотном меловом бланке, сразу придав ему ответственный и серьезный вид. Витька отложил яйцо, радостно рассмеялся и всплеснул от удовольствия руками.

– Бог троицу любит! – крикнул он. – С третьего яйца взял, повезло тебе, Гоша. Знаешь, как я дрейфил? Думаешь, я умею? Один парень меня учил, он это делает толково, а у меня раз только, может, хорошо получилось... Вот это второй... Ничего, все эти дядьки твои, все эти знакомые начальники тебе отказали, а меня прямо буравило: как же помочь?.. Это же суки, видал сегодня? Они же тебя на улицу выбросят и даже не перекрестят.

Радость Витьки была искренна и бескорытна. В качестве вознаграждения он получил лишь три перепачканных печатями яйца, которые съел.

– Ничего, – говорил он. – К дяде Пете пойдем, он устроит... Живи, на работу устроишься куда захочешь. Потом меня, может, к себе перетянешь завхозом. – Витька подмигнул.

Несмотря на «завхоза», личная заинтересованность была сейчас для Витьки вопросом второстепенным, да и, пожалуй, несерьезным. Витька радовался так, словно я был ему родной брат. И впервые за много лихорадочных дней нечистой борьбы за существование, в которой нет места бескорыстию, а есть лишь место расчёту, личной удаче или личному отчаянию, борьбы за существование, которую я вел давно, почти всю мою жизнь, не умея представить себе просто хорошее отношение к человеку, лишённое корысти, – все это вдруг оказалось забыто, и этот непрактичный авантюрист напомнил мне своим волнением за меня и радостью за меня о человечности и мягкосердечии. Я знал, что эти чувства в моем положении могут привести меня к гибели, но я также понял, что я давно жаждал их. Если б эти сладкие и благородные ощущения возбудил во мне человек не столь грубый и неразвитый, как крановщик Григоренко, а кто-либо из того общества, куда я давно стремился, например Арский, если б он объяснил их мне с умными сравнениями, я, пожалуй, мог бы под влиянием этого момента многое пересмотреть в моей жизни и многое решить по-иному. А если б этим человеком оказалась вдруг красивая женщина, например Неля из газетного архива, если б Неля внушила мне эти добрые чувства, я, может быть, в эти внезапные, как прозрение, минуты полностью переродился бы душевно, дав волю слезам на груди у любви своей. Но Григоренко для этого не годился, да и сам бы он вследствие личной неразвитости крайне удивился бы подобным излияниям моим. Может быть, даже надо мной посмеявшись, переменялся бы ко мне в худшую сторону, заподозрив нечто недоброе, что всегда бывает, когда человек сталкивается с непонятным и неожиданным. Поэтому, проведя несколько минут с приятной теплотой под сердцем, я словно очнулся, хлопнул Витьку по плечу и крикнул:

– Молодчик, сукин ты сын, с меня пол-литра!

Мы порадовались еще некоторое время также удачной подписи, которую вместо Мукало соорудил Витька фиолетовыми чернилами.

– Подписи – это я умею, – смеясь, тихо сказал Витька. – Это запросто. Это тебе не яйцами печати снимать. Ты только, Гоша, устройся хорошо, разве я не вижу, как ты здесь мучаешься? – неожиданно добавил он совершенно другим тоном, который меня даже несколько испугал, поскольку далее определенной черты я все же Витьку в свою душу впускать не намеревался.

Я поехал в сберкассу. Держал я деньги в другом районе города и, хоть были они накоплены за три года, шел за деньгами с оглядкой. Обитатели общежития жили от аванса до полочки

и часто пытались у меня одолжить, зная меня как непьющего, а значит, денежного. «У него уже там на „москвич“ накоплено, – незлобно говорили они. – Теперь на „Волгу“ копит». Однако раз слесарь Ткачук из восемнадцатой комнаты, хороший как будто, вежливый парень, взял у меня серьезную сумму, равную недельному моему бюджету, и уехал, не отдав (он завербовался на Север). Я несколько компенсировал потерю тем, что всю неделю не ел сливочного масла, колбасу купил лишь в понедельник и в субботу, а на обед брал лишь борщ или суп, без второго и без компота. Тем не менее после этого случая давать займы я перестал, даже с некоторыми испортил отношения. Правда, я и тут применил хитрость, перед авансом и получкой обходя комнаты и сам прося займы. Иногда мне давали. Я клал эти деньги отдельно и, подержав для вида несколько дней, отдавал нетронутыми. Долги доступны человеку с устойчивым положением, для меня же они опасны: сбивают с определенного финансового ритма и вводят в соблазны покупки излишеств: конфет, не карамели для чая, а конфет или печенья, продукта дорогого и неэкономичного, который вполне может быть заменен намного более дешевыми бубликами или булочками, которые к тому ж вкусней, разумеется в свежем виде и, желательнее, приправленные джемом, не густо, а для вкуса. Если бублик или булочку, смазанные джемом, лучше сливовым, слегка подержать на пару от чайника, они приобретают нежность и аромат, не сравнимый ни с каким печеньем. Это мое фирменное блюдо.

Существует голод вместе с народом. Я знаю его, ибо испытал. Это брюква, мокрый, с отрубями кусочек хлеба, суп-затируха, то есть вода с одной-двумя ложками муки... Но есть и голод без народа, то есть голод отщепенца, оказавшегося в таком положении по тем или другим причинам. В этом голоде отщепенец использует в ущемленном виде полноценные продукты питания: отличной выпечки хлеб, умело распределенный порциями, иногда немного сливочного масла, дешевые конфеты – карамель, дешевую колбасу и прочее... Голод с народом свят, воспет поэтами и уважаем. Голод отщепенца подозрителен и носит характер вызова обществу. Отщепенец, в отличие от человека периода всеобщего голода, должен проявить максимум личной осторожности, осмотрительности и смекалки, чтоб прожить. Не имея возможности поделиться своим куском, он в то же время старается воспользоваться чужим. Отличное же качество с трудом добываемых продуктов, которыми отщепенец удовлетворяет свой голод, делает этот голод позорным в глазах не только постороннего, но даже в его собственных и заставляет скрывать этот голод, словно порок. Вот почему мне стало неприятно, когда Витька Григоренко сказал вдруг о моих мучениях...

Получив деньги, которые необходимо было вручить дяде Пете за мое устройство в общезжитии, и пытаясь заставить себя не думать о сберкнижке, где запас мой сократился до угрожающего минимума, я вернулся и в девять часов пошел на условленное место неподалеку от котельной. Погода продолжала быть по-мартовски нелепой: если утром подморозило, то вечером пошел дождь. Несмотря на дождь, Витька ждал меня уже довольно давно, поскольку пальто его было мокрым насквозь.

– Принес? – шепотом спросил он меня.

Мы свернули за угол и по грязным от угля ступенькам принялись спускаться в котельную. Витька толкнул дверь, и мы вошли в какой-то тамбур, освещенный тусклой лампочкой.

– Давай сюда, – сказал шепотом Витька.

Я протянул ему пачку денег. Он вынул заранее припасенный плотный конверт, не почтовый, а тот, в каких кассиры выдают крупные суммы – например, трехмесячную премию или какую-нибудь крупную компенсацию.

– Так, – сказал Витька. – Теперь порядок.

Но я увидел вдруг, что он волнуется.

– Ты только умно себя веди, – сказал он. – Дядя Петя человек хороший, но, знаешь, с характером. В общем, давай.

Он открыл следующую дверь, и мы вошли непосредственно в котельную. Здесь был тяжелый воздух, вовсю гудело в печах и стоял такой туман, что у меня даже начали слезиться глаза. За дощатым столом, над которым прибиты были темные от пыли графики, сидел человек, в лоснящейся от угольной пыли телогрейке, с темным от угля лицом, и, держа в одной руке обернутый в бумажку кусок сала, а в другой обернутый в бумагу кусок хлеба, чтоб не испачкать продукты угольными руками, ел, изредка кладя на газету хлеб, и отпивал из жестяной кружки чай.

– Приятного аппетита, дядя Петя, – сказал Витька, – мы вам вроде помешали.

– Ничего, проходи, – приветливо улыбнувшись, сказал истопник.

– Вот, дядя Петя, тот парень, про которого я говорил, – сказал Витька.

Истопник и мне улыбнулся приветливо и протянул угольную свою ладонь.

– Садись, ребятки, – сказал он. – Вот, Витя, в углу две табуретки чистые.

Мы сели.

– Значит, дядя Петя, такие дела, – сказал Витька, – справка у него есть... Дай справку.

Не без опаски протянул я истопнику состряпанную липовую справку. Он взял ее газеткой, чтоб не испачкать, прочел и удовлетворенно кивнул. Не знаю, как у Витьки, а у меня отлегло от сердца. Тут же Витька просто и умело положил рядом с недоеденным куском сала плотный конверт с моими деньгами.

– Так, – сказал дядя Петя. – Дайте, хлопцы, подумать.

Пока он думал, я от нечего делать, а вернее, чтоб унять волнение, начал осматриваться по сторонам на чистые чугунные трубы и покрытые угольной пылью манометры с дрожащими стрелками. Вдруг я инстинктивно обернулся, почувствовав на себе чужой взгляд. Дядя Петя пристально и задумчиво меня разглядывал. Когда я повернулся, он отвел глаза и сидел еще некоторое время молча.

– Знаете, хлопцы, ничего у нас не получится, – сказал он наконец.

– Почему? – вскочил со своего места Витька. – Вы же обещали, дядя Петя. Славке вы же сделали.

– Это другой случай, – сказал дядя Петя. – Я с удовольствием, парень мне нравится, хороший парень, помочь бы надо, но не только от меня это зависит... Тут, Витя, дела не будет, поверь мне.

– Ты, Гоша, не волнуйся, – сказал мне Витька, но как-то суетливо и растерянно. – Мы дядю Петю уговорим. – И, приблизившись ко мне, Витька шепнул: – Выйди-ка на секундочку...

Я вышел в тамбур и, постояв там, подождав минуты две, пошел далее, поднялся по ступенькам из котельной. В отличие от Витьки, я твердо знал, что дядя Петя не шутит и план этот провалился. Я понял это сразу, как только ощутил на себе испытующий взгляд дяди Пети... Как ни хитрил я, судьба вновь неотвратимо толкала меня к старому моему покровителю Михайлову. Я знал, что завтра же поеду к Михайлову, чего бы это ни стоило моему самолюбию, и выдержу все во имя спасения, которого, кроме как от него, не от кого было ждать...

Снизу из котельной поднялся Витька и молча протянул мне назад конверт с моими деньгами. Дождь кончился, кое-где на небе видны были звезды, вообще посветлело из-за пробивающегося сквозь тучи лунного света, и я в свете этом увидел, обычно лихое, лицо Витьки настолько подавленным, что на нем даже появились признаки духовности и интеллигентности, делающие его неузнаваемым.

– Не получилось, Гоша, – сказал он печально, с интеллигентным каким-то вздохом.

– Ничего, – успокоил я его. – У меня есть старый ход, я не хотел им пользоваться, не важно почему, но завтра я туда позвоню, поеду... Все будет хорошо.

Дядя Петя не был беззастенчивым мошенником, так как иначе он не вернул бы деньги, а обвел бы вокруг пальца. Но несправедные пути его соприкасались с путями праведными, законными, и потому, независимо от личных желаний, он не мог сделать то, что шло вразрез

с правилами, и по социальному своему положению не мог позволить себе нарушить правила, как это позволял себе Михайлов. Итак, опять я нуждался в Михайлове, которому не звонил с апреля прошлого года, не интересуясь даже его здоровьем, неустойчивым здоровьем сердечника и астматика. А между тем он болел. На следующий день, с утра приехав в трест, я застал в его кабинете, в его кресле, Веронику Онисимовну. Она была в темно-вишневом панбархатном платье и с ярко крашенными вишневого оттенка губами.

– Здравствуйте, – обрадованно даже сказала она (когда мы долго не видимся, она мне начинает говорить «вы»). Но постепенно привыкает ко мне, если по надобности я бываю здесь часто, и переходит на «ты». Я же по-прежнему говорю ей «вы»). – Вас так давно не было, я думала, вы женились, – как-то блеснув глазами, сказала Вероника Онисимовна.

Я плохо спал эту ночь, возлагая на данный визит серьезные надежды, волновался перед тем, как войти сюда, предчувствуя уничтожающий и презрительный взгляд Михайлова. Но сейчас, когда вместо Михайлова меня встретила Вероника Онисимовна, мной овладело игривое настроение, а тревога исчезла. Это была нелепость момента, поскольку шел-то я к Михайлову и именно он был мне нужен.

– Вот, мимо проходил, заглянул проведать, – сказал я, бросив на Веронику Онисимовну ответный быстрый взгляд.

Темные круги под глазами она пудрила и смазывала косметическим кремом. А напрасно. Усталость некогда красивого лица придает известную пикантность женщине и привлекает к ней не растративших себя свежих молодых людей гораздо сильнее, чем могут привлечь тугие, упругие, точно резиновые, девичьи личики. Я тут же тряхнул головой, словно отбрасывая нелепые в моем нынешнем положении мысли.

– Как вы живете, не тревожат вас? – спросила Вероника Онисимовна, преодолев этакую своеобразную паузу.

– Да немножко, – сказал я. – Сукины сыны...

– А Михаил Данилович болеет, – сказала Вероника Онисимовна.

– Что с ним? – с искренней тревогой, но главным образом все же за свою судьбу, вскричал я.

– Сердце, – сказала Вероника Онисимовна, не совсем точно истолковав мой крик и потому добавив поспешно: – Сейчас уже опасность позади... Он почти здоров... Дня через три ждем его на работу, вчера я была у него.

«Три дня, – лихорадочно думал я, – три дня – это много. Поеду к нему. Конечно, ужасно, бестактно, но я могу оказаться на улице... По телефону не то...»

Наверное, эти тревожные мысли резко изменили мое лицо и мою фигуру, ибо Вероника Онисимовна смотрела на меня уже без блеска в глазах, а с неким покровительственным состраданием и перешла на «ты» почти без подготовки.

– Зайди в начале будущей недели, – сказала она. – Михаил Данилович должен быть на работе. А почему ты в течение всего года не появлялся? Хотя бы зашел как здоровье Михаила Даниловича узнать.

Это был выговор, но выговор человека, принимающего участие в моей судьбе и во имя моих же интересов. Выговор покровительницы, а не нервно-импульсивной женщины.

– Ты не волнуйся, – добавила Вероника Онисимовна, – я его здесь подготовлю, поговорю с ним... В понедельник или лучше во вторник, – добавила она мне в спину.

Я кивнул, подумав про себя: как бы не так, я еду к нему немедленно, во вторник я могу уже потерять ночлег.

Михаил Данилович Михайлов жил в одном из лучших районов города, неподалеку от здания республиканского Совета министров. Я был у него раза три, но давно, в первый год моего приезда в город. Перед домом его, за металлической решеткой, были палисадник и детская площадка, где гуляли красивые, нарядно одетые ребяташки жильцов этого богатого дома.

Утро было солнечное, весеннее. Весна, кажется, наконец бралась за дело. Небо было безоблачным, синим, повсюду бурно таяло, капало, текло, трещало, так что зимняя моя одежда стала тяжелой и жаркой, а туфли, наоборот, разбухли, стали холодными, и полушерстяные зимние носки сделались неприятно влажными.

Позвонив у обитой клеенкой богатой двери, я ждал с тревожно колотящимся сердцем. Открыла мне жена Михайлова, Анастасия Андреевна, женщина с мужскими бакенбардами и вообще густой растительностью на ногах, руках и лице. Мне эта женщина была неприятна, она даже три года назад укоряла Михайлова, причем при мне, за то, что он уделяет мне чересчур много сил, а я отношусь к нему потребительски. Может, ныне она и права, но тогда это была неправда. Я относился к ним с искренней благодарностью, и не моя вина, что отношения наши приняли неискренний характер. Потребительское отношение мое к ним возникло из унижающего меня отношения их ко мне. Но я зависел от этих людей, и единственным, чем я мог отплатить сейчас этой женщине, была ее же мужская растительность на лице, над которой я в душе издевался. Анастасия Андреевна осмотрела меня и сказала довольно бесцеремонно и грубо, даже для моих с ними отношений:

– Откуда ты взялся? Я думала, ты уже уехал из города... Ты разве не собираешься уезжать?

– Нет, – сказал я, неловко топчась в передней.

– Кисонька, – послышался слабый голос Михайлова, – кто там пришел, доктор?

– Нет, это не доктор, – сказала Анастасия Андреевна, – это твой подзащитный... Гоша пришел.

Я твердо решил про себя, что выдержу все, ибо если позволю себе обиду, то потеряю последний шанс, больше мне не на кого надеяться.

– Ты разуй туфли, – сказала мне Анастасия Андреевна и подвинула ногой комнатные тапочки.

Я снял пальто, ожидая, что Анастасия Андреевна уйдет. Носки мои я носил всю зиму, они были во многих местах защиты мной белыми и черными нитками, а в некоторых местах, например на пальцах, просто имелись дыры, и мне было неприятно разуваться перед Анастасией Андреевной. Но она не уходила, и я вынужден был разуться под ее сердитым взглядом.

В столовой стоял большой портрет пятнадцатилетней девушки-подростка, убранный живыми цветами, первыми весенними цветами, стоящими, очевидно, чрезвычайно дорого. Я знал, что это портрет единственной дочери Михайлова, задавленной в сорок втором году автомашиной. Детей у Михайлова больше не было, и он воспитал своего давно осиротевшего, как и я, племянника. Племянник этот был моего возраста. Он окончил институт и лет пять уже работал на авиазаводе. Сейчас племянник этот сидел в столовой, в рубашке с расстегнутым воротом и полуспущенным галстуком, с серьезным научным журналом в руках. Мне он кивнул довольно вежливо и ушел вместе с журналом в свою комнату (у Михайлова было три комнаты. Одну занимал пока еще не женатый племянник).

Михайлов полулежал в спальне на тахте, обложенный подушками. На столике перед ним были недопитый стакан молока, две небрежно надломленные плитки шоколада, пузырек с лекарствами и томик Чехова. С тех пор как я Михайлова в последний раз видел (в тот день, когда он меня открыто и публично унизил), с тех пор он заметно осунулся и побледнел.

– Как вы себя чувствуете? – сказал я, усаживаясь на краешек стула, причем в тот момент с искренней тревогой и сочувствием.

– Я – плохо, – небрежно как-то махнув рукой, сказал Михайлов, – а вот ты – что ты натворил, почему ты пошел к Саливоненко?

Я еще не знал, куда Михайлов клонит, и не догадывался о клевете Саливоненко (послужившей причиной особенно грубой встречи меня в этот раз, в том числе и со стороны Анастасии Андреевны), я еще не знал, однако для начала нашелся.

– Я не хотел вас тревожить, – сказал я.

– Миша, – раздраженно почти выкрикнула Анастасия Андреевна, стоя в дверях, – раз уж он пришел, скажи ему все, – может, у него сохранилась хоть капля совести.

И тут я узнал о клевете Саливоненко.

– Зачем ты явился в министерство и выдал себя за специалиста по небьющемуся стеклу? – так же, как и жена его, раздраженно сказал Михайлов.

Я испытал нечто похожее на шок, у меня перехватило дыхание и, кажется, глаза наполнились слезами. Реакция моя была столь естественна, мгновенна и порывиста, что не только Михайлов, но даже жена его не то что мне поверили, а как-то задумались.

– Ну хорошо, – сказал Михайлов, – об этом не будем, но тебя что, уволили с работы?

– Вот это правда, – сказал я, – но это не страшно...

– То есть как не страшно? – спросила Анастасия Андреевна. – А на что ты собираешься жить? (Не пришел ли я просить денег – было в подтексте этого восклицания.)

– Я устроюсь, я, может, учиться пойду, мне важно койко-место... Ночлег...

– Кто такой Юнаковский? – спросил вдруг Михайлов.

– Не знаю, – удивленно ответил я.

– А почему он звонит Саливоненко домой и пытается вести с ним какие-то скользкие переговоры, используя тебя... То есть обещая устроить тебя взамен на какие-то действия Саливоненко в его пользу...

– Юницкий! – вскричал я.

– Да, именно Юницкий! – вскричал Михайлов. – Значит, это правда?

– Нет, – торопливо заговорил я, забыв об искреннем возмущении клеветой Саливоненко, укрепившем мою душу в моей справедливости и невиновности (это всплыло опять позднее). Душа моя вновь была разжижена как-то и потеряла уверенность, которую давало сознание явной несправедливости по отношению ко мне. – Нет, – говорил я, пытаюсь разобраться в этом новом обороте и понять, в чем я сам виноват, а в чем меня запутали. – Они знали, что Саливоненко мне помог устроиться три года назад в их управлении... Я этого не знал... Они решили, что он мне близкий человек, решили воспользоваться... А!.. – вскочил я со стула. – Теперь я понимаю, я все объясню... У них грызня в руководстве, Брацлавский и Юницкий против Мукало, Мукало мне тоже советовал сказать за него у Саливоненко...

– Перестань кричать, – сказала мне сердито Анастасия Андреевна, – Михаил Данилович нездоров.

– Меня не интересует вся эта белиберда, – сказал Михайлов.

– Нет, – не унимался я, – я объясню, иначе вы меня заподозрите... Этот Юницкий отвратительный тип...

– А ты? – спросил Михайлов. – Кем ты себя считаешь?

– Не знаю, – притихнув и усаживаясь, сказал я, – я запутался... Может быть, если бы у меня был ночлег, койко-место, я бы осмотрелся, решил бы что-нибудь... Конечно, во многом я живу не так, как надо...

Я решил каяться, чтоб снять остроту разговора, которая бог знает куда могла завести. Было два пути: либо каяться, либо разжалобить – например, закрыть лицо руками и сидеть так, ничего не говоря. Я подумал об этом, но тут же отверг. Должен сказать, что все эти мысли хоть и выглядят цинично, но в действительности мое трагическое положение убивало цинизм. Вернее, цинизм, некоторый и невольный, был лишь в решении, но не в исполнении. И если бы я решил разжалобить, закрыв лицо руками, то при этом испытал бы не выдуманные, а подлинные страдания и горечь безнадежности. Однако я решил каяться и делал это не фальшиво, а искренне, честно, как на исповеди.

– Хорошо, – сказал Михайлов, – я позвоню. С койко-местом постараемся опять уладить.

– Но в последний раз, – добавила Анастасия Андреевна, – нельзя в твои годы быть потребителем, ты уже вырос из детских штанишек, стыдно...

Вошел племянник с журналом.

– Прости, дядя, – сказал он Михайлову, – я думал, ты уже освободился.

– А что? – совсем иным тоном и с иным лицом обратился к нему Михайлов.

Племянник задал какой-то непонятный мне то ли научный, то ли философский вопрос, и у них началась иная жизнь, которой я был чужд и которая была для меня недоступна. Я попрощался и вышел, забрав с собой свои убогие материальные интересы.

Чем более человек осознает свое реальное место в обществе, тем легче ему живется. Всего год назад из-за фразы Михайлова в мой адрес, на которую я ныне и внимания не обратил, я пережил нервное потрясение. Ныне же я вышел от Михайлова в хорошем даже расположении духа, несмотря на клевету Саливоненко и на страшные слова в мой адрес Михайлова и его жены. Главное, я был доволен собой за то, что сумел выдержать и не впасть в обиду на Михайлова. Умение глотать обиды было для меня тем же теперь, что для тигра зубы, а для зайца ноги... Но путь этот сулил удачу, то есть возможность выжить, сохранив человеческий облик лишь до тех пор, пока положение мое в обществе оставалось и материально, и духовно беспредельно ничтожно. При малейшем отклонении от этого условия, при малейшем возвышении моем этот путь грозил взломать мою душу, посеять в ней жестокость и горькую месть и уничтожить те остатки человечности и добра, которые не уничтожила еще постоянная потребность в корысти, выгоде, в том, что главным образом было основным в моих отношениях с людьми.

Глава шестнадцатая

«Рабство в переносном смысле этого слова является необходимым условием для преуспевания человека со слабой волей» – эти слова я выписал как-то в библиотеке из Ницше (вернее, из брошюры, критикующей его мировоззрение, в которой это положение также критиковалось и анализировалось). В свое время выписал я их попросту для красоты, как этакий каламбур, но впоследствии, когда события приняли настолько резко иной оборот и все настолько поменялось, что иногда мне даже казалось, я ли это, – в этот период мне слова Ницше попались случайно на глаза и заставили задуматься, правда не приведя ни к каким четким выводам. Мой характер в эту формулировку Ницше впрямую не укладывается, я не могу считать себя человеком со слабой волей, однако есть случаи, когда отдельные детали противоположны, а ситуация в целом если и не соответствует, то во всяком случае симметрична. Поскольку был я лишен твердых прав, причем в силу воспитания и господствующих в окружающем обществе взглядов считал все это явлением нормальным, то моя постоянная нужда в покровителях невольно приспособила меня к подобной жизни, когда человек получает ночлег, заработок и в конечном итоге даже родину не от рождения и по закону, а по чьей-то доброте и мягкосердечию. Юность моя прошла в обстановке патриотического подъема от победы страны моей над фашизмом, перешедшего постепенно в патриотический подъем и в других областях общественной жизни, науки и культуры, где всюду ощущалась гордость своим превосходством и приоритетом. Я не отличался, а может быть, превосходил многих своим патриотизмом и все ж в глубине души даже школьником всегда знал, что счастье быть патриотом куплено мной ценой обмана, и это выделяло меня, отщепенца, из среды моих сверстников, которым патриотизм доставался так же естественно, как глоток воздуха. Таким образом, я еще с детства научился ценить то, что другие воспринимали просто и спокойно, и нужда в добрых или простодушных покровителях стала моей постоянной потребностью. Поэтому с возрастом, когда я думал об удаче и преуспевании, я думал прежде всего о хороших, влиятельных и добрых покровителях. К сожалению, жизнь не была ко мне столь милостива, и покровители, которых я отыскивал или которые отыскивали меня, не были столь идеальны, хоть и делали мне в известной мере добро, конечно крайне неустойчивое, во многом незначительное, позволяющее лишь передохнуть и набраться хоть в некоторой степени сил в ожидании новых неудач и лишений. А случись мне встретить покровителей, о которых я мечтал, жизнь моя, с раннего детства приспособленная к подобному ритму и образу существования, стала бы попросту счастливой и безмятежной. То есть в жизни бесправных отщепенцев, бесправных сословий или даже бесправных народов преобладает женский элемент и женское понятие о счастье... Кстати, выписывая из Ницше, я последнюю фразу опустил как несущественную и забыл о ней. Лишь недавно, отыскав этот кусок опять, я прочел: «...для преуспевания человека со слабой волей, а следовательно, женщины». И это закономерно. Человек, сословие и народ со временем вырабатывают для себя не просто психологические, но, так сказать, телесно-психологические законы и представления о счастье, то есть происходит определенное приспособление не только психологии, но и физиологии... Если вдруг все это взрывается, даже из-за самых благородных причин: революции, эмансипации или реабилитации, – происходит некий, не лишенный мистики, трагический надлом. Как бы вдруг женщина, пусть несчастная, однако стремящаяся к своему женскому счастью, проснувшись однажды, почувствовала себя мужчиной почти физиологически. Правда, первоначально возможны и гордость, и радость от подобного превращения, но постепенно она (или ныне он) начала бы ощущать тот не жизненный – уже патологический трагизм, когда прежнее женское счастье невозможно, а нынешнее мужское – опасно и не нужно. Пример с женщиной, стремящейся к своему женскому счастью, но вдруг мистически обретшей трудную мужскую судьбу, взят для наглядности, а события названы мной трагическими не для того,

чтоб поставить под сомнение их историческую закономерность, прогрессивность и справедливость, а для того, чтобы точнее охарактеризовать те печальные и необдуманные поступки, которые совершались.

После того как я ввел в борьбу за свое койко-место последний надежный резерв – Михайлова, прошло больше чем полтора месяца. Наступил долгожданный мной и любимый период застоя после весеннего выселения. В этом году он был особенно приятен, поскольку, уволенный с работы, я имел возможность жить так, как мне хочется, а деньги, не растраченные на взятку дяде Пете, позволяли мне осмотреться и подумать о дальнейшей своей судьбе... Миновали майские праздники. Было уже так жарко, что можно было ходить в одной рубашке. Иногда случался даже не майский, а настоящий августовский зной. В такие дни я с Витькой Григоренко и Сашкой Рахутиным ходили в расположенный рядом с общежитием овраг, на озера, где некогда пригородный совхоз разводил рыбу. Озера эти так и назывались – Рыбные. Я чрезвычайно любил солнце и песок, но стыдился своего костлявого, голодного, немужского тела и потому ложился где-нибудь подальше, глядя с жадностью на купающихся девушек, которые в подобном виде почти все были удивительно красивы, так что прежде всего я испытывал не похоть, а скорее чувство восторга и радости и мечтал о том счастье, какое вкусил бы, увидев здесь Нелю или даже блондинку из читального зала библиотеки. Насмотревшись, я опускал голову, нежась в сладкой лени, погружившись губами в теплый песок. Опыняющие запахи и звуки моего очередного, тридцатого лета, которыми я упивался наедине, жадно, не делясь ни с кем, были моей наградой самому себе и моим праздником, для себя созданным. Однако вскоре произошло подряд два события, которые, как я ныне понимаю, являлись предвестником надвигающейся беды. То есть с бедой непосредственно они не были связаны, но создали некое психологическое ощущение надвигающихся неприятностей. Первое – ответное письмо от деда. Напоминаю – дед у меня не родной, тем не менее изредка он помогал мне небольшими суммами, будучи человеком самостоятельным и домовладельцем. Поэтому я не ожидал такого грубого ответа на мою просьбу дать мне немного денег взаймы... «Мне стыдно было читать, – писал дед, – ты здоровый бык, который сам должен помогать старику, просишь у него как паразит, чтоб иметь возможность вести свою разгульную жизнь... Добрые люди сообщили мне правду о тебе, и весь твой обман раскрылся. Ты пишешь, что тебе нужны деньги на мебель, но куда ты ее поставишь, если не имеешь в тридцать лет ни кола ни двора и живешь, как животное, только сегодняшним днем, ожидая, кто бы тебе бросил кусок пожирнее, ибо стыд ты потерял давно. Я старик, мне семьдесят девять лет, но стыд я имею и надеюсь, если поможет Бог, что со стыдом своим перед собой и перед людьми умру». Далее письмо состояло из каких-то малопонятных обрывков и намеков, свидетельствующих, что писал дед в чрезмерном волнении, причины которых мне не были до конца ясны, возможно не имеющих даже ко мне прямого отношения. Например, была такая фраза: «В молодости мне приходилось лизать языком сапоги станционного жандарма, чтоб иметь возможность своими руками зарабатывать кусок своего хлеба...» Далее были фразы уж вовсе неожиданные, говорящие о том, что сознание старика мало-помалу путается: «Матвей (это мой отец) не был мне родным сыном, однако, когда он поступил в студенты, я ему помогал, хоть Зина всячески была против (кто такая Зина, я не знаю), ибо видел, что из него растет человек, пусть даже он поступил нехорошо и отказался от моей фамилии, когда стал большим начальником... Конечно, против меня его настраивала Анна (это моя покойная мать), а я ведь говорил ему – сынок, не женись на ней, она тебя погубит...» Следующие несколько слов были густо не то что зачеркнуты, а залиты чернилами. Видно, старый маразматик написал такое, что даже сам при повторном прочтении опомнился. Возможно, он хотел зачеркнуть и все вышенаписанное, оставив лишь отказ в деньгах, но как-то по старческой рассеянности не довел дела до конца и в подобном полузачеркнутом виде опустил письмо в ящик.

Я разорвал письмо на мелкие клочки и бросил его в мусорницу. Потом вернулся, вытащил эти клочки, уже испачканные и мокрые, отнес их брезгливой кучкой в ладонях и бросил в унитаз, спустив воду. Однако успокоения не наступило, и с необычным для летнего периода волнением я стал ждать неприятностей. Ждать пришлось недолго, хоть вновь явились они с неожиданной стороны. Однажды во дворе нашего жилгородка, неподалеку от жилконторы, меня встретил бледный молодой человек и, пристально посмотрев мне в лицо, спросил как-то робко:

– Вы Цвибышев? Я насторожился.

– А что тебе надо? – с грубостью, поскольку этот бледный вряд ли мог быть мне опасен или полезен, спросил я.

– Вам просили передать, – тихо сказал бледный и протянул конверт.

Незнакомым почерком на нем было написано: «Гоше Цвибышеву (лично)». В конверт вложен был лист ученической тетрадки в клеточку, и на нем значилось: «Прощай, Гоша. Жить больше не хочу. Илиодор». Я растерялся. Илиодор этот был мне неприятен, и совсем ведь недавно, обнаружив нечестность его, когда он из черносотенной газеты заимствовал антисемитскую басню, я написал ему письмо, полное ругательств и матерщины.

– Он умер? – растерянно спросил я.

– Да, – сказал бледный и прикоснулся ладонью к своим глазам. – Он отравился снотворными порошками. Месяц уже, как похоронили. Просто я долго вас искал. – И бледный вдруг начал горячо говорить о том, какой это был честный и легкоранимый человек. – Эти подлецы вокруг, – говорил бледный, – этот Орлов, Лыиков, вы думаете, их волнует судьба русского народа, русского человека, которому неуютно и тесно на своей земле, которого вытесняют евреи?.. Нет, их волнует собственная карьера...

Бледный говорил так, будто искал во мне не только собеседника, но и друга, то есть хотел мной компенсировать потерю Илиодора. Я вспомнил, что видел бледного в той компании рядом с Илиодором. Все произошедшее – смерть Илиодора (господи, ведь я рекомендовал ему отравиться или повеситься), эта непонятная записка именно ко мне и этот бледный больной русский патриот – привело меня в состояние некоторой растерянности и непонимания жизни, причем даже не в глубоком философском смысле, а в элементарном, событийном. Бледный все говорил, скорбно заглядывая мне в лицо и ища сочувствия. Я толкнул его в грудь, крикнул: «Отстань!» – повернулся и пошел назад в общежитие, прижав руку к своему правому боку. Лишь минуто-другую спустя я понял причину, по которой пошел назад, ибо в правом боку у меня началась сильная боль (у меня больная печень) и я решил отлежаться на койке с чем-нибудь теплым у бока. Но, войдя в комнату, я понял, что полежать мне не удастся, ибо там как раз Паша Береговой наказывал своего брата Николку.

Как я уже говорил, между братьями существовал добровольный договор, заключенный в присутствии отца, и мне кажется, инициатором договора даже был сам Николка, который, потерпев от брата порку, мог некоторое время после нее вести ленивую жизнь студента-переростка на отцовские деньги. Николка, здоровый широкоплечий парень, лежал на койке лицом вниз, а Пашка порол его сложенным вчетверо электрическим проводом. В тот момент, когда я вошел, они как раз торговались. Я уже несколько раз наткнулся на порку Николки и при этом старался сразу же уйти. Правда, первоначально, когда я был дружен с Пашкой, он, если я присутствовал, просил меня держать Николку за ноги. Я однажды даже согласился, поскольку к этой просьбе присоединился и Николка.

– Быстрее отбуду, – сказал он мне, – иначе дергаюсь, и только хуже... Эта же сука знаешь как лупит!.. Иногда от боли вывернешься и живот под провод подставишь, так что ты, Гоша, крепче за ноги меня держи.

Та порка, когда я держал Николку за ноги, действительно прошла быстро, и оба брата остались ею довольны. Я же после этого не спал всю ночь и в будущем всегда от этого дела

отказывался. Тем более теперь, когда с Пашкой мы стали врагами. Наткнувшись на порку, я выходил и пережидал в коридоре. Но теперь так нелепо все складывалось и боль в боку становилась такой сильной, что я не мог устоять на ногах и потому пошел к своей койке и лег на спину, приложив для тепла шерстяное кашне к правому боку. На меня внимания братья не обратили, будучи заняты своим делом. Спор шел из-за того, что Николка хитрил и в момент удара прикрывал заднюю часть свою, куда метил Пашка, ладонью, стараясь принять основной удар на нее.

– Ладонь убери, – тяжело дыша, с раздувшимися ноздрями говорил Пашка, – уговор был... Ладонь убери...

– Что ж ты сильно лупишь, – отвечал Николка в тон брату, точно вдвоем они делали общую трудную работу – например, несли шкаф и остановились передохнуть, обсудить, как нести далее. – Что ж ты сильно, – так же тяжело дыша, говорил Николка, – что ж так сильно, сука?.. Уговор был не в четыре сворачивать... В два провод сворачивать уговор был...

– Ладонь убери, – повторял Пашка, – врать не надо, сука... Отцовские деньги пропиваешь, сука... Ладонь убери, лучше будет...

Койки наши стояли рядом, и, повернув голову, я увидел лицо Николки, с которого даже физическое страдание не могло убрать хитрого ожесточения, которое появляется от продолжительного упрямого базарного торга и попытки выгадать, то есть получить ударов поменьше и послабее.

– Ладонь убери, – хрипло сказал Пашка и со свистом опустил сложенный вчетверо провод, так что на Николкиной ладони лопнула кожа и появилась багровая полоса.

Николка как-то звонко, по-заячьи, крикнул и вцепился зубами в подушку...

– Ладонь убери, – повторял Пашка фразу, застрявшую в его охмелевшем мозгу...

Он никогда еще так сильно и самозабвенно не бил Николку, и каждый удар остро вонзался мне в правый бок, хотя я отвернул лицо к стене. Свистел провод, и боль в боку становилась невыносимой, словно Пашка сек меня проводом по печени. Я встал, держась за платяной шкаф, затем за койку Саламова, за стену, и, наконец толкнув дверь, вышел в коридор. Давненько меня эдак не прихватывало, причем совершенно неожиданно...

Ленинский уголок был открыт, и слышен был звук телевизора. Это удача, ибо каждый шаг отдавал болью в боку. Я вошел, когда диктор объявил о предстоящем выступлении Хрущева. На стульях перед телевизором сидели редкие зрители из скучающих, свободных от работы жильцов. Данил-монтажник подмигнул мне.

– Сейчас выскочит кукурузник, – сказал Данил, – какой там он шахтер?.. Ребята точно выяснили, он из бывших помещиков... Потому он и Сталина на весь мир опозорил...

Хрущев возник на экране в светлом костюме и светлом галстуке.

– У нас появилась хорошая традиция, – сказал Хрущев, – отчитываться руководителям партии и правительства перед народом после каждого серьезного зарубежного визита и каждой серьезной встречи с зарубежными руководителями... – Хрущев вдруг улыбнулся, так что толстое, доброе в тот момент лицо его рассекли складки у щек, взял стоящую на столе бутылку нарзана, налил в стакан, с аппетитом выпил шипящую жидкость и вытер губы платком. – Хорошая вода нарзан, – сказал он, – рекомендую...

Жильцы, сидевшие перед телевизором, загоготали.

– Во дает! – сказал Адам-дурачок.

– Это чего-то жирного поел, – весело сказал Данил-монтажник. – Гоша, принеси-ка Хрущеву из умывальника графин воды...

Я улыбнулся, поскольку чувствовал себя лучше. Боль утихла от покойного сидения на стуле, и я осторожно массировал ладонью правый бок.

– Ты тоже, Данил, не загивай, – сказал Адам-дурачок, – ты газеты почитай... Хрущев людей из тюрем выпустил, которых Сталин посадил.

– А на то и власть, – убежденно сказал Данил, – чтоб сажать... Если б Сталин врагов перед войной не пересажал, Гитлер бы всю Россию завоевал.

– А пусть, – сказал Адам, – пусть завоевывает, лишь бы в тюрьму народ не сажали.

– Да брось ты, Данил, – перебил пожилой жилец с первого этажа, – чего с дураком спорить?..

– Сам ты дурак! – огрызнулся Адам.

– Вот я тебе сейчас по шее, – сказал Данил.

Началась перебранка, так что Хрущева слышно вовсе не стало, а видно лишь было, как он шевелит губами, пьет время от времени нарзан и улыбается. Меж тем боль у меня почти совсем прошла, так что я даже встал и пошел вниз в овраг, на Рыбные озера, но не раздевался, а сидел в траве в кустах. К купающимся девушкам я уже привык, так что они меня интересовали не так сильно, да и день сегодня был весьма теплый, но без солнца, хмурый, даже не намекающий, а открыто пророчащий беду... И точно, к вечеру я получил за подписью Маргулиса повестку о выселении в трехдневный срок... Ни разу такого не случилось после вмешательства Михайлова, да еще летом, когда период весеннего выселения оканчивался. Кроме того, к этому времени расходовалось и в прошлые годы, а в этом году особенно, так много сил, что дальнейшая борьба чисто физически была невыносима, не говоря уже о том, что все средства воздействия на администрацию были исчерпаны. Оставалось позвонить Нине Моисеевне и жениться на одной из предложенных ею кандидатур.

У Нины Моисеевны я ни разу не был с тех пор, как, придя к ней замерзший и голодный и будучи накормлен вкусно и отогрет, не сдержался и совершил некое собачье движение благодарности, припав к руке в общем-то чужого и ненужного мне человека. Однако в те мгновения я был в полуопьянении-полубреду, которые наступают иногда от насыщения после сильного голода и усталости. Я не владел собой тогда и сейчас не знал, как вести себя лучше: вспомнить о том случае со смехом, выдав себя за пьяного, или не вспоминать вовсе.

В уютной квартирке Нины Моисеевны совершенно ничего не изменилось, даже круглый стол был застелен той же скатеркой с темным пятном. Это темное пятно – единственное, что оставил после себя в доме бывший муж Нины Моисеевны, человек молодящийся, красящий волосы и брови и этой краской испачкавший скатерть. Нина Моисеевна любила рассказывать об этом со смехом. Вообще была она женщина довольно легкомысленная, и в обычном состоянии, если исключить тот нелепый случай, держался я с ней независимо, даже над ней подтрунивая и посмеиваясь.

Разумеется, мы разыграли с ней спектакль, поговорили о том о сем, пошутили и посмеялись.

– Кстати, – сказала она как бы мимоходом, между двумя анекдотами, – сейчас ко мне должна прийти моя знакомая с дочерью, в гости прийти. Дочка вам обязательно, Гоша, понравится. Она вся такая мягенькая, маленькая, женственная, с серенькими глазками... Ну кошечка. – И Нина Моисеевна этак с аппетитом причмокнула губами, точно приглашая меня попробовать нечто вкусное.

Она меня настолько раззадорила, что я попросту испытал нетерпение, а когда наконец раздался звонок, сердце мое застучало и кровь прилила к щекам. Я был уже влюблен в нарисованный Ниной Моисеевной образ и видел перст судьбы в том, что мне в этом году не удалось отстоять свое койко-место, иначе я бы по-прежнему прозябал за шкафом в шестикоечной комнате, среди грубых, невежественных жильцов, ущемленный в мужских желаниях и особенно глубоко себя за то не уважая. Сейчас она войдет, думал я, любовь моя, моя судьба... И через много лет я буду помнить этот стол с темным пятном на скатерке, эти зеленые обои... И нелепую случайность нашей первой встречи.

В своих фантазиях я неисправим. Жизнь уже бесконечное число раз учила меня, ударяя мордой об стол, как говорится в народе. И все-таки, лишь появлялся повод, я вновь забывал

мудрые ее уроки и на розовых шелковых крыльях несся к разочарованию, злобе и насмешке над собой. Одурманенный мечтой, я потерял даже способность к трезвой логике, вообще-то мне свойственной, и забыл, что красивым женщинам нечего делать в обществе Нины Моисеевны, они сосредоточены либо в местах наиболее уважаемых – например, в обществе Арского, в центральной библиотеке, в телевизионных передачах и т. д., либо в местах наиболее красивых – среди мускулов, солнца, воды и пляжного песка. Впрочем, говоря по совести, Полина (имя-то какое провинциальное) не была уродлива. У нее действительно были серые глаза, каштановые волосы уложены в современной прическе, губы подкрашены по-современному, вызывающе ярко, но все это походило на тщетные потуги казаться не тем, что ты есть, и были мне смешны, поскольку я был развращен до предела настоящими красавицами, за которыми постоянно наблюдал. Не то что мне не нравились в Полине какие-то определенные детали. Она была мне отвратительна целиком как идея женщины. Я представил себе эту Полину на Рыбном озере рядом с прекрасными девичьими телами, которые я наблюдал издали, и меня вдруг охватила злоба.

«За что же так? – подумал я. – А кому те?.. Разве я не достоин?.. Проклятая жизнь...»

Эти мысли настолько истерзали меня, что во время чаепития я начал вести себя вызывающе грубо не только по отношению к Полине, но также и по отношению к ее матери и даже к Нине Моисеевне. В чем это выразалось первоначально, я не пойму, ничего открытого я себе первое время не позволял, разве что нехорошо улыбался на их попытки завязать светскую беседу. Правда, когда Полина пыталась мне передать чайную ложечку, я сказал:

– Извините, но я размешиваю сахар в чае указательным пальцем...

Разумеется, это можно было принять за шутку. Нина Моисеевна даже засмеялась, а мать Полины улыбнулась. Но тут мне все это надоело, и я, как говорится, сыграл в открытую, то есть сунул указательный палец свой в стакан чая, достаточно горячий, и принялся размешивать в нем сахар, преодолевая боль от ожога крутым кипятком. Наступила неловкая тишина. Потом мать Полины встала и сказала:

– Знаешь, Нина, мы, пожалуй, пойдем, – и посмотрела на меня с открытой неприязнью.

– Нет, уж извините, – ответил я за Нину Моисеевну, принимая вызов, – я пойду, а вы оставайтесь и пейте с вареньем ваш хлебный квас.

Почему я сказал «хлебный квас», непонятно. Видно, от волнения, внезапно меня охватившего, я не сумел найти ничего более колкого и «выстрелил» хлебным квасом. Мучаясь этой своей неудачей, я еще более разозлился, одевался, путаясь в рукавах, и так хлопнул дверью, что даже сам испугался. В общем, в довершение всего следовало показать этим людям язык или, став на четвереньки, залаять, чтобы окончательно себя опозорить. Я видел, что если первоначально они были возмущены моим внезапным хамством, то по мере накопления фактов моего поведения возмущение их исчезло, они сидели уже испуганные и со мной в споры не вступали. И то, что мне не удалось их оскорбить, поскольку в конечном итоге я предстал в их глазах ненормальным, меня особенно терзало и мучило. Я уже не сомневался, что Нина Моисеевна после моего ухода вспомнила и рассказала своим друзьям о моем прошлогоднем собачьем движении к ее руке, подтвердив этим свою догадку...

Я шел по крутой, старой, уютной улице среди цветущих каштанов. Вечер был теплый, во многих домах были раскрыты окна, мелькали лица, слышны были обрывки разговоров, всюду был размеренный порядок, прочность, семейная взаимоподдержка, обжитость, великие бытовые права на свое. И лишь я, внешне ничем не отличающийся от прохожих, так что со стороны можно было подумать, что я иду, находясь в строгом бытовом порядке, чтоб взять свое, в действительности не имел своего, что особенно ощущалось надвигающейся ночью. Бездомность отщепенца, как и голод его, психологически чрезвычайно отличается от всеобщей бездомности во время великих испытаний народа... Особенно в конце весны, в великолепные, пахнущие сиренью вечера, когда повсюду ленивый покой и все нацелено на личное счастье, в

такие вечера моя бездомность ощущалась мной как тайный порок, и именно поэтому, выйдя от Нины Моисеевны, возбужденный, с обваренным указательным пальцем, я затеял с собой нелепую игру, то есть заходил в подъезды домов, воображая себя жильцом и квартирохозяином. На первый взгляд, особенно для людей, подобное не перенесших, это глупо, в действительности же душевное мое напряжение несколько улеглось, а когда наступила ночь, окна погасли, исчезли прохожие и все вокруг затихло, ощущение тоски и одиночества вовсе прошло.

При бездомности самое опасное для отщепенца время – вечер, время соблазнов и надежд, когда страсть как хочется по-детски доверить кому-нибудь свою судьбу... Ночью вновь верх берут инстинкты, а также сила, хитрость и логика...

Я приехал к общежитию на дежурном трамвае, по пожарной лестнице поднялся на балкон второго этажа, а оттуда проник в коридор через балконную дверь. (Дежурила Дарья Павловна.) Всю ночь лежа на своей койке, возможно в последний раз лежа, обдумывал я дальнейшие действия, совершенно не устав, ибо бессонница прежде всего утомляет бесплодное воображение, я же работал, строя план, и потому, будучи удовлетворен своей деятельностью, утром не чувствовал себя утомленным. Вещи я решил пока оставить у Григоренко, самому же попытаться поселиться у Чертогов, причем самым нахальным образом, то есть приехать поздно вечером и сидеть до тех пор, пока ночевка моя станет сама собой разумеющейся... В эту ночь я понял также чрезвычайно важное для меня условие в игре, которую я вел уже на самом краю, на пределе возможного: не думать о завтрашнем дне, о перспективе, о своей судьбе... Отъезд же из города именно сейчас представлялся мне твердо концом моей борьбы. Так много сил, так много унижений, так много хитростей было положено на то, чтобы обосноваться в городе, где я родился, который любил, что просто сесть на поезд и уехать из него, причем тоже неизвестно куда, равносильно было для меня концу...

План с Чертогами в моем крайнем положении имел некоторые перспективы, однако они, обычно трусливо-деликатные, на этот раз попросту не впустили меня в дом.

– Не приходите больше! – крикнул мне в форточку Чертог-отец. – Ваш родной дед советует вас не впускать.

Значит, они получили письмо от старика, какое нелепое совпадение.

– Работать надо! – крикнула Чертог-мать. – Мы сами материально стеснены.

Это было уже слишком. Никогда не рассчитывал я на их еду, которую, даже будучи голодным, ел с отвращением, ибо всегда это было нечто холодное, дурно приготовленное, прокисшее и нечистое, с какими-то волосами, нитками и соринками... Чертоги нужны были мне исключительно как пристанище во время морозов или дождей, и ел я их подаяние (обедом это не назовешь) для того, чтобы их не обидеть и не лишиться пристанища. Тем более это была единственная семья, которая в свое время предоставила мне ночлег, и я держал их про запас на тот крайний случай, если ночлег опять понадобится, что и случилось ныне.

Далее, помню, никаких особых мыслей и чувств не было. Я поужинал двумя порциями мороженого и до ночи просидел возле фуникулера на скамейке. Возвратившись во втором часу ночи, я прежде всего глянул на койку и, обнаружив, что постель у меня пока не отняли, несколько успокоился. Некоторое время я лежал, обдумывая дальнейшие действия. Мелькнула дикая мысль: невзирая ни на что, просить ночлег у Бройдов, однако я тут же ее забраковал (тщеславие проклятое, которое давно мне не по карману, все-таки требует своего). И совершенно неожиданно, безо всяких на то логических оснований, я решил обратиться за помощью в райком партии.

Глава семнадцатая

Райком партии располагался неподалеку от Школы милиции, и от нашего общежития до него было минут двадцать ходу пешком. Неоднократно, идя пешком к центру, я проходил мимо райкома и запомнил его месторасположение (может, это и было одной из причин, когда я, исчерпав все возможности, решил обратиться в райком).

Здание райкома построено в пятьдесят втором году, о чем свидетельствовала надпись на фронте и стиль того времени: с квадратными колоннами, с лепными звездами и гербами. Обычно я в моей несправедливой борьбе, основанной на связях, знакомстве и покровительстве, подобных учреждений избегал, но это не было моим жизненным кредо, и я знал, что, сложись моя жизнь по-другому, я был бы преотличным патриотом, ибо моя склонная к поэтическим преувеличениям натура гораздо более удовлетворения получила бы в официальном существовании, вплоть даже до героической смерти, на которую я, очевидно, был способен, чем в пустопорожних личных мечтах, главным образом в ночное время, то есть не имеющих выхода в реальность и вынужденных прикрывать мои убогие материальные потребности... Нелишне также здесь напомнить, что я, почти тридцатилетний, оставался в душе юношей, однако не потому, что сумел сохранить свежесть душевных порывов, а потому, что порывы эти остались недозрелыми и не приобрели соответствия моему возрасту, а также времени. Вот почему, войдя в вестибюль райкома, я испытал молодое волнение и свою значительность в общем строю... Материальные невзгоды как-то оттеснили меня от происходящих в обществе процессов, и, хотя я к ним стремился при всякой возможности, таких возможностей было немного, а из компании Арского, где я вдруг испытал сладость оплевывания бывших святых, меня попросту выперли... Я человек сложный, то есть во мне есть много противоположностей, однако при обычных обстоятельствах, если душа моя не чрезмерно взбаламучена, во мне проступает какое-то одно чувство, остальные же словно на это время пропадают, и я сам о них начисто забываю. Поэтому, когда в приемной второго секретаря райкома партии Николая Марковича Моторнюка (так было написано на табличке) меня спросила одна из райкомовских женщин, лет сорока, достаточно полная, с высокой грудью и в полумужском приталенном женском партийном костюме: «Вы по какому вопросу, товарищ?» Я ответил: «По личному», – так, точно мой личный вопрос не упирался в койко-место, а соответствовал интересам общего дела.

Николай Маркович Моторнюк сидел в большом кабинете с портретами Ленина, Хрущева и Ворошилова. Принял он меня приветливо, и это могло погубить меня. Следует помнить мое крайнее положение, непрерывные провалы, тупики, разочарования в несправедливых путях... Хороший прием, который оказал мне человек совсем иного направления, мог окончательно убедить меня в бесполезности тех построений, которые до сих пор помогали мне жить... У каждого человека, а у отщепенца в особенности, имеется система мышления, в которую укладывается, перерабатывается все его мироощущение... Разумеется, выход из строя конкретной для данного человека системы образов и мыслей не приводит к немедленной физической смерти, как гибель системы кровообращения или дыхания, но она ведет к серьезному жизненному кризису... К счастью, разговаривая с Моторнюком, секретарем райкома, человеком, положение которого и, наверное, жизнь отвергали эту мою систему, к тому же изношенную, не помогающую мне более, я все-таки невольно еще находился внутри этой системы поисков покровителей, хоть одновременно и жаждал честной молодой комсомольской откровенности. Наверное, на стыке столь противоположных тенденций и родился контакт между мной и Николаем Марковичем. А до контакта родился мой рассказ, удивительно сильный, искренний по чувствам, но для воздействия требующий хорошего человека (каким был, безусловно, Моторнюк) и в то же время удивительно точный, логичный и, невзирая на самые искренние излияния о страданиях в детстве, смерти родителей, в то же время направленный к одной материальной

цели – к оставлению за мной койко-места на три месяца (там начнется осень, зима и вообще видно будет).

Помню свое состояние, когда я вышел из райкома. Так просыпаются после ночного кошмара, глядя в прекрасное, полное солнца окно. Я шел и смеялся. Я смеялся над своими страхами, над собой и над неверием в свою судьбу... У меня в глубине души всегда существовала уверенность, что пропасть я не могу, и когда становится очень плохо, значит, надо ждать избавления... Но по глупости я ждал избавления через третьи руки и не надеялся на себя... Придя в общежитие, я прежде всего нашел комендантшу Софью Ивановну и сообщил ей о моей беседе в райкоме, поскольку ныне, выйдя из паутины хитросплетений, просто испытал потребность в подобном открытом заявлении.

– Нам недавно звонили из райкома, Цвибышев, – сказала мне Софья Ивановна.

Пока я шел, Николай Маркович позвонил. Приятно все-таки быть полноправным гражданином своей страны, с умилением подумал я... Вообще после этого звонка из райкома в мою пользу я впал в некое восторженное состояние, которое бывает в юности во время парадов.

– Значит, все в порядке, Софья Ивановна? – дружелюбно спросил я.

– Кое-какие формальности еще нужны, – сказала Софья Ивановна, – но поговорим потом.

А потом, то есть всего через час с лишним, в дело было введено со стороны комендантши Софьи Ивановны новое лицо, а именно жилец из двадцать первой комнаты, семейный, занимавший эту комнату самостоятельно и, как оказалось, работающий инструктором того самого райкома. Фамилия его была Колесник.

Ко мне в комнату (я с наслаждением лежал на отвоєванной койке) постучала уборщица Люба и сообщила, что меня вызывают в Ленинский уголок. Думая, что это пошутил Юра Корш, воспитатель, я пошел, надеясь рассказать ему о своей удаче, особенно ценной, поскольку достиг я ее своими руками, да и вообще о том, как приобрел в райкоме своего человека (мечтая о новой законной жизни, я невольно продолжал жить в системе старых хитросплетений и покровителей).

В Ленинском уголке никого не было, лишь за столом над подшивкой газет сидел один из жильцов, года два уже мелькавший мимо меня, но поскольку сталкиваться с ним не приходилось, то знакомый лишь в лицо. Я хотел было уйти, но он окликнул меня:

– Вы Цвибышев?

– Да...

– Нам надо поговорить, садитесь, пожалуйста.

Не понимая еще, куда все это направлено, я сел.

– Цвибышев, – сказал мне жилец, – расскажите мне, на каком основании вы занимаете койко-место...

Жилец был в обычной форме, какую носят внутри общежития, то есть в майке, и создавалось такое ощущение, будто он только что вышел из общей кухни, поскольку руки его были измазаны каким-то жиром (что соответствовало действительности и вскоре подтвердилось: на кухне у него жарилась картошка). Весь этот неавторитетный вид плюс поддержка райкома, подтвержденная оперативным звонком Моторнюка в жилконтору, заставили меня среагировать на этот вопрос определенным образом, а именно встать и небрежно махнуть рукой.

– Садитесь, – сказал жилец неожиданно твердо и резко, но главное было не в этом, а в том, что голос его заставил меня приглядеться внимательней и увидеть, что лицо моего собеседника отличается от лиц обычных жильцов отсутствием бытовой измотанности и есть на нем некий, может не для всех уловимый, элемент вкусной жизни, той жизни, из среды которой бывают особенно ценные покровители и особенно опасные враги.

К счастью, моя ничтожная жизнь не давала мне возможности иметь постоянных опасных врагов из той среды, ибо незаконным делам моим и потребностям моим соответство-

вали гонители из низшей администрации: дворники, комендантши, управдомы и т. д. В то же время покровителей я искал сам, естественно, повыше. На этом несоответствии между положением моих покровителей из высших сфер и положением моих гонителей из низших инстанций и основывалось мое благополучие. Иногда, впрочем, возникали и гонители рангом повыше (например, Сичкин из военкомата), однако это экспромтом и ненадолго. Вот почему столь продолжительное время я ухитрился пользоваться не принадлежащими мне правами, в общем-то не имея устойчивых покровителей. Просто в силу ничтожного моего положения покровителям не приходилось преодолевать серьезного сопротивления.

– Я инструктор райкома партии Колесник, – меж тем сказал жилец, предупредив мой вопрос, – я пригласил вас поговорить по душам... Вы комсомолец?

– Да, – сказал я, чувствуя внезапный холодок внизу живота, невольно вспомнив, что некая неприятная, правда забытая сейчас, ситуация начиналась именно так (напоминаю: Сичкин из военкомата). Но одновременно, глядя недоверчиво на майку-футболку, измазанную жиром, я добавил: – Однако уже выбыл по возрасту...

– Так, – сказал Колесник, – вы, кажется, техник? Я пока бегло ознакомился с вашей анкетой в жилконторе.

– Да, – сказал я, соображая, как вести себя далее и в какой степени он мне опасен после звонка секретаря райкома в мою поддержку...

Знает ли он об этом звонке?.. Я решил вести себя хитро и осторожно, выложив этот свой главный козырь в конце, после того, как станет понятна позиция Колесника.

– Я считаю, – сказал Колесник, – что вас просто упустили из виду. Вы мне благодарны потом будете. Мы когда отправляли людей на периферию, многие тоже возражали, а теперь благодарны... Минутку, я сейчас. – Он вдруг вскочил и вышел.

Тут я окончательно сообразил: вот он куда клонит. Что б он теперь ни говорил, я знал, что его цель – лишить меня койко-места... Я был растерян и не мог понять, почему вдруг и от чьего имени он действует. Находясь в более спокойном душевном состоянии, я вспомнил бы о своем разговоре с Софьей Ивановной. Я понял бы, что, привлекая к делу о койко-месте райком, я вынуждал своих гонителей к обороне, а потом и контрнаступлению на том же уровне...

Посидев некоторое время в одиночестве над подшивками газет, я решил, что Колесник ушел вовсе, разговор окончился ничем и вообще все это ерунда. Я вышел в коридор, решив одеться и пойти в библиотеку, а может, и в газетный архив: вдруг там вновь появилась красавица Неля, по которой я давно уже соскучился и о встрече с которой мечтал. Однако Колесник стоял на кухне среди женщин и, о чем-то весело разговаривая, ворочал шипящую на сковороде картошку.

– Куда же вы? – заметив меня, сказал он. – Мы еще не закончили.

Этот окрик, ломающий мои планы, и нелепый вид инструктора райкома партии, жарящего среди баб картошку, с одной стороны, меня озлобил, а с другой стороны, внушил мне неуважение. К тому ж я не знал истории Колесника и, что еще хуже, не понимал вовсе духа времени, будучи задавлен материальными нуждами. Поэтому в дальнейшем я повел себя неумно и неточно.

– Вам известно, – сказал я Колеснику, желая одним ударом освободиться от него, – что секретарь райкома товарищ Моторнюк звонил в жилконтору?

– Известно, – невозмутимо ответил Колесник, – он попросту не разобрался.

Это прозвучало для меня дико.

– Секретарь райкома не разобрался?

– Да, – улыбнувшись чему-то, сказал Колесник. – Вот мы его и поправим.

Я, безусловный антисталинист по духу, будучи огражден материальными невзгодами от общественных веяний, внутренне жил по твердым прежним, сталинским законам авторитетов. Колесник же, безусловно сталинист по духу, жил тем не менее по новым, антисталинским вея-

ниям, дающим свободу внутривластным звеньям, если не откровенную, прямо вступающую в пререкания с высшими звеньями, то во всяком случае внутреннюю, ищущую самостоятельности в ориентации не на авторитет непосредственно высшей инстанции, а на общую структуру всего аппарата в целом, не зависящую от личных вкусов и личного произвола...

Колесник понял, что если личная симпатия секретаря райкома, носящая характер личного произвола, была направлена в мою пользу, то общая структура была направлена против меня, явного отщепенца. Значит, решил он, с личным произволом Моторнюка, желающего мне помочь, можно и нужно бороться...

Николай Маркович Моторнюк в войну был в партизанском соединении Ковпака. Кончил он войну инвалидом, ходил опираясь на палку, из-за ранения ноги. Был он человек, безусловно, сталинской школы, но, являясь человеком добрым и хорошим, он часто направлял свои волевые методы в сторону, противоположную личному мировосприятию... Колесник же родился как работник нового типа... Я застал его именно в момент рождения. У него была короткая и ясная биография, которую я позднее узнал от Григоренко. Производственная деятельность Колесника, правда по иным, наверное, причинам, напоминает мою. Он был плохой прораб, а затем плохой диспетчер. Ему поручили должность секретаря комсомольской организации, поскольку в строительном управлении была она текучей, непрерывно сменяющейся, никто ею заниматься не хотел, а Колесник, при всех своих отрицательных производственных качествах, не пил и, как выяснилось, в техникуме занимался комсомольской работой. И действительно, он начал выпускать регулярно стенгазету, аккуратно собирал членские взносы, и, поскольку как раз к тому времени началась кампания по выдвижению в райком комсомола людей с производства, Колесник внезапно был вознесен туда и отпущен со стройки без сожаления. С этого момента и начался его рост... Он женился на продавщице универмага (миловидной женщине, которая до моего столкновения с ее мужем очень вежливо всегда со мной раскланивалась, встретив в коридоре). В общежитии он получил комнату на две семьи, разделенную занавеской. Проработав год в райкоме комсомола и оправдав себя, он был выдвинут в райком партии. Он ожидал получения квартиры, а до того Софья Ивановна устроила ему отдельную комнату (правда, их стало трое, поскольку родился сын). Вот этого-то я и не знал.

Моторнюк любил Сталина как свою молодость, веру в идею, за которую он пролил кровь. Колесник видел в модернизированном сталинизме источник личного благополучия, и в общем-то, в период личного роста, ему и нужен был нынешний Сталин, то есть Сталин с ошибками; модернизация, собственно, в том и состояла – не в вычеркивании Сталина, а в прибавлении к Сталину его ошибок, то есть нынешний Сталин был составлен из прежнего, любимого народом символа, скрепляющего общество, и из ошибок, оставляющих зазор для роста в определенном государственном направлении... Вот этого-то я и не понимал... Из всего этого личного незнания и непонимания исторических процессов в стране и назрела эта последняя катастрофа с моим койко-местом в общежитии «Жилстроя».

Мои отношения с Колесником перешли вскоре на самый неприятный уровень, чуть ли не скандала, причем по моей инициативе, поскольку так называемый разговор по душам перешел в форменный допрос, и, помимо возмущения, я пошел на скандал еще из хитрости, чтоб не допустить опасных для меня вопросов относительно моих родителей. Ряд дальнейших моих шагов носит еще более непродуманный и поспешный характер. Так, вместо того чтобы всю свою защиту сосредоточить вокруг телефонного звонка секретаря райкома в мою пользу, состоявшегося пусть экспромтом, на основании личного произвола, но тем не менее состоявшегося, являющегося для администрации непреложным фактом, я, возбужденный разговором с Колесником, вновь пошел к Моторнюку с жалобой на действия Колесника, при этом передав и пренебрежительные слова Колесника о том, что «Моторнюк не разобрался». Не явись я вторично, Колеснику пришлось бы самостоятельно заводить разговор с секретарем райкома о некоем жильце общежития и судьбе его койко-места, а это звучало бы нелепо, мелко, и Колес-

ник вряд ли бы избрал подобный путь. Он, скорее, стал бы копаться в моем личном деле в жилконторе (что он и делал) и искать компрометирующие меня факты (чего, к сожалению, я недооценил). Конечно, и одни лишь эти действия без вторичного моего посещения Моторнюка привели бы меня к катастрофе. Я был обречен, поскольку впервые моим активным гонителем стал представитель той среды, откуда до сих пор я черпал лишь покровителей (Саливоненко моим гонителем не стал. Разобравшись во мне, он просто бросил меня на произвол судьбы, в дополнение зачем-то оклеветав, может быть, затем, чтобы оправдать свои действия перед самим собой, ибо, помогая мне ранее, он не мог так просто от меня отмахнуться). Однако телефонный звонок секретаря райкома в мою пользу оставался бы некоторое время серьезным фактором и помог бы мне договориться о компромиссном решении – например, оставить за мной койку на месяц-другой, пока я не найду какой-либо иной ночлег.

Первоначально Моторнюк принял меня приветливо, но едва я сказал ему о Колеснике, особенно о пренебрежительном отношении Колесника к нему, Моторнюку, как он тут же помрачнел. Я обрадовался, думая, что попал в точку, и, как в таких случаях со мной случается, потерял самоконтроль. Кажется, я даже сказал Моторнюку, что Колесник явно метит на должность секретаря райкома. Подобный вывод с определенной натяжкой, конечно, можно было сделать (неприятная улыбка Колесника и слова «мы его, то есть Моторнюка, поправим»), но делать это следовало не мне и не вокруг ничтожного дела о койко-месте в общежитии. К тому ж именно в тот момент, когда я это говорил, раздался стук в дверь кабинета и вошел сам Колесник. Судя по его смиренному виду, он, конечно, преувеличивал свои возможности и был в полном подчинении у Моторнюка. Но я не учитывал, что, соединенные вместе, они становились уже частью налаженного, и талантливо налаженного, партийного аппарата. Сила этого аппарата состояла в его кажущейся ненужности. Но это была ненужность символа, которая придавала ему особую прочность. Впервые удалось создать сочетание символа и учреждения, спаянных воедино. Это сочетание брало из того и другого лишь лучшее. Из символа – его святость, но не отстраненность от живой жизни; из учреждения – его активную деятельность, но не ответственность за неизбежные при всякой деятельности ошибки. Если цель всякого учреждения направлена главным образом вне, на материальные нужды, то цель этого символа-учреждения направлена прежде всего на внутреннее самосохранение, на внутреннюю четкость звеньев, вокруг которых можно было бы объединить многочисленные меняющиеся, распадающиеся, неизбежно ошибающиеся в процессе материальной деятельности практические учреждения. Новые веяния, пришедшие со смертью Сталина (ошибка Сталина состояла в том, что он чрезмерно усилил значение символа, в то время как учреждение начало ветшать, бюрократия была подавлена личной волей), новые веяния усилили это внутреннее самоусовершенствование, наверстывая упущенное, и личные порывы, дурные ли, хорошие ли, сводились постепенно до минимума. Поэтому Моторнюк лично мог бы мне помочь, но вместе с Колесником они уже могли действовать лишь в направлении внутреннего самоусовершенствования учреждения. И надо сказать, что первоначально Колесник, которому как инструктору Моторнюк поручил разобраться (вот результат необдуманного второго посещения), Колесник, несмотря на мои заявления в его адрес (он явно подслушивал за дверьми, уверен), действовал строго в пределах закона (который, конечно, был против меня). Лишь позднее, дойдя до определенной точки, доведя дело до законного конца, Колесник вышел за рамки закона и по личной инициативе допустил перегибы, всячески унижая меня. Но, во-первых, уже не в качестве инструктора, а в качестве частного лица. А во-вторых, я сам в тех унижениях виноват и, будучи окончательно сломлен и раздавлен, сам пошел этим унижениям навстречу, причем не без задних мыслей, надеясь найти в них спасение.

Первоначально Колесник пригласил меня в свой кабинет в райкоме. Конечно, это не был просторный, роскошный кабинет Моторнюка. Был он маленький, узкий, в одно окно. Дверь была не обита кожей, а крашена белой масляной краской, однако на двери этой висела таб-

личка с надписью: «Колесник». В кабинете стоял стол, книжный шкаф; сам Колесник сел в кресло под портретом Карла Маркса, а мне предложил сесть на стул. На Колеснике был голубой однобортный костюм и в петличке наподобие ордена значок, на котором изображен был голубь мира и надпись на нескольких языках: «Мир»... Очевидно, он провел уже определенную работу и подготовился к разговору, поскольку из ящика письменного стола достал бумажную папку, на которой была написана моя фамилия. Причем у Моторнюка он, в отличие от меня, не выложил ни единого козыря. Просто вошел скромно и сел, одним своим молчаливым присутствием добившись передачи вопроса обо мне ему и придав этому вопросу о койко-месте характер дела. Лишь глянув на папку с надписью, я понял, что пришла погибель. Нет, это не полуграмотная завкамерой хранения Тэтяна. Все три года моих хитросплетений лежали в этой бумажной папке, я был в этом уверен. Я рассчитывал лишь на то, что живу несправедливо на столь низком уровне (с помощью хитростей и знакомств незаконно имел ночлег и кусок хлеба с карамелью и кипятком), что вряд ли из серьезных сфер к этому протянут руку. Все хитрости были сработаны грубо, неприкрыто, делались либо с помощью телефонных звонков, либо личных записок.

– Так, – сказал Колесник, открывая папку, – вы знаете, что Маргулису объявлен выговор, его, очевидно, уволят... Не только, конечно, из-за махинаций с вами, но и по другим причинам. Три года вы, по сути, занимали чужое место в общежитии, в то время как простые честные парни, которые хотят работать на стройке, не имеют такой возможности из-за отсутствия жилья... Фактически, извините меня, вы жили паразитом на чужом месте...

Если в случае удачи, подлинной ли, кажущейся ли, я теряю самоконтроль и веду себя неумно, то в критическом безвыходном положении мысль моя подсознательно ищет малейших нюансов, малейших поворотов, чтоб нащупать лучшее, что можно сделать в мою пользу в данной ситуации. Обвинения Колесника в мой адрес имели оттенок нотации, и я приготовился слушать, опустив глаза, видом своим пытаюсь смягчить антагонизм, в котором был и сам виновен. Однако Колесник неожиданно сломал ритм, к которому я было начал приспособляться, и (очевидно, неслучайно) резко спросил:

– Кто такой Михайлов?

Мысль моя лихорадочно метнулась в разные стороны и не нашла ничего лучшего, чем сказать:

– Знакомый.

– Значит, по знакомству занимаете чужое, – сказал Колесник. – А парни, у которых нет знакомств, что должны делать? Софья Ивановна предоставила мне данные. Мы не сумели принять двести парней и девочек, в которых испытываем острую нужду, только из-за отсутствия мест в общежитии... А вы на записочках себе веселую жизнь строите, чужое присваиваете... Вы работали в Строймеханизации, не предоставившей вам общежитие... Там вас один дядя устроил, здесь другой...

И я увидел в руках Колесника прошлогоднюю записку Михайлова к Маргулису с просьбой оставить койко-место за мной. Зачем Маргулис сохранил ее? Может, для того, чтобы, в свою очередь требуя что-то от Михайлова, иметь возможность предъявить записку как напоминание о своем одолжении... Ведь как-то жена Михайлова в сердцах сказала мне, что из-за меня Михаил Данилович вынужден общаться с разного рода вымогателями... Да, это ужасно... Но ведь я не виноват, что нуждаюсь в ночлеге и не имею возможности получить его... В этом виноваты мои родители, а расплачиваюсь я... Сказать о том Колеснику? Нет, опасно... В период удачи, может быть, и выпалил бы, а сейчас надо только наверняка...

– Где этот Михайлов работает? – спросил Колесник.

Конечно, думал я, Михайлов унижал меня, а в этом году и вовсе оставил без поддержки, но все же он мне делал добро, было бы подло его подводить.

– Он не местный, – сказал я, – просто давно знаком с Маргулисом. Был проездом, попросил мне помочь.

– Это точно?

Я глянул на Колесника и понял, что он знает, где работает Михайлов.

– Он работает в тресте «Жилстрой», – тихо сказал я.

– А почему вы врете? – спросил Колесник.

– Я пошутил...

После этого я уже не мог сосредоточиться, мысль моя потеряла обычную, свойственную ей в критических ситуациях цепкость.

– На какие средства вы живете? – спросил Колесник.

– Я работаю...

– Где?

– В Строймеханизации, ведь вы сами сказали... Но общежития мне там не предоставили, отсюда вся беда...

Колесник зашелестел бумагами в папке. Лишь спустя несколько дней я понял, что он подложил лишние, посторонние бумаги, чтоб придать делу большую толщину и солидность.

– Это ваша справка? – невозмутимо спросил Колесник.

Вот почему Колесник вел себя так уверенно. Сейчас, когда уже поздно что-либо предпринять, все становилось ясно. Безусловно, он и дело-то завел не ранее, чем обнаружил эту фальшивую справку, сработанную Витькой Григоренко, которую я опрометчиво передал Софье Ивановне. Это единственное реальное обвинение против меня, но обвинение подлинное и опасное. Интересно, что, поняв опасность подлинного обвинения против меня, я тотчас же понял смехотворность и мелкость всех прежних обвинений, которые навели на меня чрезмерную панику... Михайлов слишком крупная фигура, которая не по зубам Колеснику, и напрасно я вилял и отнекивался от близкого знакомства с ним... Не будь в руках Колесника поддельной, фальшивой справки с места работы, личная записка Михайлова обо мне, пожалуй, возымела бы обратное действие, именно в мою пользу, ибо Колесник лучше комендантши знал о положении Михайлова, кстати одного из консультантов плановой комиссии республиканского Верховного Совета. И в то же время он не знал, что Михайлов меня поддерживает постольку-поскольку и последнее время с неохотой. Впрочем, с самого начала он стремился устроить меня не в свой трест, а в посторонний, через третьи руки... Фальшивая же справка позволяла Колеснику взяться за меня как следует, косвенно показав свою власть не столько мне, сколько самому себе в отношении Михайлова, отвергнув его авторитет и косвенно же, через меня, лягнув и Михайлова.

– Михайлов знает об этой фальшивой справке? – спросил меня Колесник.

– Нет, – едва слышно ответил я.

– Ты же совсем изоврался, – переходя на «ты», повысив на меня голос, застучал кулаком по столу Колесник, – мне тридцать лет, а я ни разу не врал, а ты только на вранье и держишься. Потому что я все делал своими руками, а ты, сукин сын, на дядю рассчитываешь (это был уже перегиб. После того как я признался в фальшивой справке, Колеснику достаточно было написать заключение, и я, безусловно, лишился бы немедленно койко-места, а также нес ответственность за подделку документов).

Испытывая ко мне личную неприязнь, Колесник не пошел на опасную для меня сухую концовку, а начал стучать кулаком по столу, обзывать меня и вообще перегнул, шагнув далее своих обязанностей. Видно, теперь, когда я был полностью в его власти, он захотел вдоволь натешиться надо мной, и, должен сказать, это меня обрадовало, ибо, выйдя (или будучи выведен перегибом Колесника) за пределы закона, я начал чувствовать себя свободнее и не так скованным... Никогда моей судьбе не угрожала большая опасность, и никогда я не унижался столь вдохновенно, спасаясь. Я пошел на смелый, дерзкий шаг, назвав Колесника по имени,

и он молчаливо разрешил это. Очень скоро наши отношения стали не должностными, а уличными, и я понимаю, что Колеснику они были более по душе, вот почему он пропустил даже «Сашу» в свой адрес (его звали Александр Тарасович). Видно, Колесник так ненавидел нашего брата отщепенца-интеллигента, что должностные отношения, ограниченные законом, хоть и находящимся на его стороне, мешали ему, и он хотел отношений улицы, отношений сильного и слабого почти в физическом смысле, отношений избивающего и избиваемого, способного лишь просить о снисхождении, но не сопротивляться...

Колесник глянул на часы и сказал небрежно:

– Ладно... Мне сейчас некогда с тобой... Можешь быть свободен до вечера... Вечером встретимся в общежитии...

Я вышел из райкома полный надежд... Да и, как ни странно, в лучшем состоянии, чем вошел туда... Я вошел, чувствуя за собой поддержку секретаря райкома, благодаря чему находился в нервном напряжении, готовясь к борьбе... А вышел морально раздавленный, полностью разоблаченный, освободившись от нервного напряжения. Тем более что в последнее мгновение в столь безысходной ситуации блеснул луч надежды, выразившийся в том, что Колесник перегнул и вышел за рамки закона, творя надо мной расправу личного порядка. Тут следует заметить: едва ощутив личную злобу и силу Колесника в отношении меня, полностью им разоблаченного и беззащитного, я стал искать в этом Колеснике покровителя, ибо, как я думал, разоблачение с поддельной справкой лишило меня возможности искать поддержки со стороны и Колесник мне теперь был бог и судьба...

Бродя по небольшому садику неподалеку от общежития в одиночестве, я испытывал приподнято-взволнованное состояние, ожидая Колесника. У меня не было сейчас тяжело на душе, наоборот, я испытывал легкость, даже какую-то нервную веселость падшей души. В садике я Колесника не дождался, но часов в девять вечера он сам постучал в дверь нашей комнаты. Он был по-домашнему, в майке-футболке, и на кухне у него опять что-то жарилось, поэтому мы ходили с ним по коридору из конца в конец, тихо беседуя, а время от времени он отлучался на кухню. Перво-наперво я пожаловался Колеснику на комендантшу, что звучало нелепо, поскольку именно комендантша привлекла Колесника к борьбе против меня... Вообще, в последней стадии этой борьбы комендантша Софья Ивановна, которая ранее относилась ко мне сравнительно терпимо, перещеголяла Тэтяну, которая, в свою очередь, притихла и, может в противовес комендантше, начала относиться ко мне если не терпимо, то нейтрально... Так вот, Софья Ивановна в мое отсутствие ворвалась в комнату (это со слов Саламова), перерыла зачем-то мою постель и забрала из тумбочки мой паспорт.

– Ну, на такое она не имеет права, – сказал Колесник, – правда, ты же ее в райкоме опозорил фактически... Я поговорю с ней насчет паспорта. Но ты вот что мне скажи, на что ты живешь, ты ведь с марта не работаешь, шутишь, три месяца, ты мне на эту сумму отчитайся, будь добр... Если денежные переводы получаешь, корешки мне давай... Ты одет, обут, три раза в день ешь по крайней мере... завтрак, обед, ужин (я уже месяц питался хлебом, карамелью и кипятком). Ты мне по крайней мере на такую-то сумму отчитайся. – И он назвал сумму, на которую я прожил бы не менее года, будь она у меня.

– Саша, – сказал я мягко, просительно, – что мне вообще делать, посоветуй, ты бы помог мне куда-нибудь устроиться... Я маляром немного работал.

Это был необдуманый шаг, Колесник вдруг ожесточился.

– Падло ты, – сказал он, правда негромко, чтоб не привлекать внимания, – какой из тебя маляр, какой из тебя работяга...

– Это верно, – поспешно согласился я, – у меня ноги отморожены, долго не выстою на холоде зимой.

– Другие пусть, значит, стоят, – сказал Колесник. – Именно на холод и пойдешь, в высылку... Судить тебя будут за подделку документов.

Мимо прошел Митька-слесарь.

– Привет, Гоша, – сказал он. – Привет, Саша.

Со стороны мы напоминали друзей.

– Саша, – сказал я, невольно прижав руки к груди, – но зачем это тебе надо, ломать мне совсем жизнь.

– А так, – сказал он вдруг по-уличному грубо и нехорошо улыбнулся.

– Но у меня была такая трудная жизнь, – заговорил я, утратив даже расчет разжалобить и отдавшись искренней печали. – Я рос один... Я голодал; если что не так, так это от нужды, но это урок, я его надолго запомню – навсегда.

– Так я тебе и поверил, – сказал Колесник. – Я месяц без работы бы не прожил, а ты три месяца, и ничего, не помираешь... Знаем мы вашего брата... – Он хотел еще что-то добавить, но сдержался.

Подошла его жена, та самая продавщица универмага, которая ранее вежливо здоровалась со мной, ныне же, очевидно узнав от мужа мою подноготную, лишь бросила на меня мимоходом презрительный взгляд.

– Саша, – сказала она, – ужин стынет.

– Сейчас, Катенька, я освобожусь, – сказал Колесник, – сейчас я приду...

Жена ушла. Мы молча еще раз прошли по коридору из конца в конец.

– Ладно, – сказал Колесник, – черт с тобой... Только чтоб через три дня духу твоего в общежитии не было.

– Спасибо, Саша, – сказал я.

Нелепость сложившихся обстоятельств была очевидна. Ныне удачу и спасение я видел в том, против чего боролся три года с помощью хитросплетений и покровителей и из-за чего попал во власть Колесника.

– Может, ты посоветуешь, куда мне деться? – спросил я Колесника.

Он посмотрел на меня внимательно и серьезно, уже без злобы:

– А куда б ты хотел?

– Не знаю, – сказал я, – в университет хотел, на филологический факультет.

– Да какое ты право имеешь к идеологической работе стремиться? – вновь обозлился Колесник.

– Уже не стремлюсь, – поспешно успокоил я его.

– А в Индию ты не согласился б поехать? – спросил вдруг Колесник.

– Куда? – удивленно переспросил я.

– В Индию, – серьезно сказал Колесник, – на строительство... Там, правда, малярия...

– Да это ерунда! – не веря своим ушам, крикнул я.

– Тише, – сказал Колесник, – и вообще не шуми и не болтай... Поработаешь за границей, может, действительно человеком станешь, там тебя марку советского гражданина держать научат... А не научат, так заставят... Завтра с утра прямо езжай по адресу: Тоньяковский тупик, четыре... Это восемнадцатый трамвай... Все...

Он повернулся и пошел в свою комнату... Я остался стоять в коридоре... Индия... Кто мог ожидать такого сказочного разрешения моей судьбы?... Кто мог ожидать, что все то ужасное, постыдное, что произошло со мной за последние два дня, окончится вот так... От покорного спокойствия не осталось и следа, я был в самом приподнятом, растрепанном состоянии чувств... Я едва дождался утра, лишь перед рассветом забывшись в легком сне.

Утро было совершенно осенним: шел сильный дождь, небо сплошную обложило. Ветер был так силен, что сбивал с деревьев сочную летнюю листву, точно она была уже пожелтевшей и мертвой. Я не стал завтракать (забыл с вечера купить хлеба), а выпил лишь из чайника холодного кипятку, от которого заныл желудок, и, наскоро одевшись, натянул старый плащ в желтых пятнах. Когда-то рядом с плащом я положил в чемодан мешочек яблок, присланных

теткой, дабы растянуть их надолго, завтракая и ужиная, и не делиться с жильцами. Но яблоки сгнили от чемоданного тепла и долгого хранения, оставив на плаще следы, несколько напоминающие пятна, которые оставляют на предметах младенцы, не умеющие проситься... Поэтому плащ этот я надевал в крайнем случае, а когда надевал, то шел, заложив руки за спину, чтоб скрыть особенно густое пятно на спине. Однако при встречном дожде и пронизывающем ветре подобная поза была крайне неудобна. Правда, и прохожих на улице было мало и они бежали, пригнув голову, так что вряд ли могли обратить внимание на мои пятна.

Перед выходом в вестибюле меня окликнула Тэтяна.

– Цвибышев, возьми, – сказала она и, впервые глядя с некоторым даже сочувствием, протянула мне мой паспорт.

Значит, Колесник сдержал слово и поговорил с комендантшей. Это меня совсем обрадовало и вселило лишнюю уверенность, так что даже дождь и холод не могли мне в первое время испортить настроение. Однако постепенно я начал уставать. Ехал я долго. Тоньяковский тупик находился в противоположном конце города, и до восемнадцатого трамвая надо было добираться сперва троллейбусом номер два, потом седьмым трамваем. Затем долго пришлось ждать восемнадцатого... С полчаса ехал восемнадцатым... Остановки «Тоньяковский тупик», как мне объяснили, не было, была остановка «Машинопрокатная база», а от нее надо было либо ждать автобуса, который ходил редко, либо две остановки идти пешком... Я пошел пешком в гору по размытой, грязной дороге, по обе стороны которой видны были наполненные водой строительные котлованы... Шел я очень долго, так что у меня заныла сильно спина и весь я взмок, несмотря на хлюпающую в туфлях воду. Местность была совершенно безлюдная, и спросить не у кого было. Я шел и злился на себя, тем более что меня вскоре обогнал автобус, которого я не захотел ждать. Наконец навстречу мне попался усатый мужчина в прочном брезентовом плаще с капюшоном и крепких яловых сапогах, так что я невольно в душе позавидовал его одежде и обуви, хорошо защищающим от дождя. Усатый объяснил мне, что вставать надо было не на «Машинопрокатной базе», а на остановку раньше, на Кожемяцкой, и там проехать на трамвае до Ярной... Тоньяковский тупик как раз от Ярной начинается... Либо сойти за две остановки, на Первом Тоньяковском переулке. Правда, там надо идти пешком минут пятнадцать.

Я плохо понял его объяснение, но повернулся и пошел назад к восемнадцатому трамваю. Идти было несколько легче, поскольку ветер и дождь хлестали теперь в спину. Дождавшись восемнадцатого, я поехал назад, но не до Кожемяцкой, а уж до Первого Тоньяковского переулка, более надеясь на свои ноги, да и желая, откровенно говоря, сэкономить на транспорте, так как от Кожемяцкой надо было делать пересадку и ехать до Ярной...

Тоньяковский тупик, четыре, который я наконец, увидя, обрадовался, словно здесь меня ждал родной теплый угол, отдых и уют, был двухэтажным деревянным домом, покосившимся, но действительно крайне уютным, с резными наличниками, резным крыльцом и занавесками на окнах, где стояли совершенно одинаково всюду бутылки с наливкой и, что самое странное, во всех окнах сидели кошки разной масти, которых непогода загнала в дом... Я вошел в коридор, полутемный, уютный и теплый, с опьяняющим запахом жареного мяса... Я был в некоторой растерянности, не зная, как спросить о нужном мне учреждении, которое, как я понял со слов Колесника, не рекламировалось, а может, даже не имело вывески.

– Кого вам надо? – окликнула меня одна из жилищ, приоткрыв дверь.

– Понимаете, – замялся я, – мне, в общем, где на работу...

– Это выйдете во двор и в подвал... Под арку выйдете...

Я вышел и действительно под аркой обнаружил табличку о наборе рабочей силы. Я спустился на три ступеньки вниз. В полуподвале, довольно сыром, увешанном плакатами с улыбающимися лесорубами и шахтерами, сидел уполномоченный по оргнабору, мужчина с крас-

ным лицом, в кителе, который носит военизированная железнодорожная охрана, с желтыми кантами, но знаков отличия и погон на кителе не было.

– Вам чего? – спросил он меня, глянув с безразличием и углубившись вновь в какой-то отчет, который писал.

– Я к вам, – дипломатично сказал я и уселся на стул, – здесь вербуют?

– Да, – кивнул уполномоченный.

– Куда?

– Дальстрой, Магадан, Казахстан...

– А мне порекомендовали, – понизив голос, сказал я, – узнать насчет Индии.

Уполномоченный поднял на меня глаза. Я был крайне уставшим, измотанным, промок насквозь и, кажется, простудился. Наверное, это было заметно.

– В Индию мы не вербуем, – сухо сказал мне уполномоченный.

– А кто вербует?

– Не знаю.

– А здесь поблизости нет другой организации, – спросил я, – которая вербует?..

– Не знаю, – сказал уполномоченный, – не слышал.

Я извинился и пошел к выходу.

Конечно, Колеснику удалось так просто и легко обмануть меня и посмеяться надо мной, человеком весьма критического ума, только ввиду моего крайнего положения. Это опять, в который раз, пресловутая соломинка. Тот, кто жаждет спасения, хватается за нее с такой же и ни в коем случае не меньшей искренностью и верой, с какой он ухватился бы и за прочное бревно...

Глава восемнадцатая

Плохо помню, как я добрался назад, но помню, что сразу же разделся и лег. Мне было настолько нехорошо и я был так слаб, что чувствовал свою зависимость от всех и нужду абсолютно во всех, кто был здоров, ходил и мог мне помочь. И я стал в тот вечер, когда мне было особенно нехорошо, ко всем моим сожителям добр и забыл злобу на них.

– Паша, – сказал я Береговому, с которым давно не разговаривал и был в контрах, – подай мне, пожалуйста, кипятку, пить хочу.

Береговой глянул молча, налил в кружку кипятку и подал мне.

Я выпил с наслаждением мелкими глотками, и трясоти стало меньше. Затем Береговой с Петровым уселись играть в шахматы, дымя папиросами.

– Вы б, друзья, не курили, – сказал Жуков и кивнул на меня, которого от простуды душил кашель.

– А чего, – сказал Береговой и небрежно махнул рукой, – вон форточка открыта.

– Витя, – сказал я Жукову, будучи крайне благодарен ему за заботу обо мне, когда он сказал о том, чтоб не курили, – ты бы сходил к Григоренко, скажи ему, что я приболел, пусть мне поест что-нибудь купит.

Жуков вышел и вернулся минут через двадцать мокрый, ибо по-прежнему вторые сутки подряд лил дождь... Он начал выкладывать вареную колбасу двух сортов, ливерную колбасу, хлеб, сливочное масло, банку резаных кабачков в томате, банку баклажанной икры, банку мясных консервов и банку «щука в масле»... А вот карамели не купил. Да и вообще своей непродуманной покупкой нанес серьезный удар моему бюджету, истратив сумму, на которую я планировал держаться по крайней мере полмесяца... Если я отдам ему, то останусь вовсе без копейки, а через два дня, ну через три дня мне надо куда-то деваться из общежития...

С трудом повернув голову, ибо у меня сильно болел затылок, я смотрел на все эти соблазнительные богатства, стоящие передо мной на стуле, глотал голодную слюну, морщась, поскольку болело горло, и мучился, что делать... Я так давно питался одним хлебом и кипятком, что у меня не хватило сил честно сказать Жукову о том, что нет денег оплатить все это, и я решил воспользоваться своим правом больного и пока забыть о долге... Хотя и мучила меня совесть, поскольку я знал, что Жуков получил получку и должен выслать деньги матери, однако я не мог преодолеть соблазна.

– А где Григоренко? – единственно что спросил я Жукова.

– Его дома не было, – ответил Жуков, поднимая голову от учебника физики за седьмой класс, который он учил почти что наизусть, как стихи.

Вот о том, что не было Григоренко, я искренне пожалел. Тот купил бы более сообразно моему бюджету: хлеб, карамель, может быть, масло, ибо был мне друг и точнее разбирался в моих финансовых возможностях. Но такие уж мы друзья: и я, и он подчас неделями не заглядываем друг к другу. И вот из-за того я вынужден был воспользоваться услугами Жукова, который ввел меня в соблазн своими непродуманными покупками. Организм мой был крайне истощен, и я не в силах был сейчас, во время болезни, отказать ему в питании. Решив не думать ни о чем, я набросился жадно на еду. Я полноценно и много поел с вечера, запив кипятком, который подал мне самый тихий, пожилой и незаметный наш жилец Кулинич... Ночью я метался, мне было жарко и тяжело, пытался сам себя укачивать, но это не помогало и усиливало даже головную боль, однако к утру я почувствовал себя лучше, а полноценно позавтракав (кипятком подал мне Саламов), вовсе как будто пришел в себя, хоть горло по-прежнему болело...

Меж тем Жуков ждал, что я верну ему долг, поскольку всегда после получки высылал деньги матери... Я ощущал это по взглядам, которые он на меня бросал, однако некая совестливая стыдливость (уверен, ему было стыдно за меня, и потому он сам стыдился начать прямо

неприятный разговор), совестливая стыдливость мешала ему открыто требовать долг. Мы оба мучились, и отношения между нами вновь стали самые напряженные, я это ощутил, когда вскоре произошло мое столкновение с Береговым из-за форточки.

На второй день болезни мне стало лучше, но душил кашель, ночью вовсе мешая мне спать, а днем не давая вздремнуть после ночной бессонницы. Поэтому, воспользовавшись отсутствием жильцов, я встал и захлопнул форточку, откуда прямо на меня дуло сырым ветром, захлопнул форточку, после чего кашлять стал меньше и вздремнул. Проснулся я от крика.

– Едри его мать! – кричал Береговой, распахивая форточку настежь, так что даже брызги дождя, казалось, касаются моего воспаленного лба. – Ты что!.. Чтоб мы из-за тебя одного все задыхались!..

– Я болен, – сказал я, – кашляю... А на меня дует... И вообще, – не выдержав, добавил я, – пошел вон, дерьмо!..

– Сам дерьмо, сука! – крикнул Береговой. – Болен – иди в больницу... на хрен ты тут нужен со своим смердежом!..

Я уже пожалел, что зацепился с ним, поскольку от крика его у меня болела голова.

– Не надо, ребята, ругаться, – сказал Кулинич.

– Ладно, Паша, брось, – добавил даже друг Берегового Петров, – прикрой форточку, но не плотно, чтоб и вашим и нашим. – Он улыбнулся мне.

И вдруг Жуков, обычно совестливый парень, поддержал Берегового. Безусловно, это произошло из-за денежного долга, который я не отдавал, так что Жуков лишен был возможности выслать матери полноценную сумму.

– А действительно, – сказал он, – Пашка прав. Мы пятеро должны страдать из-за его болезни. Пусть в изолятор убирается... Никто никому не обязан... За спасибо каждый умеет на чужом горбу выезжать...

Это уже был прямой намек, и я едва сдержал себя, чтоб не швырнуть ему деньги, оставшись без единой копейки в момент, когда мне грозила перспектива оказаться на улице...

Не знаю, спал ли я или просто лежал забывшись, но очнулся оттого, что кто-то теревил меня за плечо. Саламов, только вошедший с улицы – это чувствовалось по его холодным рукам, – протягивал мне бумажку.

– Уже третий день на тумбочке внизу лежит, – сказал он, – где почту оставляют.

Это вновь была повестка из военной прокуратуры, и в уголке стояла надпись «вторично». Судьба билась меня со всех сторон, однако каждое новое волнение и опасность отвлекали меня от предыдущего и показывали его ничтожность. Теперь, в свете повестки из военной прокуратуры, вся история с Колесником, с фальшивой справкой и койко-местом казалась мне смешной и ничтожной... Едва справившись с первым приступом тревоги, я приступил к анализу повестки. В ней значилось: «Гр. Цвибышев Г. М., предлагаем вам явиться в военную прокуратуру ...ского военного округа по адресу: ул. Чкалова, дом № ..., ком. 49, 4 июня 195... года к 12 часам дня. Старший следователь военной прокуратуры подполковник Бодунов».

В дверь постучали. Вошел Колесник в прозрачном хлорвиниловом плаще поверх голубого костюма, со значком голубя мира в лацкане пиджака.

– Привет, ребята, – сказал он жильцам.

– Здоров, Саша, – улыбнулся в ответ Береговой, и они, инструктор райкома и слесарь, крепко, по-братски, по-трудовому, хлопнули ладонь об ладонь.

– Ну ты чего, – спросил меня Колесник, – когда ехать собираешься?

– Приболел немного, – тихо сказал я.

– Ты смотри, – сказал Колесник, – на твое место уже парень назначен... Ты ж обещал, через три дня уезжаешь... Обманешь, опять тебе же хуже будет. Я тебе и паспорт у комендантши добыл, все для тебя делаю...

– А чего? – заинтересовался Береговой.

– Да вот, – улыбнулся Колесник, – Цвибышев от вас уезжает, надоели вы ему... Рыкун теперь тут жить будет.

– Да я его знаю, – обрадовался Береговой. – Володька Рыкун, сантехник, – обратился он к Петрову, – толковый парень... Если Володька сюда переедет, мы сразу тумбочки вместе соединим, койки поближе подвинем и пространство оставим, чтоб зарядочкой можно было заниматься...

И они начали оживленно обсуждать с Петровым, как, избавившись от меня, начнут здесь все перестраивать, словно при живом человеке говорили, что будет после его смерти... Но я менее всего думал сейчас о них, я лежал и анализировал повестку... Возможно, это связано с злоупотреблениями при строительстве учебного аэродрома... Впрочем, если это со старой работой связано, то они бы знали точно мой адрес... А в повестке имеется деталь, которая свидетельствует, что разыскивали меня вслепую, через адресный стол, и допустили неточность. Помимо адреса, указывалось общежитие железнодорожников. Между тем это было общежитие строителей. Очевидно, просто спутали с районом. Район города называется «Железнодорожный». А может быть... Словно сверкнуло в мозгу моем, так что занял затылок, – отец... Но почему военная прокуратура?

– Ну, в Индию ты поедешь? – спросил меня Колесник, подмигнув Береговому. – Я его в Индию порекомендовал, так он отказывается... Ну ты смотри, Цвибышев, послезавтра сюда новый жилец перебирается, вещи перенесет. Так что койку, будь добр, освобождай. Смотри у меня, индус! – Он засмеялся. – Всего, ребята, – и вышел.

Я менее всего сейчас думал о Колеснике и о предстоящей потере ночлега... Почему меня к себе вызывает следователь Бодунов?.. Новые мысли, впечатления и болезнь так измучили меня, что, сам того не замечая, я внезапно и крепко заснул, невзирая на громкие разговоры жильцов и крик радио.

Следующий день не принес ничего нового, разве что начала улучшаться погода. Я лежал или сидел на постели, и никто из жильцов, даже нейтральные Саламов и Кулинич, меня не замечал. Может, Жуков сообщил им о долге, который я до сих пор не отдал. А погода за окном становилась все более июньской, несколько раз заглядывало солнце, ветер утих. И к вечеру на пятачке перед нашим корпусом состоялись танцы под аккордеон, которые шумели до глубокой ночи, пока их не разогнал участковый.

Утром четвертого июня я встал рано, чувствуя себя совершенно здоровым, лишь слегка кружилась голова, чуть-чуть пошатывало и царапало горло. Позавтракав остатками продуктов, купленных Жуковым, я надел новую рубашку, вельветовый пиджак, легкие летние брюки, сандалии и вышел. Начинали зацветать липы, и их сладковатый медовый запах был так силен, что я даже сглотнул слюну, хоть и не был голоден. Свободные от работы жильцы разных корпусов шли в сторону Рыбного озера, соскучившись за дни ненастья по солнцу и воде. Я поехал в центр...

Улица Чкалова находилась в центре, но в стороне от шумных магистралей, зеленая и тихая. В принципе, такие улочки облюбовывают пенсионеры и особенно пенсионерки, заполняя все скамейки. Однако улица Чкалова и в этом смысле составляла исключение, поскольку была крута и людям преклонного возраста трудно было подниматься по ней вверх. Так что даже в разгар дня улица эта выглядела малолюдной. Здание, куда меня вызывали, занимало почти целый квартал, вместе с улицей сбегая под гору и все более и более увеличиваясь в высоту. Так, в начале крутизны оно было, кажется, в три этажа, а под горой чуть ли не в семь или даже в восемь... Я спустился в самый низ, где находился центральный вход и стоял солдат. У входа с левой стороны было написано: «Военный трибунал ...ского военного округа», а с правой: «Военная прокуратура ...ского военного округа». Было еще рано. Я некоторое время погулял и точно в двенадцать подошел к солдату, протянул ему повестку.

– В бюро пропусков, – не глядя, сказал мне солдат.

– Это где? – спросил я.

– Выше поднимитесь и налево.

Я вновь пошел в гору и вскоре увидел небольшую площадку, на которой стояли автомашины. Подъехала какая-то «победа» кремового цвета. Из нее вышел мужчина роскошного, заграничного вида, в мягкой шапочке с противосолнечным козырьком из голубого прозрачного материала. Вместе с ним вышел мальчик лет восьми, тоже по-заграничному одетый и сытенький. Они пошли к массивным дверям, и я поспешил за ними. В приемной на стульях сидели человек десять, но роскошный мужчина, тихо сказав мальчику «садись», подошел прямо к окошку, вынул красную книжечку и сказал дежурному офицеру:

– Здравствуйте... Я корреспондент журнала «Советский Союз»... У меня был предварительный телефонный разговор с товарищем. – Он назвал фамилию, которую я не расслышал.

Я набрался смелости, тоже подошел и протянул офицеру повестку. Он прочел.

– Дайте ваш паспорт, – сказал он.

Роскошный мужчина полез было за паспортом, но офицер сказал:

– Нет, я не вам, подождите... Вот товарища оформите надо...

Это было что-то новое, чего я еще никогда в жизни не испытывал, но с чем как-то сразу освоился, протиснувшись вперед и даже более, чем это было необходимо, потеснив мужчину.

– Через центральный вход, – протягивая мне паспорт, повестку и пропуск, сказал мне вежливо офицер, кажется чуть улыбнувшись мне.

Я взял и небрежно глянул на мужчину, который смотрел в сторону со скучающим видом, явно скрывая обиду оттого, что им пренебрегли, отдав предпочтение мне, столь внешне неказистому. Я пошел к центральному входу и показал пропуск часовому. Он пропустил меня в вестибюль... В вестибюле прогуливался дежурный с красной нарукавной повязкой и в ожидании лифта стояли два полковника и очень толстый майор.

– Мне товарища Бодунова, – сказал я дежурному.

– Вашу повестку, – коротко сказал дежурный. Он взял, прочел и сухо сказал: – Сорок девятая комната, четвертый этаж, левый блок.

После того как офицер бюро пропусков отнесся ко мне с уважением и даже улыбнулся мне, сухие, четкие, как команда, слова дежурного в вестибюле несколько меня напугали и привели в растерянность.

Поднявшись на четвертый этаж, я пошел коридором мимо множества дверей. Коридорные окна здесь были зарешечены, а на лестничных площадках прогуливались патрульные солдаты. Подойдя к сорок девятой двери, я постучал.

– Войдите, – откликнулись изнутри.

Я несмело нажал дверную ручку и едва не упал, поскольку порог был чрезмерно высок.

– Двери за собой закрывайте! – резко сказали мне.

Я вздрогнул и закрыл. В комнате также были зарешечены окна и стояли три стола, за которыми сидели три подполковника. Не зная, который из них Бодунов, я подошел к самому молодому, черноволосому и протянул повестку.

– Мне товарища Бодунова, – тихо сказал я.

– Давайте сюда, – крикнули у меня за спиной.

Бодунов был блондин, слегка лысеющий, с глубокой ложбинкой на подбородке.

– Повестка вам послана вторично, – разглядывая мой паспорт, сказал Бодунов. – Почему вы не явились своевременно?

– Я был в отъезде, – дал я первые в своей жизни ложные показания следователю.

– Ждите...

Я уселся на стул.

– Нет, вы в коридоре ждите, – добавил Бодунов.

Я вышел и сел на деревянную скамью. Невдалеке от меня, на лестничной площадке, видна была фигура часового, а прямо передо мной зарешеченное окно, сквозь которое било солнце. Здесь, в эти минуты ожидания, причем не чувствуя за собой никакой вины, даже наоборот, имея в активе улыбку офицера отдела пропусков и находясь лишь под впечатлением обстановки и отдельных, ничего не выражающих реплик следователя, я, натерпевшийся страха в своей жизни, понял, что такое настоящий страх. На беду, мимо меня провели арестанта с заложеными за спину руками, с бледным лицом и в давно не стиранной рубашке... Впоследствии я часто бывал в этом доме и узнал от Веры Петровны (будущей моей знакомой), что левый блок целиком отведен под реабилитацию... Так что арестанта провели здесь случайно, – очевидно, конвоиры были молодые и заплутались в коридорах, подобно мне разыскивая нужную комнату... И этот арестант еще более усилил страх (напоминаю, я человек впечатлительный). Я устал сидеть на скамейке (хоть, как впоследствии выяснилось, сидел не более двадцати минут) и хотел подойти к зарешеченному окну, глянуть на улицу, но не знал, можно ли это, поскольку часовой на лестничной площадке видел меня. Наконец дверь комнаты сорок девять приоткрылась.

– Цвибышев, заходите, – сказал Бодунов, и фамилия моя ударила меня изнутри черепа, так что вновь заболели затылок и глаза (такое со мной случалось при серьезном волнении, но столь сильно никогда).

Я вошел и сел. На краю стола следователя лежали горкой несколько старых папок из желтого картона, удивительно похожих друг на друга. А одна точно такая папка лежала отдельно в центре стола, между следователем и мной.

– Цвибышев Григорий Матвеевич, – сказал следователь. – Так?

– Так, – едва слышно подтвердил я.

– Расскажите о себе, – сказал следователь, – где ваши родители?

Что-то толкнуло меня в сердце, и я разом понял, что наконец сбылись лучшие мои надежды, а не худшие сомнения. И наконец можно открыто, свободно говорить правду... И я начал говорить. По мере слов моих уши мои наполнил звон, так что я ничего не слышал, и лишь по лицу следователя, потеплевшему и смотревшему на меня с пониманием, я понял, что говорю необходимое следователю и говорю хорошо... Следует заметить, что, когда года три назад пошли первые слухи о несправедливых осуждениях, о пересмотре дел, о благах и льготах, которые получают признанные невиновными либо их семьи, я начал подумывать, не подать ли и мне заявление. Но, во-первых, я был не уверен, признают ли отца невиновным, а во-вторых, втайне меня останавливали и страхи тетки, над которыми в то же время я публично смеялся. Тетка считала, что лучше молчать, потому что «не перевернется ли снова все наоборот». Я смеялся над этим нелепым выражением и над этими страхами, но втайне подумывал: а что, если действительно опять все пойдет наоборот? Не нагорит ли мне за обман, за придуманные в течение многих лет биографии, за то, что выдал отца своего, врага народа, за погибшего на войне героя?.. Однако сейчас, когда военная прокуратура разыскала меня по собственной инициативе, я был рад, что мне помогли покончить со всеми сомнениями и опасениями. И я с наслаждением, с радостным восторгом отбросил прочь все, что меня смущало и тянуло к лживому и ничтожному, с вдохновением бросился к святой правде, которой наконец одарила меня жизнь... А правда эта была сказочно хороша... Тетка моя, возле которой я воспитывался в детстве, будучи напуганной, не очень-то посвящала меня в подробности прошлого, а может, и не очень в тех подробностях разбиралась... Лишь случайно и обрывками она говорила, вернее, оговаривалась, тут же замолкая, что отец мой был «большой человек». Однако я это воспринимал не всерьез, поскольку для тетки и управдом был крупной фигурой... Поэтому-то я подлинного отца своего, ничего не давшего мне, кроме необходимости скрывать свой позор, поэтому я отца своего невзлюбил еще с детства и выдумал себе другого отца, версия о котором настолько укрепилась во мне и с которой я настолько сжился, что даже сам с собой в мечтах

искренне думал о своей версии как о подлинной, например мечтая, что отец мой не погиб на фронте (с годами версия эта претерпела лишь то изменение, что я выдумал конкретный участок фронта, причем не именитый и распространенный: Сталинград, Курская дуга, – а скромный Волховский, для придания версии, как я думал, большей правдивости и конкретности), итак, мечтал я, что он не погиб, а жив, но обстоятельства не давали ему возможности отыскать меня. Ныне же оказалось, что действительность превзошла все мои мечты и построения... Я был сын комкора Цвибышева, то есть в переводе на современные чины сын генерал-лейтенанта... Но если во сне любую, самую фантастическую перемену воспринимаешь естественно, то наяву к ней все ж надо привыкнуть, и поэтому в первые минуты после того, как я узнал о столь разительных видоизменениях в своем общественном положении, ничего нового, ни внутри себя, ни в восприятии окружающей жизни, я не испытал. Я так же сидел на стуле и отвечал на вопросы следователя, который задавал их мягко, вежливо и с явным расположением ко мне. Он спросил об имени-отчестве и годе рождения моей матери и где она, поскольку и ее пытались разыскать через адресный стол, но безуспешно. Узнав, что она умерла, он спросил, когда, от чего и в какой местности, и все это тщательно записал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.